

Норман Лебрехт

ПЕСНЯ ИМЕН

проза еврейской жизни

Норман Лебрехт ПЕСНЯ ИМЕН

Песня имен

Норман Лебрехт

Аннотация
Норман Лебрехт. Песня имен. Роман. Главы 1-5 — перевод В. Голышева, главы 6-12 — перевод О. Качановой
1. Тайм-аут
2. Встало время
3. Не вовремя
4. Грабитель времени
5. Время нашей жизни
6. Время закольцевалось
7. Живой!
8. Время рассказывать
9. Время расплаты
10. Время действовать
11. Время вышло
12. Всему мое время
Коротко об авторе

Аннотация

Накануне Второй мировой войны юного скрипача Довидла Рапопорта оставляют, пока его отец съездит в Польшу за семьей, у антрепренера Симмондса. Семья Довидла погибает в Холокосте. Симмондсы любят Довидла, лелеют его талант, а для их сына Мартина он больше, чем брат. Довидла ждет блестящая карьера. Однако в день, когда Довидл должен дать первый концерт, он исчезает. Страшный удар для Симмондсов. Потрясение, изменившее жизнь Мартина. Лишь сорок лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения Довидла.

О сложных отношениях гения с поклонниками, о закулисье музыкального мира Норман Лебрехт, самый известный музыкальный критик Англии, написал с отменным знанием дела и при этом увлекательно.

Норман Лебрехт
Песня имен
Роман
Главы 1-5 — перевод В. Голышева, главы 6-12 — перевод О. Качановой

Посвящается
Беатрисе, Мириам и Полине

1
Тайм-аут

В понедельник, выгребая в двубортном костюме навстречу утреннему людскому потоку, я чувствовал себя дважды белой вороной. Весь рабочий люд стекается в город, а я — без особых на то оснований — направляюсь из города. Мало того: я чуть ли не единственный тут в официальном костюме. Времена изменились, и на работу теперь ходят в полотняных штанах.

Не важно, что у них зовется работой. Сидеть перед мерцающим экраном и выуживать данные — бледная замена азарту погони, радости добычи, победному поцелую. Нет романтики, нет смертельной борьбы в компьютерной так называемой работе. Это виртуальная охота, в ней ни порока, ни доблести. Моя же, напротив, — людская профессия, а потому отживающая.

Незачем особенно вдаваться в цель моего путешествия. «Так ли необходима ваша поездка?» — нудили вокзальные плакаты во время войны. Нет, не так, чтобы убедить бухгалтеров, которые урежут мою заявку на расходы ввиду ничтожной

отдачи. И чтобы удовлетворить Мертл, которая насмешливо поднимет бровь и учтет супружеский должок. В конце моего пути нет горшка с золотом, прибыль не порадовала бы и продавца на блошином рынке. Конечно, я этого не говорю ни бухгалтерам («надо почувствовать потребительские тренды»), ни Мертл («когда с деньгами туго, случайная встреча со знакомым может все изменить»). Важно, что я сам знаю, зачем еду, и для себя не нужно придумывать оправданий. Побег — или иллюзия побега — вот что поддерживает во мне жизнь и более или менее на плаву — мой бизнес.

Инстинкт самосохранения ведет меня сквозь толпу на Юстонском вокзале к вагону первого класса в экспрессе отправлением девять ноль три; в груди стук от непривычных усилий и абсурдной надежды на приключение. Абсурдной потому, что предыдущие экспедиции с полной определенностью показали, что любое приключение будет парализовано в зародыше моей природной сдержанностью и заботой о приличиях — качествами, которые непременно будут отмечены на скорых уже погребальных торжествах, наряду с музыкальной эрудицией Дорогого Усопшего, едким юмором и нешумной филантропией.

В любом случае приключения чужды моей натуре и противопоказаны при моем состоянии здоровья. Засоренные артерии и страх перед шунтированием — сильный тормоз. Я ограничиваюсь шестью проплывами бассейна в оздоровительном клубе и половиной мили на электронной беговой дорожке; волнений решительно избегаю, супружеские функции выполняются редко и с осмотрительностью дикобраза. «Береги себя», говорит на прощание Мертл, и ради нее я стараюсь. За отсутствием мужеского пыла, это, по крайней мере, в моих силах.

Да, даже шумное, не шунтированное сердце могут волновать предотъездные фантазии. Я сажусь в поезд, и пульс учащается на десять от ложного предвкушения новизны. Волнуясь, заглядываю в предстоящее с успокоительным ощущением дежавю. Примерно так же субботним вечером смотришь по телевизору интересные моменты матча, уже услышав по радио окончательный счет. В программе могут показать яркие проявления мастерства и борьбы, но элемент волнения начисто отсутствует, когда заранее известен результат.

Смотреть футбол в уютном дорогом кресле ар-деко — самое большое из дозволенных мне

волнений; грустно и унизительно для человека, призванного делать дела. Грустно — деятелю превратиться в зрителя, сменить кулисы больших сцен на кресло перед телевизором. Но есть и утешение. Удалившись от кипучей бучи, я обрел ауру того, что в мире небольшого бизнеса сходит за бесконечную мудрость.

Неизменная бережливость принесла плоды. В моем городском особняке бассейн с подогревом. Зимой и летом я отдыхаю на бесовски дорогих швейцарских курортах, а мой пенсионный план обеспечит меня на три жизни. Утешайте, утешайте народ Мой, — сказал пророк Исаия, и мы сделали это нашей племенной целью. Что лучше утешит на этой земле, чем шелест ценных бумаг с золотым обрезом?

В Ротари-клубе и в Бней-Брит[1] меня не отличить от собратьев, и мне это по душе — ни на кого из них, я точно знаю, не свалился гений и не подорвал своей изменой. Забудьте только что сказанное, незачем многим об этом знать.

---

[1] Примечания: 1

Ротари-клубы — нерелигиозные, неполитические благотворительные организации, объединенные в международную неправительственную ассоциацию «Ротари Интернэшнл». — *Здесь и далее примеч. перев.*

Бней-Брит — одна из старейших еврейских общественных организаций, объединяющая людей «в работе, направленной на удовлетворение их важнейших интересов и интересов всего человечества».

«Нечего жаловаться», — говорил мой отец, когда его спрашивали о здоровье; я поступаю так же. Нормальность — моя нирвана. Только в глубине, глубоко в глубине на запекшемся лезвии невосполнимой утраты, я чувствую потребность в ненужной поездке, которая позволит избежать гнетущего самосозерцания и ускорения наследственного атеросклероза.

Не удивился бы, если бы железные дороги работали по большей части ради таких, как я, людей с полуразрушенной психикой, вечно бегущих от недостающей своей части. Представляю себе, как директор по развитию, осененный блестящей идеей, бодро предлагает на совете: «А не пустить ли нам утром в понедельник дополнительный поезд в глушь? Есть, наверное, тысячи недотеп, обалдуев и чающих черт-те чего, которым до смерти хочется уехать».

Сижу у окна, съедаю две таблетки — патентованное успокоительное и гомеопатическое болеутоляющее, и, закрыв глаза, десять минут йогически медитирую. Мой консультант с Харли-стрит (кардиолог, а не натуропат) рекомендует ежедневно упражняться и избегать волнений. Человек ответственный, я питаюсь осмотрительно и ношу карточку почечного донора. При виде

хорошенькой женщины и полицейской погони отвожу взгляд. В мишленовских ресторанах заказываю паровую рыбу. У меня много друзей, но давно нет любовниц; есть расплывчатые интересы, но нет генеральных страстей.

Мертл, моя спутница жизни, живет по большей части своей отдельной жизнью. Ширококостная дама со здоровыми аппетитами, она экономно участвует в благотворительных обедах и играет в бридж за команду округа. Она занялась картами на четвертом десятке, родив детей, и нашла в этой забаве применение своей изумительной памяти и бойцовским инстинктам. Она может вспомнить, как были рассажены гости на каждой свадьбе с куриными шницелями, где нам довелось присутствовать; помнит порядок церемонии при коронации Елизаветы II, помнит все символы в периодической системе элементов и весь состав венгерской футбольной команды, впервые в истории обыгравшей сборную Англии у нее дома со счетом 6:3 в год коронации, когда мы, кстати, и поженились. Многократно убеждал я ее употребить свои замечательные способности на предметы, более достойные, чем колода карт. Но дам, обедающих в пользу голодающих и бездомных, она не очень хорошо переносит.

Оба наши сына выросли и живут отдельно — удачные продукты частного обучения и практичных браков. Один — акушер в Кенсингтоне, с призовой женой, другой — адвокат, специалист по делам о клевете, с традиционной супругой. За обедом предпочитаю непристойные сплетни барристера напомаженному ханжеству светского абортмахера. Но не чувствую родительского удовлетворения вечерами в пятницу, когда за столом, стонущим от тяжести смертоносных насыщенных жиров, мы разыгрываем шараду счастливых семейств. Аскетически поклевав беззаботно состряпанный женою пищевой динамит, я диспептически удаляюсь в постель со стаканом ромашкового чая и «Спектейтором». В гостиной уже пьют кофе, и мои извинения принимаются с ироничной гримасой. Подозреваю, что кое-кто в семье объясняет мои медицинские сложности хронической ипохондрией.

Приличный йогический транс практически недостижим в поезде, который дергается и мотается в чаще семафоров, а на окраине пускается вскачь, как дикая лошадь. Под ровный перестук репродукторы неразборчиво лопочут о местонахождении вагона-ресторана, и просьба старшему официанту пройти в вагон первого класса, спа-

сибо.

Отказавшись от поисков мира в душе и созерцания посеребренного февральского пейзажа, я задумываюсь о делах, хотя они вряд ли того требуют.

Компания моя — тень фирмы, основанной отцом в 1919 году «для пропаганды музыки среди мужчин и женщин среднего достатка». В пору расцвета «Симмондс» присутствовал в каждой семье, наряду с веджвудским сервизом, игрушками «Хорнби» и геранью в банках из-под варенья. «Симмондс (ноты и концерты) лимитед» издавала клавиры оркестровых шедевров в благородных фиолетовых папках по цене шесть пенсов штука. Мы печатали также популярные биографии великих композиторов, сборники народных песен и доступные новинки малоизвестных современных композиторов. Но сердцем фирмы был концертный отдел — организация концертов для всей семьи, бабушек и малышек, с групповыми скидками, так что билеты стоили дешевле, чем в кино.

Контора «Симмондса» в апартаментах рядом с бывшим Куинс-Холлом наверху Риджент-стрит семь дней в неделю гудела от неприбыльных идей, творческих амбиций и пожизненно за-

ключенных ос. Окна никогда не отворялись из страха выпустить сгущенный воздух вдохновения. Пианисты с заплатами на локтях толклись в ожидании гонораров среди студентов и рабочих, ожидающих распродажи дешевых билетов. По углам газетчики в шляпах трильби интервьюировали дирижеров-экспатриантов; однажды это происходило в левой кабинке дамского туалета под мерную капель бачка, и после праздный остроумец соотнес метрономное исполнение Пятой симфонии Чайковского в тот вечер с дефектом симмондсовской сантехники.

Отец мой, сгорбившись за пирамидой непрочтенных контрактов и неправленых гранок, руководил своим музыкальным эмпориумом круглый день, редко уходя до полуночи. «Не могу оставить помещение пустым, — говорил он. — Кто знает, когда может явиться новый Крейслер?» За полвека до офисов с открытой планировкой он снял с петель свою дверь, дабы видеть каждого входящего и выходящего. Ни один артист не мог войти незамеченным. Гора почты росла, секретарши увольнялись в слезах, отец виртуозно жонглировал тремя телефонными трубками одновременно, ни разу не повысив голоса.

Мортимер (Мордехай) Симмондс отличался ма-

нерами джентльмена и рассеянностью ученого, хотя не был ни тем, ни другим — в тринадцать лет он пошел работать в типографию, чтобы содержать вдовую мать и четырех сестер в Бетнал-Грине. Среди шума и вони типографской краски он сдружился с нижним эшелоном газетных работников и по корректорской лесенке поднялся до редактора литературного приложения, что дало ему пропуск в салоны Хампстеда. В середине войны он познакомился с моей матерью, и его убедили жениться на не совсем изящной, но с приданым, старшей дочери англо-сефардской династии Медола, предложившей ему завести собственное дело по своему вкусу. Тянуло к чему-то книжному, особенно после двух лет на Сомме, но не удалось найти такого рода книг, которые могли приносить эстетическое удовлетворение и при этом прибыль. Деловая карьера так и не складывалась, но 4 мая 1921 года — этот день он будет отмечать ежегодно до конца жизни — друг отдал ему лишний билет в Куинс-холл. Играл Фриц Крейслер, впервые после восьмилетнего перерыва. Безобидный концерт Виотти в его исполнении растрогал отца так, как никакие прочитанные за жизнь слова. Крейслер, с его пышными усами и сверкающими глазами,

гонял ошеломляющие каденции, словно это было для него детской игрой, и захватывал прозрачным взглядом слушателей одного за другим. «Я был соблазнен, — вспоминал отец. — Он как будто играл для меня. С той секунды, когда он остановил на мне взгляд, я понял, что моя жизнь предназначена музыке».

Не умея читать ноты и сыграть гамму, он нанял преподавателя, чтобы тот объяснил ему разницу между четвертными и восьмыми и понятие тональности. Он ходил на студенческие концерты в музыкальном колледже Тринити за универмагом «Селфриджис» и чутьем угадывал таланты. Одного скрипача он подобрал на тротуаре Оксфорд-стрит. С горсткой подающих надежды ребят он стал устраивать камерные концерты в Эолиан-холле — церковного вида зале на Риджент-стрит; а потом с недавно организованным Бирмингемским оркестром, привезенном на автобусе, дал свой первый концерт для семей в мраморном Роял-Альберт-Холле на южном краю Гайд-парка.

Ни одного критика на его концерты ни разу не пригласили, но залы всегда были полны и цены общедоступны. Недовольная музыкальная отрасль осуждала Симмондса: «снижает тон». Отец смеялся и снизил цену лучших билетов вдвое.

Он отказывался заседать с коллегами в комитетах и обсуждать производственные расходы, кредитные линии, ограничения для зарубежных исполнителей. Для него было неприемлемо все, что стесняло исполнителя музыки — дарителя света и радости. Он почитал артистов почти безоговорочно.

Никакому балканскому пианисту с тремя «ж» в фамилии Мортимер Симмондс не предложил бы нового имени для удобства английской публики. Никогда от толстого певца не потребовали, чтобы он похудел. Музыканту-новичку, провалившему концерт из-за волнения, он всегда готов был предоставить второй шанс и винил себя за неудачу. У него не было времени на то, чтобы ублажать снобов, составлять расписание на сезон, вникать в тонкости копирайта и налога на развлечения, и меньше всего, надо отметить, — на жену и сына, которых он видел при свете дня только в воскресенье за обедом, да и не то чтобы точно в назначенный час и не отвлекаясь.

Поэтому в зимний воскресный день, когда мясо уже обугливалось в духовке, а мать ворчала за вышиванием, и меня известили по телефону, что отец умер за рабочим столом, у меня не возникло никакой реакции — ни истерической, ни

практической. Отец принадлежал «Симмондсу (ноты и концерты) лимитед», а не мне; он умер, так сказать, на посту, перед кипой невскрытой почты. Ему был шестьдесят один год, столько, сколько мне сейчас. На похоронах раввин говорил о его любви к искусству, о его скромности и ироническом отношении к себе. Я пожалел, что виделся с ним так мало.

Я был извлечен из Кембриджа, где сдавал выпускные по истории. Я возглавил фирму и быстро обезопасил ее будущее. Отцовский гиперактивный беспорядок я взял в жесткие финансовые рамки. Толпа убыточных безвестных композиторов, большей частью беженцев от Гитлера и Сталина, была переправлена венскому музыкальному издателю, который оставил себе троих, а от остальных без сантиментов избавился. Концерты для семей были прекращены, а солисты переданы в агентства конкурентов. Двое прославились; остальные растворились в семейной жизни, преподавании или оркестровой поденщине. Мне жаль было расставаться с артистами — их энтузиазм был заразителен, а эгоизм бесконечно забавен. С некоторыми я рос, и не хотелось думать, что с ними станется без нашего всеобъемлющего попечения, — но что я мог сделать в

тех обстоятельствах? У меня была сугубо личная причина прекратить всякую работу с талантами — об этой причине из соображений медицинских и юридических я очень стараюсь и не думать, и не распространяться.

От голландского коммерческого банка я получил хорошую цену за помещение конторы, а себе оставил только комнату в углу, секретаршу, старую деву Эрну Уинтер, и временных помощников. Доходы от этих быстрых сокращений обеспечили мою мать, замолчавшую после смерти отца и периодически ложившуюся в частную психиатрическую больницу. Во время ремиссии она устроила мне знакомство с Мертл, костистой дочерью испанских родственников, и хмуро украсила собой наше бракосочетание, прежде чем перебрать антидепрессантов — случайно или намеренно, я не знал и не особенно допытывался.

Когда я завершил рационализацию, в фирме осталось только издательское дело: мы печатали в фиолетовых обложках недорогие партитуры малого формата для любителей и профессионалов. Меньше чем за год я сделал «Симмондс (ноты и концерты) лимитед» доходной и защищенной от рисков, сократив ее деятельность до такого размера, когда от меня не требовалось жертв, на

которые так охотно шел отец.

Мои просчеты обнаружатся позже, хотя не настолько драматически, чтобы пострадала моя репутация мудреца. В двадцать один год я еще не знал, что исключение риска вредно для бизнеса. Случай может подарить большую удачу, но я, плохо зная жизнь, руководствовался пыльными теоремами кембриджской экономики и судорожными реакциями травмированного сознания.

В скором времени один из проданных мною композиторов написал дорогущую музыкальную тему для голливудского фильма; у другого пошла опера в пятнадцати немецких городах. Любимец моего отца Владимир Кузнецов повесился в Долстоне, в скромной спальне-гостиной на люстре. Его «племянник» и сожитель Стив, уличный торговец фруктами, убедил меня, что смерть бедняги никак не связана с потерей издателя, а стала результатом аутоэротического эксперимента, доведенного до фатальной крайности. Мучимый сожалениями, я учредил в память о несчастном Кузнецовскую премию.

Семейные концерты Симмондса продолжались так же живо под новым импресарио, даря обыкновенным людям любимую музыку, а начинающим артистам — возможность испытать

себя вдали от критических ушей и комиссаров от культуры.

Что до издательства, основы нашего предприятия, я не предвидел, что рухнет спрос на ноты. Радио и записи, включаемые, как свет, одним движением пальца, уничтожили домашнее музицирование и развили музыкальную неграмотность до такой степени, что «играть» означает теперь — вставить кассету в приборный щиток автомобиля. Немногие возятся со свирелью ради удовольствия послушать ее грустный звук, и еще меньше тех, кто смотрит в ноты, сидя в концертном зале. В школах перестали учить детей игре на чем-либо более благородном, чем дудка или крышка мусорной урны. Партитуры для любителей — отмирающий товар.

Спрос на ноты остался только в тех частях страны, где кое-как сохранилось подобие викторианских ценностей. В церквях, где держат обученный хор для воскресных служб, в общественных центрах, где в среду вечером собирается духовой оркестр и упражняется, храня традиции начала девятнадцатого века. В городках и деревнях, где малыши умеют сыграть на дудке мотивчик, еще не умея читать и писать, а подростки познают секс в перерывах на репетиции

хора. Чаще всего это заброшенные и неспокойные уголки королевства: Ольстер, где труба — деталь террористической бомбы, валлийские фермы в холмах, где контрапункт и одинокое пьянство состоят в гражданском браке; рыболовецкие порты Хамбера, где треска вся выловлена, но рыбацкие песни еще живут.

Они — последние прибежища «Симмондса», реликвии, которые буду лелеять до пенсии или до смерти, смотря, что случится раньше. В такой район я и отправляюсь сейчас — в депрессивную часть северной Англии, полупустыню закрытых шахт и заброшенных верфей, где хоровые общества репетируют «Мессию»[2] к Рождеству, оркестры в шахтерских городках собираются дважды в неделю, и самый загрубелый регбист может сыграть нехитрую балладу на пианино в пабе — двумя руками и вполне пристойно. За копчеными фасадами стандартных домиков и безликих бетонных муниципальных кубов детей заставляют играть гаммы до того, как дадут чай. За электронными воротами и лужайками важных администраторов музыка образует первую линию обороны в классовой борьбе:

---

[2] Примечания: 2
Оратория Г. Ф. Генделя.

«Если сопливый мальчишка Кейли при матери-одиночке кончает с отличием третий класс и по скрипке, и по фортепьяно, я хочу услышать, что покажет наша Шарлотта на пасхальном благотворительном концерте против СПИДа». Музыке тоже досталось, когда Маргарет Тэтчер расправилась с шахтерами, но люди, у которых, возможно, никогда больше не будет работы, все равно шлют мне срочные требования на «Марш Принца датского»[3] или «Илию»[4] для «пойте вместе с нами», и нищие матери-одиночки, у кого на стол поставить нечего, умудряются наскрести на утлую китайскую скрипку — мой скромный побочный товар.

Во время моих ежеквартальных визитов меня неизменно просят прослушать будущих абитуриентов знаменитых лондонских музыкальных колледжей и академий. И всякий раз советую им подумать о другой профессии — не той, которая усадит их за самый задний пульт в ненадежном провинциальном оркестре. «Неважно, — отмахиваются мамы, — по крайней мере, ему не придется спускаться в шахту, как папе». Аргу-

---

[3] Примечания: 3
Марш Джеремайи Кларка (ок. 1700 г.), часто исполняется на свадьбах.

[4] Примечания: 4
Оратория Ф. Мендельсона.

мент слабый, поскольку шахты закрыты, верфи превращены в пристани для яхт, а папа стал временно безработным или спустился в «сферу обслуживания» — официант или продавец по телефону. В этом краю уже не будет настоящей работы для настоящих мужчин, не говоря уже о рабочем достоинстве.

Быстрые и умные сбегают рано: быстрые — в профессиональный спорт, умные гонятся за мечтой в рок-группах и классических консерваториях. Место, куда я направляюсь, — оставлю его безымянным, — не родило ни одной звезды, но поставило без счета пехотинцев музыкальной армии: мужчин-духовиков в оперных оркестрах, женщин-альтисток, разлетевшихся по Сиднеям и Сингапурам, да и клавишников в неисчислимых группах. Иногда здесь созревал балетный дирижер или контральто для недр духовной оратории. Крепкие, надежные музыканты, становая жила музыкальной индустрии — торжество усердия над вдохновением. Я восхищаюсь их стойкостью, как дронт поклонился бы динозавру — два анахронизма, бредущие против течения моды к неизбежному вымиранию.

Отбросив эти слезливые размышления, я слышу из трескучего репродуктора название моей

станции — объявляет, вернее, прожевывает контролер-пенджабец, еще не овладевший английской интонацией. Железные дороги ожидает близкая приватизация, и скороговорка кондукторов в крахмальных кителях сменилась мультикультурным лопотаньем, а пассажиров уже называют «клиентами» и обращаются с ними как со скотом. В современной Британии не только мое занятие лишилось смысла и цели. Вся апатичная страна съезжает в неряшливость. Чертовы немцы могли бы нас кое-чему поучить.

Жуя гомеопатическое успокоительное «Хаммомилы корень», беру чемодан и выхожу из вагона навстречу нестройному ору духового оркестра, играющего, словно по макабрическому заказу, «Рассвет над Днепром» В. Кузнецова. Посреди платформы, в парадных регалиях — в мантии и с цепью — стоит лорд-мэр. Я его знаю. Его зовут Чарли Фроггатт, и однажды мы с ним, двумя директорами школ и приезжим владельцем похоронного бюро исполнили кларнетовый квинтет Моцарта в Зале трезвости методистской церкви Вифезда — выступление экспромтом, с флягами в карманах, в малолюдный банковский выходной августа. Фроггатт — бакалейщик по профессии и искусник на деревянных духовых.

— Это Симмондс, каналья, неужели? — кричит он мне. — Добро пожаловать в Тобурн!

Хотя город называется не так. Назначим псевдонимы. Х и У не годятся — слишком конан-дойлевское. Назовем район «Тосайдом», а города «Тобурном» и «Олдбриджем» — более прозрачные названия могут привести к повторному открытию полицейских досье, а я об этом меньше всего мечтаю. Ввиду сказанного, стою я сейчас на станции Тобурн, среди россыпи пакетиков из-под чипсов и полистироловых стаканов.

— Ваша милость, — обращаюсь я к нему с шутовской официальностью, — как любезно с вашей стороны приехать меня встречать, и, главное, в парадном облачении.

— Кончайте, — ворчит он. — Это не из-за вас. У нас тут Тосайдский день музыки, черт побери, пытаемся немного пробудить общественное сознание. Оркестр неделями репетировал эту современную рассветную штуку и все равно рассыпается на верхнем ми. Надо же, вы-то мне как раз и нужны. Полезайте в машину, я отвезу вас в мэрию.

Вежливого способа отвертеться нет. Фроггатт хватает меня за локоть и торжественно ведет с платформы к своему черному «даймлеру», а

оркестр переключается на менее каверзные аккорды «Вот он идет, украшенный венком» из «Иуды Маккавея»[5]. Носильщика с моим багажом отправляю в гостиницу «Роял Тобурн» на другой стороне площади. Отелям с оздоровительными удобствами, расплодившимся на побережье, я предпочитаю эту старую мрачную привокзальную гостиницу, где никакие освежители воздуха не в силах отбить вонь жарившейся утром рыбы.

— Только не волнуйтесь, — говорит Фроггатт, наливая нам виски из бара перед задним сиденьем. — Не затрудню. От вас требуется только маленькое одолжение. Ужин, смокинг, все такое.

Отговориться нечем. Вечера мои в Тосайде чаще всего свободны с тех пор, как научился уклоняться от любительских музыкальных сходок, где исполнение мучительно, как и полуразмороженные канапе. Я провожу вечера в баре гостиницы, принимая алкоголя примерно вдвое больше нормы, рекомендованной министерством здравоохранения. Бар обшит дубовыми панелями, не оккупирован спутниковым ТВ и «однорукими бандитами» и потому полупустой; там я мирно могу решать кроссворды в «Дейли

---

[5] Примечания: 5
Оратория Г. Ф. Генделя.

телеграф». Если хочется поговорить — есть бармен, сведущий в футболе и нумизматике, или кто-нибудь мимоезжий; ничего отягощающего. Когда-то, давно, до первых моих шумов в сердце, зашла перекурить беспечная блондинка и опрокинула мой двойной «Лафройг» на «Телеграф» и мне на брюки. Это привело к свежим порциям для обоих, шаткому подъему в номер под предлогом приведения себя в порядок и спонтанному плотскому воспламенению. Продолжения не последовало — такое случается у коммивояжера, когда повезет. Профессиональная оказия по причине ennui[6] или счастливого совпадения. Как уплывшая сделка — выбрасываешь ее из головы с надеждой больше к этому не возвращаться. В сущности, и упоминания не стоит.

Фроггатт с его наждачным говором возвращает меня к вечернему обременению — официальному ужину у мэра. Сидеть в жестком воротничке среди торговцев небольшого города — в моем представлении не лучший способ провести свободный вечерок, к тому же, если поздно лягу, завтра трудно будет заниматься делами. Хуже того — не хочет ли он, чтобы я произнес речь? На

---

[6] Примечания: 6
Скуки (*фр.*).

публике я запинаюсь — снова впадаю в мальчишескую застенчивость.

— Не тревожьтесь, — предупреждает Фроггатт мои возражения, — уложим вас в постель к одиннадцати, вставать и выступать вам не требуется. Просто будете председателем жюри и вручите премию перед телекамерами для вечерних новостей.

— Какого жюри? — спрашиваю.

— Конкурса молодых музыкантов Тосайда, — вздыхает мэр. — Не слышали о нем? Не удивляюсь. У нас на премию почти нет денег, а на рекламу — вовсе. Не мог добиться от местного телевидения, чтобы осветили хотя бы полуфиналы. Максимум, на что можно надеяться сегодня, — десять секунд в конце местных новостей. Но это покажет, что мы здесь заботимся о музыке и воспитали несколько мировых музыкантов. Подрастает хорошая молодежь. Они — наш последний оставшийся экспортный товар.

— И лучшего председателя вы не могли найти?

— Не льстите себе, — скрипит Фроггатт. — Я пригласил сэра Джона Причарда, дирижера, у него родня в городе. Но вчера вечером нам позвонили, что он «нездоров», а в пожарном порядке знаменитость не добудешь. Я уже с мокрыми

штанами бегал — а тут вы с поезда, и я подумал: он подойдет. Симмондс здесь — знаменитое имя. Все видят его на обложках партитур. Мистер Симмондс из «Симмондса» — председатель жюри? То, что надо, и никакие возражения не принимаются.

— Но я совершенно для этого не гожусь. Чтобы судить на конкурсе, надо быть компетентным инструменталистом. Я играю на скрипке и фортепьяно, но вы же меня знаете — я всего лишь торговец музыкальными товарами, шестеренка в музыкальной машине.

— Не рассказывайте сказок, — отвечает мэр с металлом в голосе. — Не надо этой ложной скромности. Ваша семья работала с Крейслером и Хейфецем, ваша фамилия почти так же знаменита. Вы способны отличить приличного скрипача от фальшивки, искру таланта от робота. И вообще, оценивать технику вам самому не придется. Мы пригласили двух профессоров из Манчестера. У вас будут два человека из городского совета — глава музыкального отдела и директор по искусствам и досугу. Вы ведете обсуждение и подаете голос, только если профессора и чиновники не смогли прийти к согласию. У вас будут шестеро самых лучших в стране ребят моложе

восемнадцати. Выбираете одного, в половине одиннадцатого объявляете результат, а я произношу все речи. Вопросы есть?

Мы подъехали к тобурнской мэрии. Внутри меня ждут заведующие отделами образования и библиотек — надеюсь получить от них заказы на замену утраченных и поврежденных партитур и покрыть тем самым мои накладные расходы до конца финансового года. Эти заказы мне очень нужны. Если обижу мэра отказом, это может плохо повлиять на библиотечную продажу. Я молча соглашаюсь.

— Вы молодчина, — говорит Фроггатт и в развевающейся мантии взбегает по крутым ступеням. — Моя машина заедет за вами в шесть. Будьте на месте.

С облегчением переключаюсь на значки и ISBN профессионального библиотекарства, тайные коды ученой коммерции. День проходит в мелькании оригинальных партитур и каталожных цен, книготорговых сплетен и разных музыкальных мелочей. К тому времени, когда подвезли тележку с чаем, я оформил все большие заказы и мог отправляться домой — миссия выполнена. Но я связан ужином и задумал провести остаток недели в поездке по мелким клиентам, дабы

оправдать свое отсутствие перед Мертл и налоговиком. Маленькие магазины, мелкие деньги. Но это дает мне ощущение, что я краду время для себя, мое собственное время, как хочу, так и трачу.

Вот что я потерял после ухода гения — власть над временем. Эта потеря невосполнима, как смерть, дыра в сердцевине вещей. Плетусь к себе в гостиницу под хлещущим дождем, свет из магазинов мерцает на глянцевых тротуарах. Ходьбы две минуты — слава богу, некогда задуматься о предстоящем вечере. Когда обрушится удар, обрушится без предупреждения. Ничто в этот последний день нормальности не отклонялось от нормы, никаких предвестий того, что рассыплется монотонная моя полужизнь, что встану перед тем, чего больше всего страшусь и жажду — золотой сердцевиной, выкромсанной из моего пустого послебытия.

2
Встало время

Я всегда вожу с собой смокинг и фрак, на всякий случай. И запасную деловую тройку с шерстяным шарфом для защиты от холодного ветра с загрязненного эстуария реки То. «Береги себя», — напутствует Мертл, и я стараюсь.

В общем, день прошел спокойно под ежечасные сообщения с войны в Персидском заливе, не требующей от страны великих жертв, но вызвавшей ожесточенные споры.

— Посылают пять армий, чтобы отвоевать для кувейтского шейха нефтяные промыслы, и не шевельнут пятью пальцами, чтобы спасти нашу угольную промышленность, — ворчит заведующий образованием, флегматичный энциклопедист с дипломом вечернего колледжа.

Я бормочу что-то политически невнятное, пока он старательно расписывается на трех экземплярах заказа.

— Какой фарс, — вступает директор библиотек. Заплатанные джинсы говорят о его модных левых симпатиях. — Сначала мы продаем Ираку

оружие, потом разносим его бомбами, потом опять продаем оружие.

В скором времени он будет подписывать петиции «Социалистического рабочего» с требованиями предоставить западную помощь Ираку. Я прикусил губу и лицемерно киваю, пока он не подпишет заказ и не вложит в мою слегка дрожащую руку.

— Удачный день, сэр? — спрашивает бармен в «Роял Тобурн», наливая мне входную.

Недурной, считаю я. Четыре тысячи фунтов выручки в сумерках рецессии и трясине войны лучше кучи оправданий.

— Считаю, заработал себе на стопку, — говорю я бармену Джорджу. — Присоединитесь?

В уютном салуне, не нюхавшем свежего воздуха с тех пор, как в нем промелькнул Ллойд Джордж во время последней своей избирательной кампании, я пробегаю глазами петит сегодняшнего конкурса:

> …допускаются юноши и девушки, родившиеся до 1 декабря 1978 года или в административном районе Тосайд или непрерывно проживающие в нем с 1 января 1985 года…

Шесть победителей предварительных туров допускаются к Большому финалу, где им предлагается исполнить сольное произведение Иоганна Себастьяна Баха на скрипке или фортепьяно, а затем произведение по собственному выбору, соло или с аккомпаниатором, приглашенным участником.

Участнику отводится не более пятнадцати минут, если не будет особой просьбы председателя жюри… председатель голосует только в случае, если голоса разделились поровну… решение жюри — окончательное и не подлежит пересмотру. Исполнение оценивается по правилам Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы (экземпляры можно получить у Директора искусств и досуга). Без письменного разрешения администрации — Совета района Тосайд члены жюри не разглашают деталей обсуждения и не поддерживают никаких контактов со средствами информации в ходе конкурса и в течение семи дней после его завершения.

Обычные правила. Конкурс Елизаветы — наверное, самый старый и лучше всего организованный мировой конкурс — учрежден помешанной на музыке бельгийской королевой, между прочим, способной скрипачкой. Разумно со стороны Тосайда взять за образец ее справедливые и беспристрастные правила — наподобие правил маркиза Куинсберри в боксе.

«Даймлер» градоначальника подкатывает вовремя и отвозит снова в мэрию, где косой секретарь в приемной мрачным кивком показывает мне на Вордсвортовский зал. Я приехал последним из судей. Два манчестерских профессора, мужчина и приблизительно женщина, выделяются среди собрания, как обтрепанные обшлага на траурном костюме. Они заняли позиции по сторонам от камина под портретом озерного поэта. Выражение лиц кислое — провинциальные профессора принимают его для защиты своих слоновокостных должностей от вторжений из реального мира. Здороваются вяло, с бокалами в руках, словно встречают свежий труп в прозекторской.

Заведующий музыкой Тосайда намного дружелюбнее. Фред Берроуз, органист Тобурнского собора и дирижер Тосайдского молодежного ор-

кестра, улыбается вулканически и валит ко мне. Большой, неуклюжий холостяк, добрый с детьми и безопасный для женщин.

— Принесу вам выпить, — гудит Фред, но его опережает дородный бородатый персонаж, исполненный самоуважения. Наш четвертый судья в синтетическом желтом галстуке с зелеными полосками и фиолетовым девизом «Играть на победу», — он представляется: Оливер Адамс, «зовите меня Олли», заведующий искусствами и досугом.

В волосяном обрамлении лицо его лоснится, как головка новорожденного с дополнением в виде младенческого диатеза. Он вручает мне бокал с шардоне из гипермаркета, подогретое канапе и такой же корпоративный галстук в подарочной упаковке — все это я деликатно перемещаю на каминную полку.

— Замечательно, что вы с нами, — гудит он. — Хорошо, когда председатель понимает партитуру, в отличие от некоторых — не буду называть, — кто только считает фальшивые ноты. Мы ищем здесь настоящего победителя, который выйдет в свет и покажет себя, прославит округ — «Играть на победу». Это я сочинил лозунг нашего конкурса. Вам нравится?

Он на культуре недавно — переведен из маркетинга в прошлом году, — признается Олли. Притрется. Позади него в полушаге интересная светловолосая женщина в платье из набивного шелка, элегантная. Возможно, помощница или что-то вроде aide-de-camp[7]. «Моя жена Сандра», — сообщает Олли, и у меня возникает смутное, сомнительное чувство — или узнаю в ней? …да нет же! — давнюю одноразовую знакомую по вечеру в баре «Роял Тобурн».

Ну, для людей моего возраста и рода занятий нет ничего необычного в том, чтобы встретить ту, с кем в оны годы ты, может быть, — а может быть, и нет — отбросил условности и одежды и в шумнодышливом соитии поделился оргазмами, но не номерами телефонов. Если существует этикет в таких ситуациях, я его еще не знаю. Кто-то должен написать инструкцию для пожилых ходоков. Что сказать мимолетной подруге — или иллюзии ее? Рискованно и бесполезно: «Слушайте, мы не встречались когда-то?» Потому что, если встречались, она не поверит, что вы могли ее забыть. А если не встречались, увидит огонек у вас в глазу и сочтет за сенильного селадона, а

[7] Примечания: 7
Адъютанта (*фр.*).

то и закудахчет: «сексуальное посягательство», и вызовет секьюрити.

Что делать? Я мог обознаться. Время может превратить древнее поползновение в пламенную страсть, отказ — в нежную уступчивость, полуосечку — в полнокровную победу. Ради определенности решаю вести себя нейтрально в надежде, что какое-нибудь ее слово или движение оживит уснувшую ячейку памяти. Ничего себе надежда.

Сандра, если так ее зовут, будит какой-то отзвук в душе, но точно — не пожарный колокол воспоминания. Я мог встретить ее на какой-нибудь вечеринке или видеть за прилавком музыкального магазина в Тобурне. Пытаюсь вообразить, какой она была лет пятнадцать назад, до того, как женитьба на маркетинге придала ей светский лоск, а многочисленные роды — рубенсовский объем ее заду. Стараюсь представить ее себе той смешливой, легкой на подъем, полупьяной, смеха ради взбирающейся по лестнице «Роял Тобурна» вслед за таким же хмельным коммивояжером в модном костюме — и на скрипучую кровать — крак-крак, и крепкий сон. А потом еще раз в лад туда-сюда с утренним мутным взором в полумраке занавешенной комнаты. Совместный душ,

фен, мазнув помадой, должна бежать, некогда кофе, увидимся — после дождика в четверг.

— Сандра любезно согласилась быть референтом жюри, — объявляет Олли, — она вела бухгалтерию в оркестре мистера Берроуза, так что знает музыкальные термины и прочее. Если вам что-то понадобится, господин председатель, она будет рада вам помочь.

Я благодарно заглядываю в выразительные зеленые глаза Сандры, но радости не вижу, а только формальную улыбку жены чиновника.

— Уверен, мы не обременим собою чрезмерно миссис Адамс, — отваживаюсь я и смотрю, не мелькнет ли в ее глазах ирония в ответ на мою сомнительную шутку. Ни тени в салатовых радужках.

Это может означать одно из четырех. Или она меня не узнала. Или не хочет узнать. Или ждет подходящего момента, чтобы поговорить наедине. Или это вообще не она — а если так, как выглядит сейчас та и как ее звали? Положусь на удачу и смекалку — как бы не сыграть осла этим вечером.

Если отбросить тщеславие, могу извинить былой подруге, что не узнала меня. Я, правда, не растолстел, но утратил большую часть волнистой

шевелюры, три коренных зуба и зрелую патину, под которой можно сойти и за тридцатипяти- и за шестидесятилетнего. Аполлоном я никогда не был, но благодаря некоторой беззаботности и чуткому уху ощущал себя привлекательным для женщин, хотя особой активностью вне брачного ложа (да и на нем тоже) не отличался. Теперь я выгляжу человеком на пороге пенсии, увядшим без шансов на освежение. Кожа моя потускнела, блеск в глазах притухнул до такой степени, что моя верная секретарша Эрна Уинтер — теперь на покое — прошла мимо меня на Риджент-стрит без обычного приветствия: «Доброе утро, мистер Симмондс, хорошо прошел ваш вчерашний концерт?» Память на ущербе — и как же не хватает мне теперь всеведущей мисс Уинтер.

А что миссис Олли — если она та, кто, я думаю, была тогда или могла быть той? Женщина в баре могла и не разглядеть как следует мое лицо в сорокаваттном сумраке, а я из привычной осторожности мог назваться чужим именем. «Не будьте ворчливым мишкой», — если помню, сказала она со смехом, промокая пролитое виски на моей брючине. И вдруг вспоминаю: «Крепче, мишка, крепче! — кричала она в кульминационный момент. — Обними крепче». Странно, как в

памяти вспыхивают фрагменты и не удерживается суть. Я не вижу лица этой женщины, не знаю имени, помню только насчет топтыгиных.

Возможно, я был только одним из путников в караван-сарае на финальном этапе поисков идеального мишки, завершившихся брачным апофеозом (если она — та же самая) с бородатым шелушащимся Олли. Ее сношение со мной (опять-таки если *ее*), пусть мимолетное, было всего лишь увертюрой Оллиной оперы со счастливым концом. Если она такая, как те импульсивные молодые женщины, про которых я читаю в «Дейли мейл», то у нее были десятки и десятки проб до того, как выбрала спутника жизни. В насыщенной половой жизни рядовой современной женщины хмельная случайность с незнакомцем вряд ли запечатлеется в ее послужном списке. Это только я с моими архаическими эпизодами неверности считаю возможным вспоминать о таком пустяке. Мой моральный слон для нее — муха. Кстати, о мушках — тактильная память подсовывает маленькую родинку на исподе подбородка, радовавшуюся моим ласкам. Это она в морщинке там, Сандра, или шрамик после косметического хирурга? Перестань пялиться, идиот, ты ее смущаешь.

Щупая пульс, сплетничаю с коллегами на музыкальные темы. Правда, эта чешка на Променадном концерте была изумительная? А почему этот, как его, уволился из Ковент-Гардена? Зеленый змий или голубые дела? Миссис Олли симпатично мелькает на периферии. Избегает меня? И что именно меня беспокоит — опасение, что может меня узнать и потребовать еще одного экспромта на пружинах, или сожаление, что женщина, некогда оживавшая под моей опытной рукой, не видит затаившейся искры под моей реликтовой наружностью? Так или иначе, это действует на мою грудную жабу и на мой желудок — спазмом. Умоляю, миссис Олли, можем мы это выяснить, пока у меня не случился сердечно-сосудистый эпизод? Внимание, идет в нашу сторону.

— Несколько слов, господин председатель, перед тем, как пойдем? — Ее дыхание вызывает испарину за моими холодными ушами. Она объясняет мне мои обязанности в предстоящие часы.

Я украдкой поглядываю на ее лицо и не вижу ничего, кроме официальной исполнительности. Ну вот: обознался, фантазия, самообман. Жалкий, в сущности.

Потом, когда мы идем в ложно-тюдоровский

зал Клемента Эттли, я чувствую у себя на спине ее направляющую ладонь, над самым копчиком, и жар соития в гостиничном номере обдает меня, напружинивая и повергая в смятение. Улягся, приказываю я себе, впереди целый вечер работы.

Зал полон, и передние ряды уже тепленькие. Мэр Фроггатт срыгивает несколько приветственных слов и нога за ногу возвращается на свое место, довольный. Гости его с портвейным румянцем веселеют с каждой минутой. Слева на сцене, на столе, ожидают судей три графина с водой и шесть стаканов. Перед каждым местом лежит отпечатанный на мимеографе лист с краткими биографиями конкурсантов. Мы открываем папки и приготовляемся судить. Это не конкурс Чайковского с грызением ногтей и даже не скромный конкурс пианистов в Лидсе. Нет оркестровой ямы, полной скуки и гнилой интриги. Нет даже готового бланка для подсчета очков, только стопка листков с официальной шапкой Тосайдского совета. Я расчерчиваю его на четыре столбика и передаю другим судьям, чтобы они сделали так же. Мы будем оценивать отдельно технику, интерпретацию и музыкальность — насколько точно, новаторски и увлекательно они сыграют

на видавшем лучшие дни «Стейнвее» или на шершавой скрипке, разорившей родителей. Очки сложить, поделить на три, наибольшее среднее — победитель.

Мне приходилось в этом участвовать — и всякий раз с нечистой совестью. Комбатанты оцениваются не столько по таланту и глубине, сколько по метрономной аккуратности. Индивидуальность и артистическое проникновение будут наказуемы профессорами как технические огрехи, а нами, остальными, — как раздражающие выкрутасы. Нет справедливого способа сравнить обаятельного десятилетку с прыщавым выпускником, при неодинаковых инструментах вдобавок. Несправедливость коренится в системе, но публика требует победителя, и мы должны его предоставить. Все знают, что система порочна, но мы занимаемся согласованным очковтирательством в надежде урвать несколько секунд прайм-тайма и напомнить зрителям, что в жизни есть вещи повыше, чем политика, спорт и поп-звезды.

Очковтирательство это никому не во вред. Конкурсантам — так мы говорим себе, по крайней мере, терять нечего. Для них это один шанс из шести вырваться из муниципального или двух-

квартирного дома в Тосайде к лучшей жизни. Они смотрят на музыку как на билет в свободу, так же, как это было с детьми местечек в российской черте оседлости, от горькой нужды становившимися Хейфецем и Горовицем, Давидом Ойстрахом и Исааком Стерном, Натаном Мильштейном и Мишей Эльманом. Тобурн не Одесса, но дети его способны мечтать, и мы им не вредим, поощряя их эскапистские фантазии.

Наш первый финалист, кажется, готов удрать. Ашутошу аль-Хаку, согласно биографии в программке, тринадцать лет. Его родители бежали из бенгальской деревни во время индо-пакистанской войны 1971 года. Вырос он, наверное, над потогонной пошивочной мастерской, в шесть или семь лет приставлен к работе с иголкой и ниткой и более или менее спасен пожилой английской учительницей в полинялом бальном платье, усадившей его за пианино. Ашутош играет атлетично и почти без ошибок фугу Баха, а следом баховский хорал в переложении Бузони. Но игра его — механическая, в ней нет оттенков и остроты. Может быть, обретет их со временем, но пока он не претендент того уровня, какого я жду. Ставлю ему шесть из десяти за технику, четыре за интерпретацию; за индивидуальность

— вопрос… будем великодушны, поставим пять. Сандра Адамс заглядывает через мое плечо. Часть зала, я слышу, кричит «Зиндабад»[8], как будто Бангладеш только что выиграла первенство мира по крикету. Я подавляю вялое интеллигентское желание вернуть его для биса — в его же интересах.

Следующий исполнитель, мальчик только что из начальной школы, с виду слишком мал для своей скрипки. В сарабанде из ре-минорной партиты Баха Питер Барбридж из городка Окслихит играет больше неверных нот, чем правильных, и так расстроен, что не решается перейти к пьесе по своему выбору «Liebeslied»[9] Крейслера с аккомпанирующей ему седой растрепанной матерью. Надо будет сказать что-нибудь приятное несчастному мальчишке во время награждения. Ставлю ему три, четыре и два.

В лице третьего конкурсанта мы имеем победителя. Шестнадцатилетняя Мария Ольшевская родилась и выросла в Тобурне; отец — инженер, польский эмигрант, мать — морской биолог,

---

[8] Примечания: 8

«Pakistan Zindabad» (Да здравствует Пакистан [*бенг.*]) — гимн Восточного Пакистана до 1971 г.

[9] Примечания: 9

«Муки любви» (*нем.*).

занимается Северным морем. Она расправляется с прелюдией и фугой до мажор Баха так, как будто это разминка. Затем хладнокровно, словно экземпляр маминого нектона, играет две прелюдии Шопена и, вернувшись под оглушительные аплодисменты, — блестящую импровизацию на битловскую «Ticket to Ride»[10]. Все при ней.

Девятки Марии на моем листе и примерно столько же у других, когда мы сравниваем оценки в перерыве. Фред Берроуз в восторге от девушки, и обоим профессорам, Бренде Мёрч и Артуру Бринду, не терпится запустить в нее свои педагогические когти. «Мы можем взять ее в академию, ничего, что прием на будущий год закрыт», — жужжат они. Не забыть сказать родителям, чтобы отвезли ее к Иоахиму Малкиелю в Лондон. Ей надо только навести окончательный глянец да сногсшибательное платье — и готова для Карнеги-холла.

Наш энтузиазм по поводу находки остужает недовольный Олли.

— А пакистанского мальчика никто не учитывает? — брюзжит он. — У меня он впереди по очкам.

---

[10] Примечания: 10
«Билет до Райда», или «Билет на поездку» (*англ.*).

Замечаю раздраженное моргание Сандры и думаю: все ли спокойно в семейке Адамс?

— Вы как, Фред? — упорствует Олли, обращаясь непосредственно к заведующему музыкой. — Вам не кажется, что мальчик небесталанный, учитывая возраст и э… биографию?

Берроуз в затруднении: его бюджетом распоряжаются Искусства и досуг, и ему нельзя портить отношения с директором. Он любит свою работу, в ней вся его жизнь. Смотрю, как он озабоченно морщит лоб, обдумывая дипломатическую формулу.

— Он настоящий молодец, — обаятельно мурлычет он. — Я отметил его для наших молодежных променадных концертов. Но тут без вопросов: Мария — это особый класс. Она могла бы представлять Англию на следующем конкурсе королевы Елизаветы.

— Ну, можем мы дать мальчику утешительный приз — показать родителям, как мы ценим его работу? — настаивал Адамс.

— Как вы смотрите, господин председатель? — вступает Сандра Адамс.

Я восхищаюсь ее тактом: дала Оливеру высказаться, но уберегла от дальнейших глупостей.

— Мне представляется, — отвечаю я, изобразив

короткую задумчивость, — нам не стоит опускать планку Тосайдского конкурса молодых исполнителей чрезмерным количеством наград. Мэр стремится сохранить бескомпромиссно высокий уровень. Он поручил нам выбрать победителя, и это наша обязанность. Однако, учитывая воодушевляющий отклик публики, было бы уместно объявить, что ввиду исключительных достоинств конкурсантов Совет предоставит завтра стипендии всем финалистам. Таким образом вы получите возможность лишний раз засветиться и ублаготворите более, так сказать, шумную часть аудитории.

— Да, некоторые были вполне воодушевлены, — соглашается Олли. — Но это ценное предложение, господин председатель, и уверен, что мы изыщем средства. Сэнди, займешься?

Когда мы возвращаемся в зал Клемента Эттли, она оглядывается на меня с кривоватой заговорщицкой улыбкой. Я понимаю ее смысл. Как-то в ссоре Мертл несправедливо обвинила меня в том, что я манипулирую людьми, уступающими мне умственно. Кажется, Сэнди бессознательно делает с бородатым супругом именно это — дергает за ниточки. Бедный Олли.

Следующие два участника задерживают нас

ненадолго. Оба из пригорода, не старше двенадцати и напускаются на скрипку так, как будто она причинила им вред. Аманда Гарви и Рассел Торнтон — продукты азиатской системы обучения, когда берут четырехлетних малышей и превращают в музыкальных роботов. Один, потом другой, они отбарабанили, без промаха попадая в каждую ноту, пять очков каждому. Я собираю свои бумаги, предвкушая свободный вечерок, а тем временем на сцену выходит последний финалист, пятнадцатилетний Питер Стемп из Олдбриджа, настраивает скрипку и начинает первую часть соль-минорной сонаты Баха — одного из самых проникновенных размышлений в мировой классике.

Парень слишком напряжен, чтобы вдохнуть выразительность, недостаточно зрел, чтобы музыка осветилась. Интонирует хорошо, двойные ноты отработаны, экзамен сдан, восьмерка.

Он заканчивает адажио и без паузы, словно боясь, что его оборвут и отправят со сцены, входит в почти механический ритм фуги. Играет чуть меньше минуты — я дошел до того, что смотрю на часы, — как вдруг на чистом тоне открытой струны сердце у меня перестает биться. Выключилось. Встало.

Ну вот он, я думаю, миг расплаты. «Это — от Господа, — слышу Псалмопевца, — и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!»[11] Довольство овладевает мною, и я отдаюсь судьбе. Давидова гимнология перетекает в тюдоровскую поэзию: «О лютня, прозвени струной, в последний раз пред нею спой… Допой и смолкни, кончен бал»[12]. Почему-то встает перед глазами «Герника» Пикассо. Кажется, меня ведут в прощальный тур по памятникам культуры — и плавно убывает жизнь.

Потом толчком пульс возвращается. Жив еще. Выдыхаю, придя в себя к концу второй части, каковой мы и ограничены по времени. Аплодисменты вежливые, коллеги инертны. «Ничего особенного», — ворчит один профессор другому.

Так что сердце замерло у меня одного. Что это было — раннее предупреждение о неизбежном? Провожу короткую самодиагностику. Таблетки принимал в надлежащем порядке по ходу дня. Стрессов, помимо нелепого и мимолет-

---

[11] Примечания: 11

Псалом 117.

[12] Примечания: 12

Томас Уайетт (1503–1542). «Влюбленный в отчаянья от суровости своей дамы». Пер. Г. Кружкова.

ного эротического всплеска, не было. Питался осмотрительно. Пульс девяносто два, дыхание нормальное. Видимо — из-за музыки.

С сонатой соль минор сентиментальных воспоминаний у меня не связано; насколько знаю — хорошая музыка, но душу не переворачивает. Может быть, что-то в исполнении? Питер Стемп задел какую-то струну во мне, угодил в яблочко, много лет остававшееся без внимания. Наверное, что-то есть в занудном мальчишке. Чуть не убил меня, черт.

Увалень трудится над сгустком Сен-Санса из тех, что похожи на палку сахарной ваты, присыпанной сахаром. Ему помогает мышастая мать за роялем, тон у него нетвердый. Оценки — шесть, семь, пять, спасибо и спокойной ночи. Однако в прошлом номере, в Бахе, парень сделал что-то, чуть меня не угробив. Если не повторит этого во французских птифурах, заставлю играть его до тех пор, пока не пойму, что это было.

Французская пена опадает, я жестом осаживаю остальных судей и, пользуясь прерогативой председателя, прошу сыграть еще одну пьесу. Олли хмурится: «Уверены, что нам это нужно?» Фред Берроуз в недоумении. Смущенный Питер Стемп шепчет: «Иоганн Себастьян Бах, сарабанда

из партиты номер два ре минор», и через минуту я знаю все, что мне надо было знать о Бахе, о мальчике и о смысле музыки.

Играть на скрипке Баха — не детская забава. Хотя эта музыка обычно проста на слух, сонаты и партиты полны трудностей. Растяжки пальцев, неудобные штрихи — все это скрыто за доходчивостью производимых звуков. Труднейший скачок оценить под силу только коллеге-виртуозу. А вот фальшивая или пропущенная нота зацепит самых тугоухих слушателей.

Подчинив пьесу пальцам, скрипач должен затем освободить музыку от стесняющего пояса верности и обнажить ее потаенное. Искусство интерпретации Баха — книга за семью печатями, и сломать их дано лишь немногим бессмертным. Его музыка не предназначена для соревнования. Но прозрачность его сочинений для скрипки соло — подарок для конкурсного жюри: никакая другая музыка не позволяет так легко отличить достойного исполнителя от поверхностного.

Чтобы вызвать эту музыку к жизни, солист должен преодолеть инертность нот и вдохнуть в нее свой дух, как спасатель — утопленнику. Восьмые и четвертные — черные капельки на нотном стане и должны быть сыграны точно

так, как написаны. Никакого произвола, самодеятельности, выкрутас. Единственное, чем может выразить себя исполнитель в строгих традициях классической музыки, это слегка варьировать относительную длительность нот — отобрать наносекунду у одной ноты, добавить к другой.

Этот тайный вид кражи, называемый «рубато», позволяет солисту придать индивидуальность звучанию музыки. Это нижняя ступенька сольного исполнительства, первая вольность с текстом композитора. Для больших артистов это такой же пустяк, как для матерого взломщика магазинная кража. Им нет нужды в увертках и передергивании. Они входят в парадную дверь и перекладывают бриллианты в витрине так, что пропажу заметят, когда и след их уже простыл. Виртуоз захватывает время и создает иллюзию, что, imitatio Dei[13], может управлять им. Он способен остановить ход времени, вернуть нас к юношеским мечтаниям, преградить дорогу шествию смерти. Ему послушны стрелки на часах нашей жизни. Вот почему, зная или не зная о том, мы теряем голову от любви к великим музыкантам — потому что они могут выхватить нас

[13] Примечания: 13
Подобно Богу (*лат.*).

с топчака повседневных забот и унести в сферы, где побеждено время.

Я когда-то знал скрипача, у которого время замирало между двумя нотами. Он не один был такой. Это умел делать Крейслер, идол моего отца, и Яша Хейфец, техник с ледяными глазами, мог делать со скрипкой все, что хотел. Крейслер останавливал время для любви, а Хейфец для эффекта; у того же, которого я знал, это было проявлением власти, подчинением мира своей воле. Записей его нет, мастерство его известно только мне. Я вслушиваюсь в игру Стемпа — и вот оно снова. Среди моря артикулированных звуков он берет «соль» на открытой струне и подвешивает в поднебесье. Вот так. Это не дешевый фокус и не ловкое подражание. Стемп не мог это скопировать с записей Крейслера или Хейфеца, потому что у них остановка времени была галлюцинаторной, ее не воспроизведет винил.

И еще: у него есть что-то, что было только у моего скрипача, — он поддерживает иллюзию неподвижности, когда движение продолжилось, как если бы взял педаль на скрипичном аккорде. Я что-то осмысленное говорю? Мой скрипач заставлял время остановиться, как йог преодолевает земное притяжение, но только не шлепался

наземь после секундной левитации, а оставлял звук висеть в воздухе — или в воображении, — пока он, только он сам — не позволит ему замереть. В этом был источник его власти, все остальное вытекало из этой способности.

Почему я могу с уверенностью говорить об этом? Потому что музыкальная память не угасает, как все другие умственные способности. Я, допустим, с трудом вспоминаю имена моих невесток, но помню каждую ноту «Героической симфонии», услышанной в одиннадцатилетнем возрасте, когда ею дирижировал эксцентричный и неопровержимый Отто Клемперер. Ну, может быть, я немножко приврал, на самом деле я сидел и на обеих репетициях, и на концерте. И тот факт, что могу поручиться за каждую секунду тогдашнего переживания, хотя под угрозой смерти от руки грабителя не вспомню свой ПИН-код перед банкоматом, подтверждает неизгладимость музыкальной памяти.

Есть тому и эмпирическое подтверждение. Невролог Оливер Сакс в книге «Человек, который принял жену за шляпу» описывает, как он наблюдал пожилого музыканта на поздней стадии болезни Альцгеймера. Этот человек был не в состоянии отличить свою жену от головного

убора. Одеться он мог, только напевая песню Шумана, — мелодию он помнил прекрасно, и она задавала координаты, в которых он мог выполнять такие сложные операции, как завязывание шнурков и поиски шляпы. Превращенный Майклом Найманом в эффектную камерную оперу, этот клинический случай — трогательное свидетельство того, какой остаточной силой обладает музыка в изношенных стариковских умах. В моем случае неповрежденная музыкальная память позволяет мне с высокой степенью достоверности сопоставить звуки, услышанные сегодня, с теми, которые я слышал мальчиком. Когда я решаю, что Питер Стемп воспроизводит прием, запатентованный тем скрипачом, который ушел из моей жизни сорок лет назад, я сужу об этом с полной уверенностью — сознавая также, что я единственный из живых, кто может засвидетельствовать это совпадение.

Как я уже сказал, записей того исчезнувшего скрипача нет. Он покинул сцену до того, как поднялся занавес, и унес с собой половину моего существа и все мои надежды. Я тосковал по нему, молча, каждый день моей последующей полужизни. Я еще не в силах произнести его имя, но эхо его фирменного приема, прозвучавшее у

Питера Стемпа, пронзает мой слух, глаза набухают влагой, и мне не нужно других доказательств того, что я учуял его запах и, может быть, я уже на пути к тому, чтобы вернуть часть жизни, отнятую у меня незабываемым грабителем времени.

Это не подозрение и не предположение, ничего похожего на вальс «было — не было» с Сандрой Адамс. Это — полная уверенность, что я напал на след того, кто украл лучшую часть меня — нутро, оставив только огорченную оболочку. Я слышу, как Питер Стемп играет ноту, презревшую ход времени, и знаю, что, вне всякого сомнения, мой пожиратель жив и я во что бы то ни стало выслежу его до того, как умру.

И, словно в подтверждение, сердце снова замирает, когда Питер Стемп устраивает этот трюк — слишком часто вопреки чувству меры. Аплодисменты его бису прохладные, и я перехватываю испепеляющие взгляды профессоров. Они дружно уходят ужинать, а я остаюсь, чтобы собраться с силами и с мыслями.

— Все нормально, мистер Сим? — с ласковой фамильярностью спрашивает Сандра Адамс.

— Да, да, идите, догоню через минуту, — отвечаю я, засунув голову под стол с зеленым сукном, как будто что-то обронил. На самом деле не все

нормально, отнюдь, и Сандре, или кто она там, не привести меня в норму. Я либо умираю, либо оживаю и не могу сказать с уверенностью — что лучше.

Человек, которого я давно записал в мертвецы, по-видимому, жив, и меня обуревает мысль найти его — и жуткая догадка, что он намеренно скрывался от меня все эти годы. Давно онемевшие, уснувшие части моего прошлого ожили. Здравый смысл убеждает подавить их, уехать первым же поездом в Лондон. Месть требует начать розыск и, если надо, положить на это жизнь. В рулевой рубке у меня разгорается война: кабинетная осторожность отбивает один за другим приступы авантюризма. Исход может оказаться любым. Если благоразумие полетит к чертям, я могу подвергнуть себя риску, стать посмешищем — или, хуже всего, откроюсь для любви. Не думаю, что любовь мне по силам. «Помоги, — по-детски умоляю я, — Довидл, пожалуйста, скажи, что мне делать».

Произнесенное имя — Довидл — вызывает бешеный приступ сердцебиения. Он и сейчас способен выбить меня из колеи, как ничто на свете. Остынь, возьми себя в руки. Мне надо закончить сегодняшние дела до того, как пущусь

его выслеживать.

В поисках быстрого успокоения перерываю карманы и обнаруживаю — увы, — что забыл переложить валиум из дневного пиджака в парадный. Паника, ладони вспотели, пальцы цепляют дно наружного кармана — вдруг пережила какая-то мелочь недавнюю химчистку. В пересохший рот отправляются две таблетки нурофена, мягкое слабительное и пастилка от кашля из кулинарии, сохранившая вощеную обертку. Довидл, милый, упрашиваю я. Дай мне дожить до той минуты, когда смогу взглянуть тебе в глаза и вернуть себе ту часть меня, что моя по праву.

3
Не вовремя

Последний день, когда я видел Давида-Эли Рапопорта был последним днем моей цельной жизни, жизни моей как целого человека. Он уходил из дома со своей драгоценной Гваданьини в потертом футляре и куском тоста в зубах, а я, будто что-то предчувствуя, крикнул ему вслед: «Довидл (это его уменьшительное с детства), ты справишься? Хочешь, пойду с тобой?»

«Незачем, — с непрожеванным во рту. — Это только акустическая репетиция. Займет не больше двадцати минут». И, нагнувшись, влез в такси, полчаса уже ворчавшее у дома. Майское солнце блестело на его черных волосах, и он повернул к нему свое модильяневское лицо, чтобы ухватить его бледного тепла.

Это было утро его дебюта, события, ожидаемого всем культурным полушарием. Телеграфисты выстукивали известия о нем через Атлантику и оттуда сюда. Радиокомики вставляли его в свои номера («Говорят, он так забаБАХивает, что только держись»). Спекулянты предлагали недо-

ступные товары («Шесть пар нейлоновых чулок, шеф, чудесную гаванскую сигару?») за билет. Коммутатор «Ньюз кроникл» был наглухо забит после того, как газета объявила конкурс с призом в виде двух билетов в передние ряды.

> «Дебют этого красивого молодого скрипача [предупреждала „Дейли геральд“] угрожает затмить оптимистический Фестиваль Британии, с его новым изумительным концертным залом и развлечениями на любой возраст и вкус. Правительство может думать, что знает, как вернуть улыбку людям, уставшим от карточек и затягивания поясов, но ни Роял-Фестивал-Холл, ни Скайлон[14] сами по себе не воспламенят людского воображения. Нужно то, чего не в силах подарить правительство, — явление гения.
>
> Музыкальный мир уже приветствует Эли Рапопорта как самую яркую звезду, взошедшую после войны. Он может стать

[14] Примечания: 14

В 1951 г., чтобы взбодрить страну, и в ознаменование столетия первой международной выставки был проведен фестиваль Британии с разного рода выставками во многих городах. К Фестивалю были построены Роял-Фестивал-Холл и Скайлон — алюминиевый сигарообразный монумент высотой в 75 м, как бы стоящий в воздухе (разобран в 1952 г.).

первым в новом британском поколении виртуозов, которые покорят мир своим талантом, а не силой оружия. Каким стимулом это будет для нашего усталого народа, если он обретет героя новой эпохи — века, который покончит с войнами».

Раскрутка нового героя была произведена бестрепетным Мортимером Симмондсом с военной четкостью и снайперской работой в средствах информации. Макиавеллист до кончиков ногтей, он, перед тем как развернуть кампанию, вынужден был нарушить собственное строгое правило.

— Дэвид, — раздумчиво произнес он как-то за ужином, — нам, пожалуй, понадобится проделать косметическую операцию с твоим именем. Ничего радикального — небольшая коррекция.

— Что вы имеете в виду, мистер Симмондс? — насторожился Довидл.

— Что-нибудь менее еврейское, — сказал отец. — Понимаешь «Давид» звучит чересчур по-еврейски. Ни один музыкант по имени Давид, или Моисей, или Абрам не добивался успеха. По какой-то причине еврейские гиганты не очень хорошо проходят даже в Америке. Чтобы дать тебе ход, может быть, надо отставить «Давида».

— Подозреваю, вы уже придумали замену, — сказал Довидл. — Он знал, что отец никогда не рассуждает на пустую голову.

— Эли, — продолжал Мортимер Симмондс, — хорошее имя звучит внеконфессионально. Как тебе известно, он был иудейским первосвященником, но католикам оно придется по вкусу, потому что напомнит последние слова Христа из пасхальной службы: «Эли, Эли, лама савафхани?» Методисты подумают, что оно валлийское, англиканцы найдут занятным. Еще одно его достоинство — краткость, так что я смогу набрать его более крупным шрифтом, и глаз естественно проследует к трехсложной фамилии внизу. Что скажете, мальчики?

Я иногда спрашивал себя, не оценивает ли отец каждый предмет с точки зрения того, как он будет выглядеть на афише. Довидл, однако, кажется, был не прочь сменить имя. Чем больше он думал об этом, тем больше склонялся к мысли воздвигнуть барьер между своим «я» и будущей публичной персоной.

— Тогда, — сказал он, — я буду знать, какие люди принимают меня за то, кто я есть, а какие — за то, что я делаю.

На этом порешили, и отец отправил его для

обретения уверенности в турне по маленьким городам — без предварительной рекламы и приглашения критиков. Через шесть месяцев, удовлетворенный результатами, отец пригласил на ужин в «Савойе» благожелательного Невилла Кардуса и за выдержанным бренди, между делом, сказал сибариту-критику из «Манчестер гардиан», что в субботу его протеже будет играть Баха в Колстон-Холле, в Бристоле. Кардус, который вел в газете и музыкальную колонку, и крикетную, с легким удивлением ответил, что в субботу как раз ему надо быть в Бристоле, писать отчет о матче Глостершир — Линкольншир (о дате матча отец осведомился загодя).

— Может быть дождь, — сказал отец.

— В Бристоле обычно бывает, — согласился Кардус.

— Я оставлю пару билетов в кассе, — сказал с улыбкой Мортимер Симмондс. — На случай, если у вас образуется пустой вечер.

Рецензия Кардуса вышла в понедельник под заглавием: «Новая звезда на Западе». Такой панегирик бывает раз в сто лет, и потом его вечно цитируют в антологиях. Кардус, весь день томившийся по хитросплетениям музыки, пока счет в матче продвигался с унылой неспешностью на

тридцать ранов в час, явно был сражен Довидлом. Он превозносил его певучий тон, блеск виртуозных пассажей, свободную повадку, сухощавую красоту —

> «сочетание, если мне будет позволено смешать такой метафорический коктейль, раненого Адониса и молодого Дональда Брэдмана[15] в его первом тестовом матче Англия-Австралия. Добавьте к этому глаза Франца Месмера и выразительность Лоуренса Оливье в какой-нибудь из его классических ролей — сухую и бесконечно умудренную, — и то, что мы увидели и услышали в неразукрашенном исполнении Баха, было рождением кометы: самого совершенного молодого артиста, какого мне доводилось видеть на английской сцене — да и любой другой, если на то пошло. Единственное, что меня беспокоит, — сможет ли вместить наша маленькая галактика это расцветающее великолепие».

---

[15] Примечания: 15

Дональд Брадман — австралийский игрок, считается самым лучшим бэтсменом в истории.

Тем утром телефоны будто сорвались с цепи. Критики добивались интервью, оркестры — концертов с ним. Мортимер Симмондс с неизменной любезностью всем отказывал. «Мальчик не вполне готов», — отвечал он, и его мягкое упорство — как и было задумано — только удваивало спрос. Котел закипал.

В январе 1951 года, когда правительство обнародовало планы Фестиваля Британии, в «Бридже», органе, посвященном скрипичному делу, появился материал на трех страницах. «Рапопорт — прямой наследник?» — статья представляла «родившегося в Польше вундеркинда, который дебютирует в Лондоне накануне своего двадцать первого дня рождения, важной вехи в жизни каждого молодого человека. Отмечалось, что „некоторые сравнивают расплавленный янтарь его тона с крейслеровской яркостью…“» (можете догадаться, кто подсказал это сравнение безымянному журналисту).

> «Недавнее завершение исполнительской карьеры в возрасте семидесяти четырех лет после черепной травмы в результате дорожного происшествия [продолжал автор] осиротило любителей

скрипичной музыки. Несравненный Яша Хейфец вызывает изумление и восхищение, не зажигая нас любовью, безупречному Иеґуди Менухину мы поклоняемся издали. Блистательных Натана Мильштейна, Мишу Эльмана и других представителей русско-американской диаспоры нам отпускали крайне скупо после войны. Мисс Гендель великолепна, но она еще, в сущности, девочка.

В вестибюле Уигмор-Холла слышишь сетования: „Как хотелось бы нового Крейслера, артиста, который может и сердце порадовать, и подмигнуть шаловливо, артиста неповторимой индивидуальности. Или таких больше не выводят?“

В самом ли деле? Больше десяти лет прошло с тех пор, как Англия в последний раз слышала Крейслера, и то, что осталось в ушах, — ностальгический туман. Так всегда с живыми легендами: мы прощаем им огрехи поздних лет и помним их такими, какими слышали их в расцвете. Крейслер великолепный — фигура далекого прошлого. Мы стали ждать нового Крейслера задолго до того, как прежний

покинул сцену.

Но сегодня забрезжила надежда на будущего наследника. Для тех, кто склонен видеть в таких вещах знамение, его дебютный концерт в Роял-Альберт-Холле 3 мая произойдет через тридцать лет без одного дня после триумфального возвращения Короля Крейслера в Лондон, еще не оправившийся от мировой войны. В тот вечер чарующие звуки струнного инструмента заставили забыть на время о мучительной смертельной битве и людских потерях. Есть основания думать, что предстоящее 3 мая подарит нам такой же вечер.

Исходя из того, что я слышал на выступлениях талантливого скрипача в провинции — на концертах в Бейзингстоуке, Гилфорде и Пуле, умело организованных мистером Симмондсом, могу засвидетельствовать, что исполнения такой счастливой проникновенности, технического совершенства, жизнерадостности мы не слышали с тех пор, как великий Франц излился на нас, точно сливки на кофе, и навсегда изменил наш внутрен-

ний состав. У юного мистера Рапопорта собственный особый звук и стиль ему под стать — в котором и задор, и завороженность. Прежде чем закончится нынешний сезон, он, надо думать, шагнет дальше и выше Бейзингстоука, Гилфорда и Пула; пределом ему только небо. Его подход к Баху хотя еще вселяет опаску, подобен свернувшейся на солнце перед броском кобре — красота, способная ужалить без предупреждения. В частности, си-минорную сонату он сыграл…»

Дальше можно было не читать. Критическая оценка перетекла в чистую гиперболу, перлы, просившиеся в цитаты, так и сыпались. Экземпляр статьи «с уважением от м-ра Мортимера Симмондса» был отправлен почтой Уильяму Хики, ведущему светскую хронику в массовой «Дейли экспресс». Два дня спустя там появился заголовок: «Юный лондонец может стать новым Крейслером, — говорят знатоки». Миллионы людей, никогда не входивших в концертный зал, Крейслера знали из радиопередач — артист на века. Когда «Экспресс» представила нового Крейслера, это было примерно то же, как если бы

«Монд» открыла наследника Родена.

Интерес у публики разожгли, и от журналистов не стало отбоя. Отец регулировал кампанию с мастерским хладнокровием, но и он иногда не справлялся со стихией, и это ложилось бременем на Довидла.

— Мортимер, ты перегружаешь мальчика, — выговаривала ему мать за завтраком. — Эти дотошные интервью, бесконечные концерты в спальных городишках и ежедневные упражнения — они сказываются на его здоровье. Посмотри — он бледный, под глазами синяки, аппетита нет. Не удивлюсь, если у него и бессонница. Дэвид, сколько ты спал сегодня ночью?

— Не меньше четырех часов, миссис Симмондс, — прошамкал он с полным ртом и подмигнул мне поверх голубой чашки.

— Видишь, Мортимер? — воскликнула умело заведенная миссис Симмондс. — Ты доведешь мальчика до нервного расстройства.

— Дорогая моя Вайолет, — сказал отец, разравнивая джем на поджаренном черном хлебе, — можешь не сомневаться: интересы Дэвида для меня на первом месте. Как и ты, я состою с ним

в отношениях in loco parentis[16] и всячески позабочусь о том, чтобы он не перетрудился. Но ты должна помнить, Вайолет, что он артист, а я его импресарио. Я употребил весь свой опыт и все возможности для его блага и счастлив сказать, что он внимательно прислушивается к моим советам — при этом, сколько я слышал, находит время и для развлечений. Мисс Уинтер сказала мне, что в начале недели видела его в очереди перед кинотеатром «Эвримен» с «развитой», как она выразилась, молодой дамой.

Довидл самодовольно усмехнулся и успокоил мою маму:

— Подруга из колледжа, абсолютно респектабельная семья.

— Вот видишь, — продолжал отец, — это уже не домашняя проблема. Речь идет о деле. Мальчик в хороших руках и скоро станет мужчиной. А мужчина должен делать то, что ему говорит его импресарио. Дэвид, можно напомнить тебе, что завтра утром у тебя фотосессия? Будь готов к девяти тридцати. Пожалуйста, темный костюм, белая рубашка. Вайолет, проследишь, чтобы было выглажено?

---

[16] Примечания: 16
Заменяющего родителей (*лат.*).

Результаты этой съемки появились на четвертой и пятой полосах «Ньюз кроникл» под заголовком: «Играть на струнах сердца». С дерзко распахнутым воротом ослепительно белой рубашки Эли Рапопорт сидел на подлокотнике скамьи в парке и смотрел на склон Хампстедской пустоши, с каждым днем врастая в свой новый публичный образ и удаляясь от Довидла, которого я знал.

В марте отец сообщил газете «Таймс», что, кроме Баха, Эли Рапопорт впервые исполнит «Концерт мира» современного, но мелодичного композитора Владимира Кузнецова. Новая музыка — обычно кассовый провал, но Владимира Кузнецова Лоуренс Оливье предпочел слабеющему Уильяму Уолтону для предполагаемой экранизации «Потерянного рая», и интерес к Рапопорту настолько вырос, что его дебют растянулся на целую неделю концертов в Роял-Альберт-Холле. В последний день марта я был послан наклеивать ленты «Только возвращаемые билеты» на громадные афиши и старался избегать спокойного взгляда глубоко посаженных глаз Довидла, гипнотизировавших кенсингтонских прохожих.

На следующей неделе Королевское Генделевское общество (патрон — Его Величество

король) представило давно утерянный, по словам президента — профессора сэра Гарольда Брука, — кончерто гроссо 1724 года. В письме композитору Георгу Филиппу Телеману в Гамбург Гендель сообщал, что произведение содержит в себе зачаток того, что можно рассматривать теперь как первый настоящий скрипичный концерт — за несколько лет до баховских. Партия скрипки не была полностью выписана, но при любезной поддержке «Симмондс лимитед» сэр Гарольд готовит вариант, который будет впервые исполнен блестящим молодым музыкантом Эли Рапопортом в ходе гастролей по шести европейским странам.

Выпустить нового музыканта с двумя новыми произведениями, причем одно из них заявлено как важное историческое открытие, — затея беспрецедентная и граничила с дурным вкусом. Но так убежден был отец в таланте Довидла, так вложился эмоционально в его успех, что махнул рукой на благоразумие и сдержанность. Пресса сыграла свою роль безупречно. В первой пространной статье «Дейли телеграф» представила его как единственного уцелевшего из семьи польских евреев, уничтоженной нацистами в годы оккупации; с детства он воспитывался в семье мистера Симмондса, музыкального импресарио

и издателя.

«Я обязан жизнью семье Симмондсов и британскому народу, — сказал Довидл. — Я никогда не смогу расплатиться по этому долгу. Но если мне дан какой-то талант, я посвящаю его защите ценностей, которые открыла мне эта страна — свободы, терпимости, достоинства личности».

В более легкомысленном ключе сообщалось, что молодой скрипач «с удовольствием проводит время в обществе красивых девушек, любит послушать музыку кантри и в три часа ночи выпить крепкого кофе на зеленном рынке Ковент-Гарден». В те пуританские времена журналисты не стремились влезать в подробности ночной жизни своих героев.

Натиск прессы потребовал дополнительной рабочей силы в штабе Симмондса. В пасхальные каникулы, когда я готовился к выпускным экзаменам в Кембридже, меня посадили в приемной разбираться с самыми разнообразными посетителями. Тут были и праздношатающиеся, и склочники, и перекупщики билетов; корреспонденты швейцарского новостного агентства, коммивояжеры, предлагавшие скрепки для бумаг, сборщики пожертвований для Израиля, оркестранты, не получившие жалованья, обно-

сившиеся композиторы, музыковед из Эдинбурга, предлагавший поставлять сопроводительные тексты для всех программок. «Стимулирующие статьи помогают заполнить зал», — оптимистически заверил он меня.

С музыкальными надоедами я обходился вежливо, но твердо. Ни один не миновал моего стола и не отнял больше трех минут от чтения биографии Сталина — весной 1951 года, в разгар холодной войны, эта книга Исаака Дойчера была обязательным чтением для всякого, кто намеревался получить степень по современной истории.

Более цепкими были чиновники — сотрудники Совета по искусствам, инспекторы муниципальных советов, атташе по культуре из посольств, — все добивались одного и того же: билетов на дебют десятилетия. Единственным, кого мне не удалось отшить, был худой итонско-оксфордский тип в визитке и брюках в полоску, — он явился в четыре часа, когда по коридору катили тележку с чаем, и потребовал встречи со старшим партнером.

— Я Александр Хорниман-ффитч, министерство иностранных дел, — величественно протянул он.

— Боюсь, мистер Симмондс до вечера на совещании и принять не сможет, — ответил я.

— Тогда я подожду, пока он не освободится, — сказал чиновник и, выбросив крахмальные манжеты и слегка поправив жемчужную галстучную булавку, занял свободный стул рядом со мной. Человека из министерства иностранных дел я никогда не видел во плоти. Не видела, кажется, и Розалин, временная секретарша, чье место он занял. Спокойная, с флейтовым голосом, выпускница экономического факультета, она расплавилась под его надменным взглядом, превратясь в трепещущую прислугу, — бросила работу и побежала по коридору за «подходящей» чашкой и блюдцем для нашего безукоризненного гостя. Хорниман-ффитч пожаловал ее за старания незаметнейшим кивком и, отпивая чай поджатыми губами, обратился к ближайшему ответственному лицу — ко мне.

— Не будете ли вы так любезны сообщить руководителю вашего, э, предприятия, что Постоянный заместитель министра с нетерпением ждет ответа на несколько писем, посланных им на этот адрес, поскольку установить телефонную связь оказалось невозможно.

Я пробормотал, что проверю папки, и ныр-

нул в кабинет отца, где он, как обычно, говорил по двум телефонам сразу. Бессмысленно было разыскивать на его столе завалявшиеся письма с гербом; я сказал, что на пороге у него засел чин из министерства иностранных дел.

— Догадываюсь, чего он хочет, — улыбнулся отец. — Тащи его.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы меня приняли, мистер Симмондс, — протянул незваный гость с ударением на «о» в фамилии, чтобы обозначить израильское ее происхождение и разделяющую нас генетическую пропасть. — Мой начальник, Постоянный заместитель министра, по поручению своего начальника, министра иностранных дел, просил вас в письмах выделить билеты на музыкальный вечер, который вы организуете, если не ошибаюсь, в будущий четверг в Роял-Альберт-Холле. Оговаривалось, что билеты не для сугубо личного увеселения, хотя министр — сам превосходный музыкант-любитель. Мы принимаем сейчас министров трех дружественных стран, и они выразили горячее желание посетить этот концерт. Я уполномочен сообщить вам в конфиденциальном порядке, что правительство Его Величества ведет деликатные переговоры с этими странами на предмет

нашего сотрудничества с экономическим союзом нескольких европейских государств, который находится в стадии формирования. Чтобы способствовать гармоничной атмосфере на переговорах, мой начальник желал бы забронировать двенадцать лучших мест на концерте в четверг.

Мортимер Симмондс составил пальцы под подбородком — зловещий признак для тех, кто хорошо его знал.

— Вам известно, мистер э… ффитч, — он мог осадить за милую душу, — что эти концерты — коммерческие мероприятия, и я устраиваю их на свой страх и риск, не получая ни пенса от государственных фондов?

Посланец кивнул.

— Тогда вам, может быть, интересно, что Его Величество в тот же вечер посетит концерт по случаю открытия Роял-Фестивал-Холла, построенного ценой огромных государственных затрат и поддерживаемого постоянными субсидиями. Не лучше ли препроводить ваших гостей на это празднество, организованное и оплаченное правительством Его Величества, чем на наше скромное частное представление?

Дипломат вынул из кармана серебряный портсигар, предложил нам отборные турецкие

сигареты и, когда мы отказались, спросил, не возражаем ли мы, если он закурит. Выпустив облачко ароматного дыма, он перешел к следующему этапу переговоров.

— Наверное, я должен бы выразиться яснее, мистер Симмондс. — На этот раз он произнес фамилию правильно. — Нашего брюссельского гостя мсье Ван Флекта, тоже даровитого скрипача, Ее Величество бельгийская королева Елизавета просила лично рассказать ей об этом, по-видимому, выдающемся молодом исполнителе, мистере Рапопорте, чей концерт вы организуете. Королева Елизавета, как вы, вероятно, знаете, — ученица легендарного виртуоза Эжена Изаи[17] и в память о нем учредила авторитетный скрипичный конкурс. Правительство Его Величества горячо желает расположить наших бельгийских союзников, чрезвычайно полезных нам на европейских совещаниях. Министерство иностранных дел, разумеется, полностью оплатит места и, если надо, — он понизил голос, — *с дополнительной надбавкой за неудобства.*

— Мне, наверное, следовало уточнить сразу, — суше прежнего произнес отец, — все три

---

[17] Примечания: 17

Эжен Изаи (1858–1931) — бельгийский скрипач, дирижер, композитор.

концерта полностью распроданы.

Это было не совсем правдой. Концерты никогда не бывают распроданы полностью: всегда что-то остается у администрации для экстренных случаев — но это секрет, о котором публике и правительственным чиновникам не положено знать.

— Также меня просили сказать, — невозмутимо продолжал Хорниман-ффитч, — что вклад «Симмондс лимитед» в британскую культуру не остался незамеченным. И старший партнер вправе рассчитывать — давно уже, полагают некоторые — на соответствующее признание в Списке награжденных по случаю Дня рождения монарха.

Стрела, наконец, была направлена куда надо. Отец, как всякий выбившийся из низов, жаждал подняться в общественном статусе; мать мечтала о приглашении во дворец. Рыцарское звание и даже орден Британской империи были искушением фаустовских масштабов — я боялся, таким сильным, что его моральная броня не устоит.

Своевременный солнечный луч пронзил пыльный воздух; отец передвинул бумажный курган с левой стороны стола на правую.

— Мистер Хорниман-ффитч, — сказал он лас-

ково, — можно задать вам недипломатичный вопрос?

— Ради бога, мистер Симмондс.

— До того, как вы перешли в аппарат Постоянного заместителя министра, в каком отделе министерства вы трудились?

— Ближнего Востока и Северной Африки, сэр, — ответил ничего не подозревавший чиновник и с удовольствием выпустил облачко турецкого дыма.

— И, если не ошибаюсь, отдел Ближнего Востока и Северной Африки отвечает за палестинский вопрос?

— Совершенно верно, сэр.

— Сообщалось, что ваш отдел решительно противился образованию еврейского государства и продолжает поддерживать эмбарго на торговлю с государством Израиль.

— Это официальная позиция, сэр.

— Теперь совсем другой вопрос. — Мортимер Симмондс вздохнул. — Правильно ли я информирован, что, по некоторым сведениям, чиновники из отдела Ближнего Востока и Северной Африки дают *бакшиш* или денежные подарки местным сановникам и функционерам для смазки шестерен международного взаимопонимания?

Визитер понял, к чему это ведет, но выкрутиться уже не было возможности.

— Я не могу комментировать отдельные инциденты, — попробовал уклониться он, — но любые такого рода действия противоречили бы нашей политике и требовали дисциплинарных мер. Хотя другие европейские страны, менее щепетильные, чем мы, прибегают к такой практике регулярно.

Мортимер Симмондс поднялся во весь свой 168-сантиметровый рост.

— Будьте добры сказать Постоянному заместителю министра, что его аппарат только что продемонстрировал свою нечистоплотность, усугубленную лицемерием. Вы, сэр, минуту назад предложили мне средь бела дня две взятки — денежную и в форме титула. Предлагаю вам прибегнуть к обычной аппаратной практике и купить билеты у ливанского торговца оружием со связями на черном рынке. А теперь, сэр, попрошу вас уйти. У меня на проводе министр культуры Франции.

У меня в памяти отпечаталось каждое слово диалога, потому что это был самый славный час отца (если воспользоваться популярной черчиллевской фразой) и один из его последних.

Выпроводив побежденного, Мортимер Симмондс раздул грудь с чувством, что одержана маленькая победа Моисеевой непреклонности над английским компромиссом, пустынного ригоризма над салонными экивоками. На другое утро он отправил с курьером пригласительные билеты в посольства Бельгии, Голландии и Люксембурга и еще два — лично министру иностранных дел. Французам были предложены два билета за полную цену. Взгляды отца на отношения с нашим ближайшим соседом сложились в Первую мировую войну.

В последнюю неделю на нас обрушилась лавина дел. Высокая Розалин упала в обморок за столом; я вызвался отвезти ее домой в Уимблдон, и там свежий воздух и чашка чая быстро привели ее в себя. За эти две недели я привязался к нашей временной секретарше, некрасивой длинноногой девушке, за чьей невзрачной внешностью скрывались сильнейшие аналитические способности и предубеждения. Однажды, вернувшись с обеда, я застал ее за чтением моей книги — дойчеровской биографии Сталина.

— Бессовестная апологетика, — фыркнула она, захлопнув книгу на моей половине письменного стола.

— В каком смысле?

— Все эти доводы в пользу насильственной сталинской коллективизации — производительность, эффективность, равенство, социальная гармония — чистое очковтирательство. Никакого эко-комического оправдания ей не было, что бы ни твердили доверчивые либералы. Отменить собственность на землю — и крестьянин теряет стимул производить еду. Это программа голода, который и воспоследовал.

— А идеологические мотивы?

— Цель коммунизма, насколько понимаю, — распределить богатства, а не уморить миллионы голодом. Сталин — это тот же Гитлер под маской доброго дядюшки; а книга эта — наукообразное оправдание массового убийства. Сожгите ее.

Это было смелое заявление — да еще в полный голос — для музыкальной компании, где большинство людей думали сердцем, а не умом и голосовали за левых. Для многих из нас Сталин был еще добрым Дядюшкой Джо с симпатичными моржовыми усами, наш союзник в войне. Но не для Роз. Она расстреливала каждое его мнимое достижение, резала в лоскуты лазером своей логики. С каждым днем она мне все больше нравилась. Вдали от конторы, умостившись на

пригородном диване с чашкой Лапсанг-Сушонга, я почувствовал ответную расположенность и осторожно обнял ее за плечи. Розалин наклонила ко мне умную голову — чуть-чуть. Я спросил, не согласится ли она как-нибудь вечером встретиться со мной. Она взъерошила мне волосы и весело согласилась. Потом мы поцеловались, она сделалась серьезной, гладила меня по щеке, держала за руку. Посреди наших неловких занятий пришла ее мать, и я отплыл на облаке. Розалин была первой девушкой, которую я осмелился позвать на свидание.

Но свидание так и не состоялось. Через неделю, когда рухнул наш мир, Розалин заняла должность в валютном отделе Банка Англии, где выросла, незамужняя, до поста заместителя директора. По тогдашним консервативным понятиям женщине на высоком посту семейная жизнь была противопоказана. Мы встретились с ней много лет спустя на бар мицве. Она держалась чинно, одета была невзрачно, и мы обменялись осторожными кисловатыми банальностями.

Напряжение перед концертом было таково, что не обошлось без жертв. Композитора Кузнецова увезли в больницу с высоким давлением, и оно волшебным образом нормализовалось, как

только явился мой отец с утерянной страницей его концерта. Дирижер, раздражительный беженец Матиас Фрейденштейн, в ярости от того, что партитура показалась ему неразборчивой, ранил себе палочкой руку. Тромбонист явился воинственно пьяным, заменивший его запросил надбавки за длинное соло. В Альберт-Холле работники бара демонстративно ушли из-за какого-то воображаемого конфликта, но тут же вернулись, наткнувшись на Горди Миллса, завершавшего карьеру боксера-тяжеловеса, которого мы наняли охранять служебный вход.

Скотланд-Ярд прислал инспектора в кепке, чтобы обсудить меры по предотвращению беспорядков. Бригада скорой помощи св. Иоанна удвоила обычный комплект своих санитаров. У матери начались истерики по поводу приема после концерта, который милостиво согласилась посетить дальняя родственница королевы. «Когда я делаю книксен? — с дрожью в голосе спрашивала она. — И как к ней обращаться — Ваше Королевское Высочество?»

В нараставшем ажиотаже самым спокойным оставался его виновник (Давид) Эли Рапопорт. Насколько я мог судить, — а мне было легче судить, чем кому-либо, — Довидл совершенно не

нервничал. С репетициями и интервью он управлялся играючи, с улыбкой и шуточками. И у него еще оставалось время на ночную жизнь и кофе в три часа ночи.

— Ты высыпаешься хотя бы? — спросил я его, изображая взрослого.

— Мужчина должен делать то… — Он подмигнул.

— Что ему говорит импресарио. — Я засмеялся.

Оглядываясь назад, я тысячу раз спрашивал себя, не было ли в его спокойствии чего-то неестественного, не скрывался ли за ним продуманный план исчезновения. И, как ни старался — а я перепробовал и гипноз, и холистическое целительство, и двух юнгианских психотерапевтов, — не мог припомнить в его поведении тех последних дней никаких признаков чего-то зловещего или разрушительного. С другой стороны, беззаботность была еще и щитом. Он был полной противоположностью взнервленного артиста, который выходит из себя, если в зале кашлянула старая дама или гобой вступил с опозданием. Довидл, казалось, принимал жизнь такой, как есть, — брал от нее то, что хотел, а с оставшимся предоставлял разбираться мне.

Так что, когда он исчез в то молочное майское

утро, и полицейские, среди прочих, явились с вопросами, я, его ближайший друг, ничем не мог им помочь. Я, как и все, был ошеломлен его исчезновением, угнетен потерей, чувством вины — но еще тут пахнуло предательством. Где я был, когда он исчез в неизвестности? Пластался, как и все остальные, чтобы поднять его на пьедестал. Я ничего не видел, ничего не слышал, не ждал никакого подвоха — только раз кольнула тревога, когда он садился в такси, и я спросил:

— Довидл, все хорошо?

Он заверил меня, что все в порядке, доедет сам, скоро вернется.

Снова и снова я прокручивал в голове этот момент, пока на пленке не порвалась перфорация. А если бы я все-таки поехал с ним на такси? Может быть, спас бы его от безумного поступка, помешал похищению или убийце? Что он мог намеренно скрыться — это была бы такая низость, о какой я даже подумать не смел. Никогда я не видел в нем ничего низкого. Мелкие недостатки — да, и множество; но предательство без причины — на такое он был не способен.

Правда, видеть его я мог только через призму обожания. Он был светом, заставлявшим блестеть мою тусклость, лучом, открывавшим во мне

самое лучшее. Я зависел от него в утверждении своей полезности, а он от меня (по его словам) — как от посредника с остальным человечеством. Мы были нераздельны — или он позволял мне в это верить.

И вдруг разделились, без причины и предупреждения. Когда он не явился на свой сенсационный дебютный концерт, я бросился разгребать руины, последствия катастрофы. Недели прошли, прежде чем я осознал, что часть меня, лучшая часть, ампутирована и жизненная дорога уходит в лишенную цели пустоту. С той поры я искал его, искал себя, искал жизнь, которая умерла в тот вечер.

4
Грабитель времени

Первое впечатление бывает обманчиво, но за те двенадцать лет, что я знал Довидла, он в моих глазах не изменился. В памяти всплывает день, когда я увидел его впервые: он шел к нашей двери так, как будто был хозяином дома, если не всей улицы. Было жаркое августовское воскресенье 1939 года, и мы сидели дома в Сент-Джонс-Вуде. Ежегодную двухнедельную поездку в Нормандию пришлось отменить — назревала война. Собрался парламент. Раздавали противогазы, проверяли их, учили пользоваться. Отпускные чемоданы были опорожнены, наполнены для эвакуации. На перекрестках складывали мешки с песком, почтовые ящики перекрашивались в защитные цвета — зеленый с коричневым и желтым, а сверху покрывали химической краской, которая, предполагалось, среагирует на газовую атаку. В небе висели аэростаты воздушного заграждения. В Гайд-парке рыли траншеи (мы не знали, что они предназначены для массовых захоронений); Примроуз-парк распахали под огороды и засеяли.

У нас в конце сада мастер сварганил убежище из рифленой стали и покрыл, как предписывалось, полуметровым слоем земли. На всех окнах повесили светомаскировочные шторы, а стекла от взрывной волны обклеили крест-накрест лентами. В ближних магазинах закончился клей и оберточная бумага. Наша прислуга, Флорри и Марта, пребывала в растрепанных чувствах. Мои родители ходили, понурясь, с наморщенными лбами. Я смертельно скучал.

Это было мое обычное состояние, вовсе не связанное с геополитическими событиями, за которыми я внимательно следил. Я начал читать газеты год назад, во время мюнхенского кризиса, и совсем погрузился в них, когда немецкие войска вступили в Прагу, как я и предсказывал мрачно. С этого времени я наблюдал за соскальзыванием в войну, замечательно предвидя весь ход событий. Пусть старается Гитлер: наша империя неуязвима, наша парламентская система не по зубам оглашенному тирану. Мое детское заблуждение, кажется, разделяли почти все большие газеты, за единственным исключением еженедельной «Спектейтор». Ее владелец и редактор Ивлин Ренч хорошо изучил за сорок лет Германию и грустно предсказывал самое

худшее. Отец брал «Спектейтор» каждую пятницу и для равновесия — левые «Нью стейтсмен» и «Трибьюн». Поворошив их слегка, он принимался за страницы рождений-свадеб-похорон в «Джуиш кроникл», органе еврейской общины. Я потихоньку забирал еженедельники и, шевеля губами, читал многосложные комментарии, политически просвещался. В домедийные времена не было ничего необычного, если девятилетний ребенок читал для удовольствия Диккенса или, по необходимости, Библию, когда в доме не было ничего увлекательнее. Я был чуть более развит, чем сверстники, — до несносности. Презрев сентиментальные романы матери и девственное собрание «Мировой классики» в застекленном шкафу, я узнавал из политических еженедельников о невидимых силах, правивших взрослой вселенной, искал в них ключ для расшифровки сложностей зла.

Что касается Гитлера, я держался позиции обдуманного нейтралитета. Есть детское горе, заслоняющее великие события, несчастье более глубокое, чем все мировые трагедии. Мое несчастье было такого порядка. Если я читал, что в Китае два миллиона умирают от голода, то думал, что их страдания меньше, чем мои сытые

страдания в Сент-Джонс-Вуде. У сирот, беженцев, безработных, по крайней мере, общая беда. Я был заточен в одиночестве, лишен осмысленных человеческих контактов. Мне казалось, что Гитлер с его ордами не может сделать мне хуже, чем уже есть. Как бы он ни относился к евреям, я не принимал ничью сторону — все равно, кто победит, если он уничтожит моих главных врагов, начиная с «соседского Джонни Айзекса», образцового мальчика, который декламировал Шекспира на родительских суаре и играл центрфорвардом в молодежной лиге «Маккаби».

Близорукий и низкорослый, с пятью килограммами лишнего веса и прыщеватый вдобавок, я погрузился в книги и избегал дружб — не то чтобы мне их очень навязывали. В школе у меня было прозвище Зубрила Сим. Другие ребята менялись сигаретами и карточками, а я читал политические трактаты и мечтал пройти в парламент — идея тем более абсурдная, что заикание мешало мне быстро ответить на вопросы педагогов-педофобов с нетерпеливыми свистящими тростями. Чтение было моим непроницаемым убежищем от не принявшего меня мира.

Да и родители не очень интересовались моим умонастроением. Отец был весь в делах, а что

делала мать со своим временем, я до сих пор не могу постигнуть. У нее были живущая служанка и кухарка на полном жалованье для ведения хозяйства, один ушедший в себя сын и муж, мало бывавший в доме. Чем она себя забавляла? С любовником по средам в беркширской гостинице? Сомневаюсь. В те чинные времена, до Таблетки, скандал для еврейской женщины из среднего класса грозил слишком тяжелой потерей в статусе и комфорте. Развод означал позор похуже, чем бедность. Для выхода жизненной энергии у нее была программа утренних встреч за кофе, обедов в женском обществе, вечеров бриджа и комитетов помощи беженцам. Печально, если подумать. Если бы она завела любовника, часть проснувшейся любви, возможно, досталась бы и мне, хотя бы путем осмоса. Мне хотелось материнского тепла. Ей хотелось сына, которого можно показать леди Ротшильд, поэту-лауреату и жене главного раввина. Наши желания были обоюдно неосуществимыми.

Крепко сбитая, с хрустальным голосом, мать держала себя с надменностью, показывавшей, что она потеряла былое положение в обществе не по своей воле. Вне дома она никогда не снимала перчаток, чтобы не уронить себя sub speciae

humanitas[18] (латынь ее была чистой, испанский — безупречен). На концерте она не удостаивала снять перчатку даже для того, чтобы перелистнуть программу или похлопать. Надменность спадала с нее только в высшем обществе, где превращалась в заискивание: признают ли в ней титулованные особы ту, кем она считала себя на самом деле? Она жила в страхе перед «Вудом», где мы были парвеню — родители переехали сюда в 1932 году из пригородного Финчли вскоре после того, как на Эбби-роуд открылась знаменитая студия звукозаписи. Мать держала открытый дом для артистов, которых отец сопровождал на свидание с судьбой, но в этом был налет «коммерции», а она жаждала признания у знатных дам района, чьим мужьям не было нужды зарабатывать на жизнь.

Ее родительские чувства представляли собою смесь неудовольствия и разочарования. «Мартин, почему ты не можешь завязать галстук так, чтобы узел был ближе к горлу, чем к грудной клетке? Позволь поправить его раз и навсегда. Потрать лишнюю минуту перед зеркалом утром перед выходом и, может быть, однажды ста-

[18] Примечания: 18
С точки зрения изящества манер (*лат.*).

нешь приемлемым членом общества. Видит бог, я старалась изо всех сил, чтобы сделать тебя презентабельным. Постой спокойно, перестань изображать удушье».

Не ее нетерпеливая рука на моей трахее заставляла меня давиться, но что-то в самом ее существе, ледяные испарения неудовлетворенности, обволакивающие ее, как утренний туман арктическое озеро. Я физически боялся, что она меня обнимет; впрочем, у нее не часто возникал такой порыв.

В то воскресенье, когда появился Довидл, я был вторым в комплекте ее раздражителей. Отец, как всегда, опоздал к обеду, каковой проходил под звяканье приборов о фаянс, прерываемое только приказами обслуге.

— Флорри, будьте добры, передайте мистеру Симмондсу соус.

— Морковь очень мило приготовлена сегодня, Марта, — совсем не пересушена.

— Спасибо, мистер Симмондс.

— Флорри, можно уже убирать со стола.

— Да, мэм.

— С особой внимательностью уберите место, где сидел мальчик.

После мороженых десертов родители отпра-

вились вздремнуть в свои отдельные, заново отделанные спальни.

— Мне скучно, — сообщил я их удаляющимся спинам.

— Пошел бы поиграл с товарищем, — вздохнув, отозвался отец.

— У него их нет, — бросила мать. — Он зарывается с головой в «Пикчер пост» и не желает приложить к этому никаких стараний. Я совсем не понимаю мальчика. Я купила ему футбольный мяч — почему не пойти к соседскому Джонни Айзексу и не предложить ему поиграть?

— Ненавижу футбол, — пробурчал я.

— Ленив до неприличия, — проворчала она.

— Сыграю с тобой в шахматы, когда проснусь, — пообещал отец.

Я понимал, что это сказано с наилучшими намерениями, но знал, что он, скорее всего, забудет по обыкновению.

— Все равно, чем он займется, — сказала мать, — но два часа чтобы звука от него не слышала. По-моему, у меня разыгрывается мигрень.

Мы с отцом обменялись мужским взглядом и пошли каждый своим путем. Потребность в компенсации повела меня к заначке «киткат» под кроватью, соблазнительно переодетому в но-

вые красные обертки лакомству. Продававшиеся вначале под названием «Хрустящие батончики Раунтриз», они должны были отсылать к томному благолепию английских кофеен XVIII века. На мой начитанный взгляд, они отзывались даже чем-то более экзотическим, нежели вязкий рахат-лукум в шоколаде «Фрайз» — наркотическим катом Северо-западной провинции[19]. Я пристрастился к этим батончикам молочного шоколада, но в то пустое воскресенье устоял перед соблазном.

Я побрел в сад за домом и уселся в кресло для более пьянящего развлечения: подглядывать из-за забора за полненькой миссис Харди, расстегивавшей, бывало, лишние пуговки, когда она дремала в шезлонге. Способ подглядывания был таков, чтобы свести к минимуму вероятность быть обнаруженным. Правила были строгие: кресло должно стоять не ближе, чем в метре от забора, смотреть — не больше десяти секунд, раз в четыре минуты. Миссис Харди — ее имени я не знал — была светлокожая, лет тридцати пяти, бездетная; мистер Харди, носивший тройку даже дома по воскресеньям, был «кем-то в Сити» и

[19] Примечания: 19

Северо-западная провинция Британской Индии в 1955 г. стала пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва. Кат — кустарник семейства бересклетовых, его листья содержат стимулирующие вещества.

сидел с газетами и трубкой в тени метров за семь. Оба Харди не подозревали о моем существовании, тем более — о моем развратном интересе. Удовольствие я получал ничтожное, но игра эта позволяла убить пустой час, и глаза успевали отдохнуть перед следующим сеансом чтения.

В перерывах между подглядываниями я сочинял и произносил политическую речь на воображаемом массовом митинге. В утопическом видении социального блаженства я, девяти лет с половиной, взрослый не по годам, вставал на кресло и повторял звучные фразы из парламентских сообщений. Про себя, конечно, потому что малейший звук выдал бы мое заикающееся виноватое присутствие соседям.

«Свобода, равенство и братство, — безмолвно разливался я, — это неотчуждаемые права человека, которым мы отдаем дань только на словах. Но эти права, подобно чайному листу, нуждаются в том, чтобы их погрузили в aqua vitae[20]. Недостаточно того, чтобы правительство обеспечило охрану здоровья, полную занятость и достойные пенсионные права. Оно должно дать людям возможность получить от жизни максимум. Мое

[20] Примечания: 20
Воду жизни (*лат.*).

правительство поможет народу осуществить его право на счастье. Миллионы людей всех возрастов получили свободного времени больше, чем когда-либо в прошлом, но растрачивают его бездумно в пьянстве и безделье, не ведая о возможностях, позволяющих сделать нашу жизнь богаче — расширить свой умственный горизонт, обрести новые интересы, познакомиться с людьми того же склада».

Я как раз собирался перейти к своей любимой части: моя партия берет обязательство организовать общенациональную систему досуга, чтобы каждый гражданин мог найти занятие и компаньонов себе по вкусу и никогда не томился от одиночества, — и тут заметил в просвете между нашим домом и домом Айзексов шагавшего по пустынной знойной улице мужчину с мальчиком. Я взглянул в последний раз на расстегнутую миссис Харди, соскочил с кресла и, переключившись на новую фантазию, побежал вдоль прохладной кирпичной стены дома. «Беженцы», — пробормотал я тоном всеведущего киношного детектива. На мужчине была помятая фетровая шляпа и зимнее пальто, на мальчике — шерстистый пиджак и короткие штаны, смешно болтавшиеся под коленями. Они словно сошли с экрана

французской кинохроники. Мальчик держал под мышкой футляр скрипки. «Ложись, — прошипел я. — У парня пушка».

Мальчик с виду был мой однолеток, но вдвое мельче меня, с прилизанными черными волосами и тонкими, как палочки, ногами. Мужчина хоть и обливался потом, шел целеустремленно. Он окинул взглядом нагретые фасады нашей Бленхейм-Террас и направился — надо же! — прямо к нашему дому. Динь-динь, — прозвенел дверной звонок. Из кухни прибежала Флорри. Мужчина спросил мистера Симмондса. Флорри, под впечатлением от решительности в его голосе, провела гостя в гостиную и попросила подождать. «Хорошо, если он по серьезному делу, — подумал я. — Отец не будет доволен, если его разбудят из-за пустяка».

Я подглядывал из-за занавесок, регистрировал детали их внешности, на случай, если придется опознавать их в полиции и в суде как подозреваемых в шпионаже. Мужчина с тяжелой челюстью вытер лысеющий лоб багровым носовым платком. Он говорил с мальчиком на странном языке, похожим на немецкий, но не совсем. Мальчик слушал внимательно, но без приниженности. Когда вошел отец, он встал и вышел из комнаты,

как бы не желая быть участником во взрослых делах. Отец с заспанными глазами послал Флорри за холодным питьем. Я присел под подоконником и навострил уши.

— Говорила тебе, не любопытничай, господин Мартин, — с картавым гемпширским «р» проворчала Флорри и мыльной рукой дернула меня за звукоуловитель. — Сделай хоть раз что-нибудь полезное, займи паренька, пока отец беседует с иностранным джентльменом. — Она подтолкнула мальчика ко мне. — Отведи наверх, поиграйте, а я… — она подмигнула, — принесу вам остатки мороженого от обеда.

Я любил Флорри. Она иногда ерошила мне волосы, укладывая спать. Больше никто этого не делал.

— Как тебя зовут? — спросил я мальчика, когда мы поднимались ко мне в комнату.

— Довид-Эли Рапопорт.

Я не расслышал:

— Довидели? Что это за имя?

— Довид, у вас в Англии — Дэвид. И Эли, — с ухмылкой объяснил он. В семье меня зовут Довидл, для краткости. И ты зови меня Довидлом.

Смущенный его неанглийской фамильярностью, я чопорно ответил:

— Меня зовут Мартин Л. Симмондс. Л — это Льюис.

— Мотинл? — Он засмеялся. — Буду звать тебя Мотл.

Покончив с официальной частью, он спросил, сколько мне лет. Я был начитанный мальчик, но почему-то он казался мне старше и умудренней меня; на самом деле он был на три месяца моложе — девяти лет с четвертью, если точно.

— Ты музыкант? — был его следующий вопрос.

— На рояле немного играю, — признался я.

— А я скрипач — вундеркинд. Я приехал заниматься у профессора Флеша. Ты знаешь Флеша?

Я о нем слышал и понял, в чем дело. Мальчик — вундеркинд, жертва системы, осуждаемой отцом как детское рабство. Симмондс никогда не представит публике солиста, которому еще не продают спиртного, клялся он. Помни это, Мартин, когда фирма перейдет к тебе. Да, отец, сказал я, хотя не очень представлял себе, с какого возраста тебе продают спиртное.

— Профессор Флеш говорит, что я талант, — продолжал мальчик.

Интересно. Папа будет в восторге от того, что его разбудил будущий малолетний раб и его напористый родитель. Отец, когда рассержен,

бывал крайне неприветлив: парочку могли живо проводить к двери, черт возьми, раньше, чем Флорри принесет мороженое.

— В шахматы играешь? — спросил мальчик, проводя длинными пальцами по фигурам из слоновой кости. — Давай, я тебя обыграю.

Что он и сделал в двух партиях, меньше чем за двадцать ходов в каждой. Разгром мне подсластила Флорри клубничным мороженым и то, что он не радовался моему поражению.

— Ты крепкий игрок, — подытожил он. — Тебе нужна хорошая тактика. — Я — талант, я играю блестяще. Ты не такой талантливый, тебе нужно терпение, ждать ошибок, ходить туда, куда противник не смотрит.

Я был ошеломлен его анализом. Этот вундеркинд за две безжалостные партии оценил мой уровень, очертил мои возможности и посоветовал, как их использовать наилучшим образом.

— Обыграю тебя в шашки, — предложил я.

— Конечно, чего там, — согласился Довидл. — Шашки — маленькая игра, мало вариантов. Играешь белыми по правильной системе — выигрываешь. А шахматы — большие, полной системы нет. Ты выиграл, ты — как Бог: ты сделал порядок из хаоса. Это как музыка. Играешь хоро-

шо, ноты образуют строй, имеют смысл. Хорошее мороженое.

Пока он ел, глаза его, как прожектор, обегали комнату. Он еще не сказал ни одного лишнего слова, ни одного сложного предложения. Словарь его, видимо, состоял из сотни нужных существительных и глаголов, но каждым словом он пользовался как обнаженной саблей, без ножен светской обходительности.

Он провел пальцами по моей книжной полке и вынул недавнюю брошюру Клуба левой книги, посвященную Данцигскому коридору.

— Какие новости? — спросил он.

— Будет война, — предсказал я. — Правительство готовит закон о чрезвычайных полномочиях, и, если герр Гитлер вторгнется в Польшу, мы объявим войну. Мистер Чемберлен и министр иностранных дел лорд Галифакс колеблются, но остальные члены кабинета заставят их выполнить наши международные обязательства.

— У тебя хорошая информация, — сказал он.

— Я много читаю, — ответил я мерзким тоном превосходства.

— У нас получится хорошая команда, — решил он. — У меня талант интерпретации, но нет информации. У тебя хорошая информация, но нет

анализа.

Тут за дверью моей комнаты кашлянул Мортимер Симмондс и попросил уделить ему несколько минут для разговора с глазу на глаз. Довидл живо вышел из комнаты. Взволнованный нашей беседой, самой долгой, какая мне выпадала, и обошедшейся почти без заиканий, я, тем не менее, был возмущен вторжением — даром что это был редкий случай, когда я удостоился безраздельного родительского внимания.

— Надеюсь, я не очень помешал, — сказал отец.

Я помотал головой.

— Мартин, я хочу обсудить с тобой доверительно один вопрос, которого еще не ставил перед матерью, поскольку она спит. Он требует твоего согласия, так же, как моего и ее.

Я серьезно кивнул, показывая, что жду продолжения. Отец, как и я, был не самым говорливым собеседником.

— Два посетителя внизу — с одним ты уже познакомился, — это мистер Рапопорт и его сын Дэвид, из Варшавы. Мистер Рапопорт торгует бижутерией. Его сын Дэвид — одаренный молодой скрипач и будет заниматься со знаменитым профессором Флешем, о котором, возможно,

помнишь, я говорил. Профессор Флеш, сам знаменитый музыкант, прославился как учитель. Почти все, кого он берет в ученики, выходят от него готовыми солистами. Попасть к нему учеником — практически гарантия музыкального успеха. Он живет недалеко отсюда, на Канфилд-Гардене, но сейчас отдыхает на бельгийском курорте у моря. Мальчик, с которым ты сейчас играл, — его последнее открытие. Но возникло серьезное осложнение, и профессор направил его отца ко мне для содействия. Пока мистер Рапопорт подыскивал жилье себе и мальчику, ему сообщили из Варшавы, что его жена больна. Ему надо вернуться и позаботиться о ней и, надо думать, об остальных детях. Он купил билет на завтра и намерен взять Дэвида с собой: мальчика еще нельзя оставлять одного. Я говорил с профессором Флешем по телефону, и он считает, что на этой стадии перерыв в занятиях может плохо отразиться на его развитии как музыканта. Он спросил, не могу ли я взять на себя заботы о мальчике, которого считает очень перспективным, — возможно, на несколько месяцев, чтобы мистер Рапопорт успел собрать семью и имущество, получить необходимые разрешения, как только жена достаточно окрепнет для переезда, и

вернуться в Лондон. Понятно, что ребенка девяти лет нельзя оставить в гостинице или пансионе, а в этом большом городе им не к кому обратиться. Я выслушал профессора Флеша и не могу сказать, что разговор оставил меня равнодушным. Я хочу поселить ребенка у нас и думаю, что твоя мать, принимающая, как известно, горячее участие в судьбах беженцев, не станет возражать. Но, поскольку твоя мать и я очень заняты, бремя гостеприимства ляжет главным образом на тебя, Мартин. Поэтому я не могу предложить ему приют без твоего согласия. Должен сказать, что это будет проявлением большой доброты и милосердия. Кроме того, это может стать важной услугой искусству, поскольку у мальчика несомненно исключительные задатки. Но, приводя эти соображения, я ни в коем случае не хочу повлиять на твое решение, потому что больше всего будет нарушен твой распорядок.

Интересный получался денек. Сперва самый долгий разговор с моим сверстником, затем самое серьезное внимание родителя с тех пор, как меня увезли в больницу с подозрением на аппендицит, оказавшийся тяжелым несварением оттого, что переел «киткатов». В машине скорой помощи меня вырвало на новый мамин костюм

из «Либерти»[21], что не увеличило ее сочувствия. Пока нянечки меня отмывали, она уехала домой на такси, а потом прислала Флорри забрать меня, как стирку из прачечной. Где был отец во время этой детской драмы? Несколько минут поговорил по телефону со старшей сестрой и отбыл в контору.

Интерес его к новому мальчику был очевидно коммерческий. Если Флеш сможет его подготовить, у Симмондса будет звезда в руках, первый скрипач мирового класса. С другой стороны, это был филантропический поступок, рождавший моральное удовлетворение. Я был призван исполнить свою роль наследника предприятия — ив интересах моего духовного развития.

Чем я нужен мальчику, тоже было ясно. Его слова насчет «хорошей команды» означали, что я, союзник, помогу ему обосноваться в этом пристанище. Меня, дворцового стража, надо ублажить, чтобы его впустили. Пусть я и не талант, но этот замысел был виден мне как на ладони. Тем не менее, понимая все мотивы участников, я вдруг очутился в позиции, откуда мог влиять на события, — и эта власть меня грела.

---

[21] Примечания: 21
«Либерти» — дорогой универмаг в Лондоне.

Прежде чем ответить отцу, я мысленно досчитал до десяти.

— Если мальчик у нас останется, где он будет спать? В школу будет со мной ходить? Ему понадобятся частные учителя по английскому и истории? Где он будет упражняться?

— Я об этом еще не задумывался.

— Наверное, я уступлю ему детскую — если вы с мамой не вернетесь в одну спальню.

Это было непростительное, непристойное вмешательство в супружескую жизнь. Родители перестали спать в одной комнате год назад; все формальности брака соблюдались, но без близости. Если и вспыхнула когда-то между ними искра, то ей позволили погаснуть, и я был траурный свидетель в доме, лишенном тепла. Почуяв шанс свести их снова, я самонадеянно влез на запретную территорию и был отброшен грозным взглядом.

— Очень хорошо, — сказал отец. — Ты отдашь ему свой кабинет под спальню, а упражняться Дэвид будет в гостиной. Что касается школы, посмотрим, что покажут ближайшие несколько недель…

— Когда тебе нужен мой ответ?

— Через десять-пятнадцать минут. Зайти к

тебе?

— Не нужно. Пусть остается. Освобожу детскую после чая.

Другой отец, может быть, обнял бы меня или по голове потрепал. Но не Мортимер Симмондс. Он встал, по-мужски пожал мне руку, поблагодарил и отправился вниз, чтобы сообщить хорошую новость мистеру Рапопорту, который сразу ушел. И все. Мама, спустившись к чаю, застала в своей лучшей комнате юного беженца, играющего на скрипке каприсы Паганини, и необычайно довольного сына, переворачивающего страницы.

Скуки больше не было в тот знойный месяц перед войной. На другой день я поехал с Довидлом на двухэтажном автобусе № 13 по центру Лондона, знакомить его с городом, над которым скоро разразится блиц и погрузит его в страх и темень. Вылезли, чтобы заглянуть в полупустые музеи и дешевые залы кинохроники. Смотрели, как срывают розарии в королевских парках, как ставят армейские палатки в Хампстед-Хите, как развешивают стираное белье в трущобных дворах Камден-тауна и у вокзала Кингс-Кросс. Мы видели полисменов в шлемах, на велосипедах, с плакатами на груди и уполномоченных по гражданской обороне, свистевших в свистки: убогая

имитация готовности к налетам.

— Убирайтесь с улицы, огольцы. Не слышите — воздушная тревога?

— Что, свисток — это тревога? Я думал, это футбольный судья.

В четверг мы поехали к парламенту и послушали, как палата общин быстро обсудила и приняла закон о чрезвычайных полномочиях, дающий правительству право вести войну и самому принимать для этого нужные законы. Премьер-министр мистер Чемберлен поднялся с зеленой скамьи, как унылый морж, и заговорил вяло — человек, потерпевший крах.

— Кто этот в большом парике? — шепнул Довидл.

— Это спикер.

— Почему он не говорит? Может, он лучше премьер-министра.

На другое утро мы выскочили из автобуса на Трафальгарской площади и увидели, что Национальная галерея закрыта и люди в коричневом выносят ее сокровища, которые потом будут спрятаны в карьере. Смена караула происходила как обычно, но на Уайт-холле ставили герметические двери от газов. Мы ели сэндвичи над Темзой, свесив ноги с парапета, и махали проходящим

буксирам. Домой вернулись почти в сумерках; на нашей улице фонарщики уже зажигали граненые фонари.

Отец взял нас на променадный концерт в Куинс-Холле, недалеко от дома, за Риджент-парком, приятная прогулка. Был бетховенский вечер, дирижировал сэр Генри Вуд. После спокойной «Пасторальной» симфонии сэр Генри обратил к публике свою большую бороду и сказал, что Би-би-си эвакуирует свой оркестр, «и поэтому я с большим огорчением должен сообщить, что с сегодняшнего вечера променадные концерты прекращаются вплоть до особого объявления». Понурые, мы рассеялись в летней ночи, фонари горели еле-еле. В то утро Гитлер вторгся в Польшу, Варшаву бомбили.

— Это недолго продлится, — безучастно сказал Довидл.

В воскресенье утром, в одиннадцать пятнадцать, мы собрались вокруг приемника, чтобы послушать тонкий ноющий голос Невилла Чемберлена. «Я говорю из зала Кабинета на Даунинг-стрит, десять. Сегодня утром, — мрачно сказал премьер, — посол Британии в Берлине вручил правительству Германии последнюю ноту, в которой говорится, что, если нам до одиннадцати

часов не сообщат, что они готовы немедленно вывести войска из Польши, между нами устанавливается состояние войны. Я должен сказать вам сейчас, — он сделал паузу и вздохнул, — что такого сообщения мы не получили, и эта страна находится в состоянии войны с Германией».

В одиннадцать двадцать семь завыли сирены: ложная тревога, но все равно страшно. Мы с Довидлом поехали на велосипедах к Юстонскому вокзалу, с противогазами — смотреть, как вывозят из города тысячи детей; сами мы останемся дома, сказал отец, будь что будет. Вечером еще раз завыли сирены — опять ложная тревога, но мы в пижамах и пальто отправились в наше сырое убежище в саду. Уличные фонари больше не будут зажигаться шесть лет. Машины ехали без фар. Все увеселительные заведения закрылись, и на радио остался только один канал. Лондон притих в ожидании несказанных ужасов.

За столом родители возобновили вежливые беседы. Они говорили о «странной войне», «такой же, как прошлая поначалу». Говорили бодро — может быть, ради нас — о своих делах. Мать организовала неофициальную биржу труда и пристраивала дантистов из Праги и венских архитекторов на вакантные места автобусных

кондукторов и обувщиков. Все планы отца были расстроены временным закрытием театров, и он отправлял музыкантов играть в провинциальных залах и на удаленных армейских базах. Он устроил филиал в Бристоле, куда Би-би-си перевела свой оркестр, и собрал передвижную камерную оперу в Блэкберне, в Ланкашире. Сеть его охватывала всю страну, изобретательность не знала границ.

В конце сентября он пришел домой в форме капитана.

— Мне поручено организовать концерты для поддержания морального духа бездействующих войск Его Величества, — с гордостью объявил он. — Я буду давать им предельно серьезную музыку — возможность расширить их культуру.

Не без опаски организованный им на военно-морской базе в Плимуте цикл бетховенских квартетов в обеденное время оказался настолько популярным, что ему пришлось установить репродукторы, чтобы слышно было толпам штатских, собиравшимся за оградой. Встревоженная, испуганная публика требовала высокого искусства — Баха, Бетховена, Брамса, Бруха[22], пусть

[22] Примечания: 22

Макс Христиан Фридрих Брух (1838–1920) — немецкий дирижер и композитор.

они и немцы. В середине октября, когда в Лондоне возобновилась ночная жизнь, в распоряжении у Симмондса было достаточно свободных музыкантов и ансамблей, чтобы устраивать концерты в любом уголке Большого Лондона, и они всегда проходили с аншлагом.

Атмосфера сосредоточенности действовала на всех. В опустошенной Национальной галерее зрелая еврейская пианистка Майра Хесс давала дневные концерты из произведений Бетховена перед стоящими слушателями; очереди к ней вытягивались вокруг всей Трафальгарской площади. Сэр Генри Вуд обрушил свой гнев на Би-би-си и выбил разрешение возобновить свои променадные концерты, превратив их в праздник непокорности.

— Когда война кончится, — как-то вечером высказался отец, — правительство признает вклад искусства в общую победу. Попомните мои слова: им придется вкладывать общественные деньги в исполнительское искусство, как это принято во всей цивилизованной Европе, — а не рассчитывать на щедрость финансовой аристократии.

Мать скептически хмыкнула, отмечая в списке приглашения титулованным дамам на очередное благотворительное мероприятие. Она верила

до последнего вздоха, что noblesse непременно oblige[23].

Нами двоими никто особо не занимался. Школы не работали. Мы свободно бродили или разъезжали по городу на велосипедах, автобусах и громоздких бронтозаврах-троллейбусах, бесконечно забавлявших Довидла величавостью своего хода и искрами наверху.

— Какая максимальная скорость? — спросил он кондуктора.

— О, он может делать тридцать два километра в час по свободной дороге.

— Почти как велосипед, — съязвил Довидл, едва избежав подзатыльника.

Мы вылезали у ресторанов «Лайонс», где официантки в белых шапочках и передниках подавали нам булочки и чай. Любимым у нас был тот, что у Мраморной арки, — там официантка из Кракова добавляла нам джема, а молока давала сколько хотелось. Мы прокатились на последнем прогулочном катере по Темзе и понюхали оранжерейные растения в опустелом Ботаническом саду. И даже посмотрели заключительную игру на стадионе «Лордс», где Довидл разобрался

---

[23] Примечания: 23
Noblesse oblige — благородство обязывает (*фр.*).

в правилах крикета так быстро, что за обедом разработал тактику против сильного бэтсмена — средней силы подачей со швом за правый столбик, туда, где больше игроков.

— Если он соскучится и выбьет плохо, его поймают, — теоретизировал Довидл. — Если подождет, его команда потеряет преимущество. А в это время — как его, боулер? — попортит землю на площадке, чтобы мяч закрутился.

— Но это нечестно, — возмутился я. — Это неспортивно.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— Я понимаю, почему игра идет три дня, — сказал он. — Никто не старается выиграть.

Его английский улучшался с каждым часом — появились неопределенные артикли и слабел угловатый акцент. В ноябре он мог уже смотреть «Юлия Цезаря» в театре «Эмбасси» в Суисс-Коттедже с Эриком Портманом в роли Марка Антония («Курение разрешено — в наличии „Абдулла“»). Мы купили места за шиллинг на утренник в среду, и пожилая капельдинерша сказала нам, что ближайшее бомбоубежище находится в пяти минутах ходьбы на Финчли-роуд, напротив Центрального автомобильного института. «Как только будет дан сигнал воздушной трево-

ги, — предупреждала программка, — просьба к зрителям встать, но не двигаться, пока не зажжется свет». За беспрерывной болтовней, нашей с Довидлом, смертельные страхи отступали. Мы бродили: от Хайгейта до велодрома Херн-Хилл, от Бейкер-стрит до Боу, слушали пульс имперской столицы, ожидавшей рокового часа.

Для Довидла Лондон был нескончаемым откровением; бестолковая сеть красивых и уродливых улиц с каждого перекрестка открывала новый вид. В двух кварталах от нашей комфортабельной улицы с псевдошато, садовыми гномами и медной фурнитурой, на Карлтон-Хилл, в однокомнатных квартирах жили люди, бежавшие от Гитлера, и жарили шницели на электрических плитках. За одну улицу от нас к западу проходила Гамильтон-Террас, где не в сезон обитали поместные дворяне со своими дочерьми на выданье. А еще в двух минутах к западу Килберн и Мейда-Вейл населяли рабочие-ирландцы и разнообразные бездельники. Все покупали в одних и тех же магазинах, ходили по одним тротуарам, ездили на том же пятьдесят девятом автобусе. Социальные межи видны были только агентам по недвижимости.

Для Довидла это смешение тоже было неожи-

данностью. В Варшаве, говорил он, у бедных и богатых свои районы. Город плоский, как блюдце, пока не спускается к Висле. Бедные евреи жили в гетто около Железных ворот; средние классы расселились в пригородах за рекой; центр остался у родовитых поляков. Часть города, где рос Довидл, представляла собой клубок нищенских извилистых переулков, с широкими проездами по ее границам — для доступа пожарных и пресечения беспорядков. Построены были многоквартирные дома в российском стиле, с охраняемыми дворами, дворник служил одновременно полицейским осведомителем. Это был человеческий котел, где хлипкие стены не могли заглушить семейных скандалов и вонь человеческих отправлений мешалась с ароматами кипящего супа. Скудость была такая, что в одной комнате могло помещаться три поколения семьи, уборные были общие на дворе — зимой мучение. Стены шелушились, балконы провисали, но жизнь была яркая и шумная. Длиннобородые хасиды толклись среди маскилим[24] с непокрытыми головами. Набожные жены в париках добродушно переругивались с разбитными торговками. В бане извозчики сиде-

[24] Примечания: 24

Так назывались поборники светского просвещения, выступавшие против культурно-религиозной обособленности еврейства.

ли на одной скамье с декадентскими поэтами.

В большинстве многоквартирных домов вестибюли служили круглосуточными синагогами, местом свадеб, обрезаний и поминальных служб. Они не пустовали никогда, ни днем ни ночью. Вечно мерцал свет над ковчегом, и всегда там сидел кто-то — раввин, хасид, нищий, — раскачивался на скамье, читал Талмуд, молился за больных, оплакивал разрушение Иерусалима. Для верующих и для неверующих дом учения был сердцем многолюдной общины.

Если забрел куда-то, на тебя могли напасть и унизить: польская шпана любила стащить с еврея брюки и посмяться над обрезанным пенисом — но у себя в районе тебе ничего не грозило, и ты никогда не бывал одинок. Где-то в этой гавани маленький Довидл нашел брошенную за ненадобностью скрипку и пилил ее беспрерывно, так что соседка сверху, не в силах выносить эти визги, отвела его к учителю. В пятилетием возрасте он выступил в зале филармонии и был осыпан букетами и стипендиями.

А дома, во дворе он пинал мяч с остальными ребятами. Сестра Песя, двумя годами старше его, виртуозно владевшая цветными карандашами, возмущалась его превосходством и вдали от ро-

дительских ушей изводила едкими шуточками. Младшая сестра Малка радовалась его дару и просила сыграть ей перед сном колыбельную Брамса или Шуберта. Между завистью и обожанием он, средний ребенок, оказался в точке равновесия. А между тем его музыкальное чувство оттачивали дворовые крики горя и любви, боли и голода, скорбные и молитвенные голоса. За день в Варшаве он узнавал о жизни больше, чем я мог показать ему за месяц в Лондоне. В том мире он был редко видим и редко слышим, но любим и при этом свободен.

— Ты понимаешь, Дэвид, — как-то в октябре за воскресным обедом высказался отец, — что твоя семья может приехать к тебе не так скоро, как ожидалось?

Довидл прикусил губу, обдумывая точный ответ.

— Они приедут, когда смогут, — сказал он наконец. — До тех пор я буду ждать здесь.

Это было утверждение, а не вопрос. Отец согласно кивнул и опустил глаза к тарелке.

Я понял, хотя об этом открыто не говорили, что беременность у миссис Рапопорт протекает тяжело и она прикована к постели. Еще не знали, родила ли она, но мои родители не могли скрыть

беспокойства. Произвести на свет ребенка в Варшаве в конце 1939 года — хуже места и времени для этого трудно было вообразить.

— Надеюсь, Дэвид, ты пишешь домой дважды в неделю, как обещал, — с каменной бестактностью сказала мать.

— Я всегда держу обещание, — неискренне заверил Довидл.

Я знал, что он перестал писать, и знал когда. Поначалу он подбегал к двери четыре раза в сутки, к каждой доставке почты. Неделю письма из Варшавы приходили ежедневно, со штампом цензуры на балтийских марках. После вторжения немцев — две недели молчания. Потом пришла толстая обманчивая пачка — каждый конверт вскрыт в пункте отправления и снова заклеен. После этого — ничего. Когда радио сообщило о капитуляции Польши, бледные щеки Довидла сделались серыми и он перестал слушать вечерние известия.

Я слышал, как Флорри сказала матери, что постель его по утрам очень часто мокрая — подушка и посередине. Он носил одну и ту же пару носков ручной вязки, пока они совсем не разлезлись. Каждую пятницу вечером он повязывал один и тот же самодельный галстук. Я ни ра-

зу не спросил, кто его сделал. Тревогу свою он сердито прятал, защищаясь от сочувствия. Я не спрашивал его, что он думает и чего боится, но по отрывочным резким обмолвкам почувствовал, что он страшно тоскует по своей беспомощной матери, по своему оккупированному городу, по иллюзорной безопасности своего двора.

Мой отец не раз успокаивал его, говоря, что Варшава будет защищена международной конвенцией, что немцы будут вести себя так же, как в Первую мировую войну, — жестко, но корректно. Как ни отвратительны были нацисты, в немецкой порядочности мы не сомневались. Если бы кто-нибудь мог представить себе ужасы, творившиеся там с первого дня войны — облавы, массовые убийства на барочных площадях городов, сожжение синагог с людьми в Судный день 24 сентября 1939 года, — наши с Довидлом дни окутались бы трауром, и я не разделил бы с ним бродяжих открытий той затянувшейся лондонской осени.

Я поставил себе задачей защитить его от тревоги и лихорадочно придумывал экскурсии, чтобы отвлечь от бесполезных мыслей. Пыхтя, мы въехали на велосипедах наверх по Хайгейт-Хилл только для того, чтобы нас не пустили на боль-

шое викторианское кладбище с могилой Карла Маркса — под тем нелепым предлогом, что мы еще малы.

— Ты читал Маркса? — спросил Довидл.

— Маленький отрывок, он очень сухой.

— Как поцелуй раввина, — сострил он, и я только рот раскрыл, изумившись такой непочтительности.

Мы вскочили на велосипеды и покатили вниз, едва не налетев на повозку с молоком, и, пока возчик в полосатом фартуке слезал и успокаивал лошадей, Довидл хладнокровно стянул две бутылки.

Развалясь на скамье, мы наслаждались добычей. Я закинул руку за спинку и сказал ему:

— Знаешь, все обойдется.

— В Англии — может быть, — сказал он. — Если вы победите в войне. В Польше — нет. Люди могут уцелеть, а могут — нет.

— Ты в Англии, — строго сказал я. — Тебя привез сюда отец. Чтобы ты занимался делом. Они будут знать, что ты в безопасности и учишься, это поможет им пережить войну. А беспокойством своим ты им не поможешь.

Мерное цоканье копыт приближавшейся упряжки молочника побудило нас ретироваться.

В тумане, угрожавшем превратиться в душный смог, мы помчались к дому по Арчуэй, уворачиваясь от редких машин.

— У нас получится хорошая команда, — сказал Довидл, когда мы повернули на Бленхейм-Террас. — Я буду работать, а ты, Мотл, ты будешь отвлекать меня от тяжелых мыслей. Вдвоем нам будет легче.

— И получится тогда, что мы лучшие друзья? — спросил я, стремясь подобрать этому четкое определение.

— Не друзья, — сказал он. — Что-то большее.

Его уроки у Карла Флеша оборвались, едва начавшись. Старый профессор вернулся с бельгийского курорта, чтобы возобновить занятия в своей студии в Хампстеде. На первый урок мы пошли вместе, и пока Флеш проверял его, я в прихожей читал старые выпуски «Бриджа». Потом вошел бледный и тощий молодой человек — следующий ученик.

— Йозеф Хассид, — сказал он и подал костлявую руку.

— Мотл Симмондс, — ответил я, назвавшись более дружелюбным именем.

— Ты видел, кто это был? — спросил Довидл, когда мы уходили. — Это Йозеф Хассид из Варшавы,

потрясающий талант. Он живет здесь с отцом. Ты видел? Он со мной поздоровался.

— Мы поболтали тут в приемной, — соврал я.

— Йозеф обо мне слышал? — спросил Довидл. Он на глазах превращался в настоящего маленького артиста.

— Не помню, чтобы он упомянул твое имя, — обидно ответил я.

Через неделю мы пришли и не застали Флеша — он поехал в Голландию с концертами, сказали нам. И, как говорится, был таков. Голландия была нейтральной страной, и Флеш убедил себя, что там безопаснее, чем в Англии, что немцы обойдут ее, как в прошлую войну. Он разослал ученикам письма с сожалениями, что отбыл на неопределенный срок, и просит их усердно заниматься. Обещал писать.

В мае 1940 года немцы вошли в Нидерланды, и Флеш оказался в западне. Его дважды арестовывали, он боялся, что его отправят в концлагерь, но сумел получить визу в родную Венгрию, а оттуда, при содействии дирижера Эрнеста Ансерме, перебрался в Швейцарию, где и умер в 1944 году. Он оставил после себя несхожих и разлетевшихся по свету учеников — Жинетт Невё во Франции, Альму Муди в Австралии, Хенрика Шеринга в

Мексике. Трое остались без учителя в Лондоне: Ида Гендель, Йозеф Хассид и Довидл, младше их на три года.

В отличие от Гендель и Хассида, уже ярко дебютировавших и близких к тому, чтобы стать опытными исполнителями, Довидлу до концертной готовности оставалось еще несколько лет. Он нуждался в шлифовке, ему недоставало уравновешенности и savoir-faire[25], качеств, необходимых для выхода на сцену. Его артистическая индивидуальность была в зачатке, требовались еще годы материнской заботы со стороны такого воспитателя звезд, как Флеш.

— Придется подыскать тебе другого учителя, — со вздохом сказал отец.

— Ни в коем случае, — ответил Довидл.

— Прости? — стеклянным голосом произнесла мать.

— Я ученик профессора Флеша. Нельзя смешивать методы. Менять учителей рискованно, даже если они английские светила. Я буду ждать, когда вернется профессор Флеш. А пока что буду работать над материалом, который он мне оставил, и быстро развиваться.

---

[25] Примечания: 25
Мастерства (*фр.*).

— Думаю, нам об этом лучше судить, — ледяным тоном сказала мать.

— Я понимаю твою озабоченность, Дэвид, — сказал отец. — Я видел много хороших скрипачей, загубленных излишним количеством преподавателей. Но какое-то руководство в этом деле нам требуется — и тебе, и мне. Предлагаю проконсультироваться у мистера Альберта Саммонса, несомненно лучшего скрипача, рожденного Англией, и послушать, что он скажет.

— Я пойду с вами? — спросил Довидл.

— Конечно.

— А можно я тоже? — пискнул я.

— Это может быть кстати, — согласился отец.

Через несколько дней мы поехали на пятьдесят девятом до Оксфорд-стрит, оттуда — на семьдесят третьем до Роял-Альберт-Холла. Миновав хмурый памятник немецкому мужу королевы Виктории, спустились по крутой лестнице и вошли в Королевский музыкальный колледж, тоже мраморный и мрачноватый.

— Это консерватория или собор? — спросил Довидл.

Я строго шикнул на него. Над нами громоздилось лучшее музыкальное училище Англии.

Альберт Саммонс оказался добродушным че-

ловеком, с длинным подбородком; он хорошо понимал потребности мальчиков и дал нам по шесть пенсов, чтобы мы пошли и купили конфет за углом, пока он обсуждает с моим отцом музыкальные дела. Когда мы вернулись с горстями жевательных мармеладок, он отвел нас в свой туалет вымыть руки и только потом попросил Довидла что-нибудь сыграть. На виньетку Венявского маэстро отреагировал довольным гудением. Отрывок из Изаи заставил его вскочить на ноги.

— Ну-ка, мальчик, — воскликнул Саммонс, — давай попробуем Крейцерову сонату, я сяду за рояль, не помню, сколько лет уже не играл.

Попытка сыграть Бетховена закончилась взрывом хохота. Довидл на одиннадцать тактов обогнал щурившегося, неуверенного аккомпаниатора и мчался к завершению.

— Ей-богу, — пропыхтел Саммонс, — мальчик напомнил мне себя в таком же возрасте. Ни одного урока в жизни не взял, знаете? Отец мой был сапожником. В одиннадцать лет посадил меня играть в гостиничном оркестре, я там десять лет сидел, и вот как-то вечером в «Уолдорф» зашел поужинать сэр Томас Бичем. Услышал мои несколько тактов в финале мендельсонов-

ского концерта — и все. И пошло. Всегда играй в полную силу — никогда не знаешь, кто придет послушать, — это единственный полезный совет, какой я могу дать.

Довидл почтительно кивнул. Он знал, какая Саммонс величина, несмотря на бриолиненные волосы и плебейский выговор. Отец заводил нам пластинки с концертом Эдварда Элгара в его исполнении. Концерт был написал для Крейслера, но первым его записал Саммонс, привнеся в музыку английский домотканый колорит и широкую бравурность.

— Флеш — чертовски хороший учитель, — размышлял Саммонс, — и я не советовал бы другим переделывать на свой лад его одаренных учеников. Мальчик — скрипач от природы, таким же я был. Нужно ему то, что немцы — чтоб им пусто было — называют Bildung[26] — здоровенный заряд музыкальных и культурных знаний, на основе которых он сможет развивать свой исполнительский стиль. Не знаю, кто ему может в этом помочь. Ему нужен кто-то вроде ментора — не технический контролер, а, скорее, моральный наставник, кто-то, кто раскроет его внутренний

---

[26] Примечания: 26
Формирование (*нем.*).

голос. Поглядите на мальчика — он понимает, о чем я, правда? По нутру мы братья, правда, мальчик? Приведите его через год, Симмондс. Нет, приведите раньше, и я пройду с ним концерт Элгара, который я стянул из-под Крейслера, пока он поглядывал на дам. Хочу, чтобы он сыграл мне что-нибудь такое большое.

И потрепав нас по головам и выдав еще по шестипенсовику, он великодушно проводил нас по гулким мраморным коридорам до холодной улицы.

Мы сели на втором этаже семьдесят третьего автобуса и поехали домой; Довидл любовался Гайд-парком, а отец о чем-то думал. Это был поворотный момент в жизни Довидла, и я должен был стать проводником.

— Можно мне сделать одно предложение? — спросил я.

— Насчет Дэвида? — сказал отец.

— Помнишь старика, который был у нас на новогоднем ужине? — начал я. — Который был сорок лет концертмейстером в Лейпцигском оркестре, а потом нацисты его побили и выгнали?

— Доктора Штейнера?

— Да, его. У него громадный музыкальный опыт, правильно? И он очень начитанный. Он

говорил со мной о Гёте, Гейне, о Карле Марксе и Томасе Манне, и об этом, который написал «Бэмби». Феликс Зальтен. Может, он будет ему моральным наставником?

— Неплохая мысль, — сказал отец. — Доктор Штейнер знает оркестровую и камерную музыку вдоль и поперек — у него был знаменитый струнный квартет — и он образованный человек. Играл Моцарта с Альбертом Эйнштейном, горячим скрипачом-любителем, и защитил докторскую о чем-то эзотерическом. Если я правильно помню, — об исландских сагах. Будет порядочно с нашей стороны подкинуть ему работу, и уверен, что он сможет развить Дэвида, если отнесется к нему внимательно. Но он уже не молод. Нельзя рассчитывать, что он будет требовать дисциплины. С Bildung'ом он справится, но не с будничной кропотливой работой, необходимой, чтобы выстроить карьеру. Кто будет наблюдать за совершенствованием техники? Кто проследит, чтобы он упражнялся ежедневно и отрабатывал трудные места? Кто заставит его мучиться над Прокофьевым, когда пальцы болят и ноты плавают по странице? Кто скажет мне, если будут какие-то затруднения?

— Ну, может, я?

— Ты? — отец вежливо скрыл недоверие.

— Я его друг, — храбро сказал я. — Он мне доверяет, и я твой сын, наследник дела, как ты постоянно говоришь. Позволь помогать ему, наблюдать за ним и сообщать тебе, когда ему что-нибудь понадобится. А подгонять его — в этом он, по-моему, не нуждается.

— Очень взрослое обязательство, Мартин.

— А я и есть взрослый. — Я надул щеки и выпустил воздух, сильно снизив эффект своего заявления. — Я очень развит для своего возраста.

— Конечно, — засмеялся отец, наполовину с гордостью, наполовину покровительственно. Он похлопал себя по карманам в поисках сигарет, оттягивая время, чтобы обдумать мое предложение. — Но твои привязанности могут войти в противоречие, — предостерег он. — Например, мне о чем-нибудь надо знать, а твой друг не захочет, чтобы я это знал?

— Я знаю, какие перед кем у меня обязательства, — соврал я

На этом и порешили. Приехав домой, мы с Довидлом отправились в музыкальную комнату и составили учебный план. Флеш очертил его репертуар, так что мы знали, что должно быть выучено, от Баха до Альбана Берга. Порядок

был предоставлен на наше усмотрение, и раз в неделю, вечером по средам, мы получали поощрительный толчок от доктора Германа Штейнера, угощавшего нас горьким кофе и пирожными, губительными для зубов.

«Какие вы хорошие, что приходите проведать старика», — говорил он, а его старенькая жена, слегка помешанная из-за эмиграции и потери близких, суетилась с чашками и блюдцами. Примостившись у газового отопителя в мансарде на Карлтон-Хилл, Штейнер, в поношенном сером кардигане, завораживал нас рассказами о нордических героях, историями про Эйнштейна и его скрипку, объяснениями квантовой теории, дифирамбами «мраморам Элгина»[27], которые он ставил выше всей современной скульптуры; рассказами о Зальцбургском фестивале Макса Рейнхардта. О том, как он встретил Брамса на велосипеде; о том, что его отец был знаком с доктором, отец которого лечил Бетховена от подагры; о том, что Густав Малер ценил его как концертмейстера Лейпцигского оркестра. Для образованного британца доктор Штейнер был

[27] Примечания: 27

Граф Элгин, будучи послом в Турции, в 1803 г. вывез из Греции громадное количество фрагментов пластического искусства. Собрание выставлено в Британском музее.

пришельцем из космоса, человеком всеобъемлющего интеллекта, бесконечно широких интересов.

Меня не увлекали его саги (ни на секунду не поверил, например, истории про кошку Бетховена и Крейцерову сонату), но рассказы старика влияли на игру Довидла. Как именно, я, не музыкант, не могу объяснить, но тон у него стал глубже, и звучал он лучше не за счет лишь многократных повторений. Так же, как лучшие дирижеры накладывают отпечаток своей индивидуальности на оркестр, доктор Штейнер вкладывал что-то от своего культурного накопления в Довидла. Это проходило мимо меня: знания я впитывал, но на моем устройстве это не сказывалось. А Довидл рос артистически под этим воздействием — да и технически тоже благодаря отрывочным замечаниям старика касательно аппликатуры в особенно трудных пассажах. У них было артистическое взаимодействие — духовное сообщение артиста с артистом. Я впервые почувствовал себя исключенным из мира Довидла.

— Mein Kind[28], — сказал Штейнер, увидев огорчение на моем лице, — не грусти. Каждому

---

[28] Примечания: 28
Дитя мое (*нем.*).

артисту нужен персональный слушатель, два уха, которым он всегда может доверять. Ты будешь его слушателем, метром, которым он будет мерить свой прогресс.

Дома, вдвоем, в музыкальной комнате мы прорабатывали сонаты и партиты Баха, концерты и сонаты Моцарта, Бетховена, Бруха и Брамса, камерные произведения ранних модернистов. Пока он упражнялся в гаммах и арпеджо, я штудировал руководства Леопольда Ауэра, Иожефа Йоахима и самого Флеша. Это покажется противоестественным, но в дотелевизионные времена умные мальчики развлекались поглощением трудных книг. Политическая начитанность помогала мне осваивать великие скрипичные методики и кратко излагать их содержание. В девять и десять лет мы привносили в наши занятия одержимость, с какой другие дети строят замки из песка и собирают на полу железные дороги. Работая вдвоем, мы соревновались в рвении. Иногда мы ставили будильники на пять, чтобы ухватить два часа музыки до завтрака.

Целеустремленность Довидла была неистовой; я, как мог, помогал самоучке, готов был коряво аккомпанировать на рояле в любую минуту, когда понадоблюсь. На моих изумленных глазах

— вернее, ушах — он изобрел способ остановить мгновение в своем рубато; если память мне не изменяет — оттолкнувшись от одной практической подсказки Ауэра, учителя Хейфеца. Я, его персональный слушатель, наблюдал, как он овладевает скоростью, не жертвуя изяществом и остроумием. Я ни минуты не сомневался, что у него великое будущее.

В конце той суровой зимы доктор Штейнер объявил, что Довидл готов предстать перед публикой.

— Я получаю от Kinder столько радости, — сказал он отцу. (После отец рассказал нам по секрету, что дочь и внуки Штейнера не сумели вовремя уехать из Германии.) — Не только от Kind артиста, но и от der andere[29] тоже. — Он с улыбкой показал на меня.

Доктор Штейнер отказывался принимать у меня конверты с платой, поэтому я и позвал отца.

— Доктор Штейнер, я не могу допустить, чтобы вы учили их бесплатно, — сказал он.

— Nicht[30] за ничто, — сказал Штейнер. — Они мое будущее.

---

[29] Примечания: 29
Другого (*нем.*).

[30] Примечания: 30
Ничего (*нем.*).

Надо было придумать способ. Состояние миссис Штейнер быстро ухудшалось, и мать договорилась, чтобы супругов поместили за наш счет в дом для престарелых беженцев в Белсайз-Парке. Заведение спартанское, с голыми дощатыми полами, но комфортнее их чердака с протекающей крышей на Карлтон-Хилл; вдобавок за ними будет уход и у них будет общество.

Каждую среду, после наших занятий с доктором Штейнером, Довидл давал импровизированный десятиминутный концерт в общей гостиной под выкрики «Herrlich!» и «Wonderschön!»[31]

Повторный визит к Альберту Саммонсу подтвердил заключение Штейнера.

— Знаете, он готов, — сказал Саммонс. — Я хоть завтра бы дал ему концерт Элгара и поставил перед оркестром.

Но Мортимер Симмондс держался своего темпа.

— Еще нет, — сказал он наставникам. — Время терпит. Пусть еще окрепнет физически и эмоционально. В отсутствие отца я несу за него родительскую ответственность.

Единственное, что позволил отец, — концерт

---

[31] Примечания: 31
«Прелестно!» и «Чудесно!» (*нем.*)

для узкого круга с профессиональным аккомпаниатором (Айвор Ньютон — фортепьяно) в нашей музыкальной комнате на Бленхейм-Террас. Отец пригласил Саммонса и его звездного ученика Томаса Мэтьюза, недавно ставшего концертмейстером Лондонского филармонического оркестра; знаменитого альтиста Уильяма Примроуза; Штейнеров с несколькими композиторами-эмигрантами; любителя музыки Эдварда Мея, врача с Харли-стрит, и дирижера сэра Генри Вуда.

Мать трудилась над списком гостей целый месяц. Ей удалось заполучить двух Ротшильдов и жену главного раввина; остальными ее гостями были сефардские родственники и богатые дамы Сент-Джонс-Вуда. Сшила туалет для этого случая. Обслуживание было ресторанное. Арендовали еще один рояль, на случай, если наш «Стейнвей» в последнюю минуту испортит мебельный точильщик. Ничто не было оставлено на волю случая.

В первом отделении Довидл играл Крейцерову сонату, а затем — ноншалантно выбранные пьесы Вьетана, Вивальди и Брамса. На бис он исполнил «Юмореску» Дворжака и что-то из Чайковского. Никто не ушел с концерта равнодушным и ненакормленным. Сэр Генри проворчал что-то насчет будущего променадного концерта; доктор

Штейнер плакал крупными слезами радости. Мама Джонни Айзекса дулась в углу. Моя была в упоении. Я услышал, как миссис Айзекс пожаловалась жене главного раввина: «Она за вечер шлепт[32] столько нахес[33] от этого мальчика-беженца, сколько бедной матери не дождаться от своего шлемиля[34]».

Довидл тоже услышал ее жалобу и спросил отца, можно ли ему сказать несколько слов. Постучали ложкой по чашке, и он вернулся на импровизированную сцену, чтобы выразить благодарность моим родителям и своему пианисту-репетитору — мне. Он понимал, что я отодвинут и мне это тяжело. Но понимал также — или чувствовал, — как выросла моя самооценка благодаря его присутствию. Наша дружба высвободила меня из несчастного моего кокона.

Единственный диссонанс внесла моя тетя Мейбл, коренастая жительница Ист-Энда с жутким акцентом: она была замужем за братом матери, Кеннетом, дантистом. Нас с ней объединяла

---

[32] Примечания: 32
Здесь: вытянула (*идиш*).

[33] Примечания: 33
Удовольствия, удовлетворения (*идиш*).

[34] Примечания: 34
Недотепы (*идиш*).

неприязнь к высокомерию клана Медола, и мы, отщепенцы, обычно сидели рядом в нижнем конце стола.

— Мне не очень кажется твой дружок-скрипач, — сказала Мейбл.

— Как это, тетя? Он замечательный.

— Фальшивый, если хочешь знать мое мнение. Я попробовала говорить с ним на идише, на его родном языке, а он желал говорить только по-английски. Мой мальчик, никогда не доверяй человеку, который стыдится своего происхождения. Давай-ка еще пополам этого шоколадного мусса, пока мама нас не поймала.

Мать словно услышала наши мысли и застигла нас на месте преступления.

— Мейбл, прошу тебя, не пичкай мальчика сладостями. Мартин, пожалуйста, помни, что десерт рассчитан на всех гостей. У тебя пятно на галстуке?

— Она не всегда была такой брюзгой, — поведала тетя, когда мать удалилась в клубах недовольства. — Перед прошлой войной она была душой soirée[35], распевала глупые баллады и резвилась ночь напролет. Знала все новые

---

[35] Примечания: 35
Вечеринки (*фр.*).

танцы, обучала им молодых людей. А потом. А потом Эдвин погиб, и она думала, что так и останется старой девой, пока не подыскали ей твоего бедного папашу.

— А кто был Эдвин?

— Ее первый жених, из Монтегю. Он поехал исследовать Гиндукуш, вернулся и написал довольно смелую книгу о половом созревании и полигамии. А потом его убили в первом наступлении на Сомме. Вайолет два года носила черное, два года не выходила из дому — наверное, как это у них называется, в «нервном расстройстве». Когда ребята вернулись с войны — кто вернулся, — ей было под тридцать, и уже не девушка с картинки. Я всегда считала, что твой папа немножко герой, что взял ее, но он никогда не жалуется, правда? Хороший человек Морти Симмондс, я всегда говорю. Я знала его семью в Майл-Энде. Лишних двух фасолин не было для субботнего чолнт[36].

— Мартин, пообщайся с людьми, — скрипуче сказала мать, вернувшись к нашему гнездилищу. Представь, как принято, Дэвида нашим родственникам.

---

[36] Примечания: 36
Чолнт, традиционное субботнее еврейское блюдо.

Довидл перехватил мой взгляд и выразительно вздохнул. Он застрял с доктором Штейнером в кружке других эмигрантов, силившихся разговаривать между собой на патриотическом английском, отчего беседа приобретала характер совершенно темный.

— Простите, доктор Штейнер, — вежливо вмешался я. — Можно мне забрать Дэвида на несколько минут?

— Уф, — сказал Довидл, когда мы вдохнули свежего воздуха из сада. — Пока ты есть и выручаешь меня, я мог бы зарабатывать этим на жизнь.

Довидл всегда доказывал, что зависит от меня больше, чем я от него. Он по-своему был так же одинок, как я, — отрезан от других людей своим талантом. Со мной он мог быть обыкновенным мальчиком — настолько обыкновенным, насколько это допускали его гениальность и моя заурядность. Чтобы сбалансировать это неравенство, понадобилось несколько месяцев.

В отношениях, основанных на обоюдной зависимости, не может быть секретов. Довидл знал, что я знаю, что он писается в постели, ковыряет в носу и сует облизанный палец в банку с сахарной пудрой на второй полке в кладовой у Марты. Я знал, что он знает о моем загашнике «киткатов»

под кроватью, что я не могу уснуть, не обмотав пальцы ног краешком одеяла, что с приходом морозов, загнавших миссис Харди в дом, мое желание увидеть женскую плоть только обострилось и я стал позорно подглядывать в замочную скважину служанкиной двери.

— Это опасно, — сказал он, застав меня за этим как-то вечером, когда Флорри собиралась к своему еженедельному вечернему выходу в город.

— А ты бы что сделал? — спросил я.

— Есть у тебя маленькое зеркало?

Я принес пудреницу из маминой сумки.

— Пошли в мою комнату, — приказал он.

Мы зачем-то прошли на цыпочках по верхнему коридору, хотя шаги все равно заглушило бы кряхтение в трубах и шум воды, наполняющей ванну, — Флорри еженедельно принимала ванну перед свиданием со своим постоянным кавалером.

— Закрой дверь, — велел Довидл и открыл окно своей спальни. — Это будет несложно.

Он взял из шкафа деревянную вешалку и клейкой бумагой для защиты стекол примотал зеркальце к ее концу.

— Теперь высунь зеркало из окна и держи под углом в сорок пять градусов, — сказал он. — Ок-

но в ванной наполовину открыто. Если угол правильный, то увидишь отражение в зеркале ванной.

Он был прав, как всегда. Немного пошевелив и повернув вешалку, я увидел ванную комнату и в облаках пара верхнюю половину Флорри: она быстро сняла передник, белую блузку, рубашку и приспособление на проволоках, французское название которого ребята шепотом произносили в углу игровой площадки — там околачивался Джонни Айзекс со своими грубыми дружками. Полные гемпширские груди Флорри покачивались; секунду она постояла перед зеркалом в тумане, потом быстро нагнулась, повозилась с какой-то одеждой внизу, вне поля зрения, и погрузилась в ванну.

Воздух застрял у меня в горле, как рыбья кость. Зрелище было увлекательное, но при этом меня не покидало ощущение, что перейдена черта между невинностью и половым созреванием, и переход этот осложнялся сознанием, что объект моего пробудившегося интереса — суррогатная мать, укладывавшая меня в постель перед сном. Нарушение табу на инцест само по себе угнетало, но то, что произошло оно при содействии Довидла, небом посланного названого брата, — это уже

совсем не укладывалось в моем слабом уме. Я дрожал от мучительного волнения, снова стал заикой, и когда Флорри вылезла из ванны и завернулась в полотенце, отдал вешалку с зеркалом своему сообщнику.

— Следующий спектакль в следующий четверг, — с ухмылкой сказал Довидл, чтобы разрядить напряжение. — Или во вторник, если хочешь посмотреть толстую старую Марту.

Давясь от смеха, я представил себе, как буду подглядывать за раздражительной дряблой кухаркой.

— Ты понял? — сказал Довидл. — Вот что дает маленькая стратегия — и без неприятностей.

— Нашелся всезнайка, — съязвил я и бросил ему в голову подушку.

В ответ прилетело покрывало, мы сцепились, упали и продолжали бороться на полу. Мать, возмущенная стуком и криками — у нее внизу шло заседание комитета, — велела нам поправить галстуки, причесаться и, если Дэвид не возражает, спуститься и сыграть дамам что-нибудь красивое. Наш преступный союз был замкнут в своей отдельности от взрослого мира.

Нашу шпионскую проделку повторять не требовалось. Она окончательно оградила наш

маленький мир от посторонних. И, кроме того, показала практическую и даже героическую ценность того, что Довидл именовал своей «стратегией». Более яркая демонстрация ее случилась в ноябре, когда снова открылась школа и мы, в серых формах с лиловой отделкой, вместе пошли в Дом, место задержания обеспеченных детей и подготовки к частной школе более высокого класса. Для меня Дом был ежедневным семичасовым ужасом, ожиданием, когда на меня набросится учитель-садист или дворовый задира. Я предупредил Довидла, тощего иностранца, что он должен быть готов к издевательствам. Он улыбнулся и сказал: не беспокойся.

На втором уроке матерый мучитель математики по фамилии Ужанс, в восторге от того, что я не смог дать определения «гипотенузы», злобно поднял меня за вывернутое ухо и потащил к доске — но тут же неожиданно охнул, выругался и отпустил.

— Черт побери! — рявкнул он, озирая класс. — Кто это сделал?

— Что сделал, сэр?

Потирая бедро, Ужанс снова взялся за мое горящее ухо — взялся и снова охнул. Он круто повернулся и увидел Довидла, убиравшего руку

с циркулем.

— Встать! — крикнул Ужанс. — Фамилия?

— Рапопорт, сэр, — сказал Довидл, невозмутимый среди моря ужаса.

— Иностранный ученик, вероятно, не знает наших порядков, — прорычал Ужанс. — Ну, полагаю моим долгом англичанина научить тебя манерам. Скажи мне, Рапопорт, ты знаешь, что мы делаем в этой великой стране с мальчишками, которые нападают на учителя?

— Нет, сэр, — сказал Довидл. — Но в моей несчастной стране мы знаем, как называется человек, который мучает детей, вместо того чтобы пойти на войну и сражаться с врагом.

Ужанс опешил. Упитанный мужчина лет тридцати с небольшим, он, видимо, не записался добровольцем из трусости или оказался негоден.

— Я сражаться пойду, черт возьми, когда меня призовет Его Величество, — загремел он. — А пока что кто-то должен оставаться здесь и вбивать математику в ваши тупые башки, чтобы вы, недоумки, сгодились армии хотя бы как пушечное мясо. А теперь поди сюда, раввиныш, и получи наказание.

— Вы меня не тронете, — сказал Довидл. — Я хочу видеть директора.

Никогда еще в славной истории английской подготовительной школы и в обширной литературе о ней — от Тома Брауна до Дженнингса у Энтони Бакериджа[37] — не видано было такого непокорства в первый же день занятий. Если Ужанс был ошеломлен, то мы были заворожены драмой, чей исход мог быть только эпически кровавым.

— И почему ты думаешь, что директор захочет тебя принять? — прорычал Ужанс с видом человека, пришпиливающего к альбомной странице живую бабочку.

— Потому что у него письмо от высшего начальника, и там объяснено, как со мной надо обращаться, — сказал Довидл и сел.

Ужанс побагровел, вышел, хлопнув дверью, и до звонка на перемену так и не вернулся. После перемены Довидла вызвали к директору.

— Что было? — шепотом спросил я, когда он вернулся в класс. Я ожидал, что он придет, согнувшись пополам от боли после неслыханной порки.

---

[37] Примечания: 37

Том Браун — герой романа Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» (1857).

Энтони Бакеридж (1912–2004) — английский писатель, автор детских книг. Дженнингс — герой его произведений.

Довидл пожал плечами.

— Ничего особенного. В кабинете было пианино, я подошел и сыграл Шумана, извинился только, что это не мой инструмент. Директор вынул из шкафа скрипку, и тогда я сыграл партиту Баха. Он напускал на себя свирепый вид, но я заметил слезу у него в глазу и нажимал, пока она не капнула. Он сказал, что я заслуживаю трости за то, что огрызался на мистера Ужанса, и что там еще за письмо от высшего начальства?

— Я сказал, что приносил письмо от капитана Мортимера Симмондса, который выполняет особое задание в армии Его Величества — письмо ему не передали? Он высморкался, и я еще поиграл. Тогда он дал мне чашку горячего шоколада и спросил, знаю ли я мистера Альберта Саммонса и не могу ли позвать его, чтобы он сказал речь в день раздачи призов.

— Понимаешь, Мотл? В Англии классовая система, но жизнь состоит не из этих классов. На самом деле, в мире два класса людей: те, кто умеет распоряжаться жизнью, и те, кем она распоряжается.

— Я, — заключил он, — отношусь к первому классу.

Это заявление о своем превосходстве меня не

удивило. Довидл умел заставить людей сделать то, что ему нужно. Не было письма от «высшего начальника» и требования об особом обращении. В те авторитарные времена родители или in loco parentis никогда бы не осмелились учить директора, как ему обращаться со своими учениками. Довидл выдумал письмо в ответ на угрозу, мгновенно претворив мысль в действие, как это происходит при музыкальной импровизации. Мы, остальные, стали бы выпутываться, ссылаясь на прецедент. Довидл поднялся над наличными событиями и ввел элемент непредвиденного. При любом кризисе он был совершенно непредсказуем и потому непобедим.

Отбившись от живодера, который отбыл перед Рождеством на казначейскую службу в армии, Довидл был признан героем класса. Что-то от его славы досталось и мне — как Антонию от Цезаря, Идену от Черчилля. Даже «соседский Джонни Айзекс» стал искать моего общества. Как путешественника Генри Стэнли, меня ценили не столько за мои собственные достоинства, сколько за то, что я отыскал в сердце тьмы и представил публике светило, доктора Ливингстона. Но меня устраивало мое второе место. К этому меня и готовили — быть агентом артистов, подножкой

для гения, рабочим сцены. Впервые в своем сознательном возрасте я был вполне счастлив — я нашел свое место в жизни.

Как-то утром, съехав по перилам, я врезался во Флорри, занятую уборкой внизу, и чуть не свалился от смеха.

— Что-то ты очень доволен собой последние дни, молодой хозяин, — заметила она и шлепком по заду отправила завтракать.

— Что это за звук, — недовольно сказала мать, оторвавшись от «Ньюз кроникл».

— Какой звук?

— Жужжание, как будто пчела в банке с вареньем.

— Я ничего не слышу.

— Прекрати немедленно, Мартин, не знаю, как ты это делаешь. Утро только началось, а у меня уже голова болит.

Только тут я понял, что пою без мотива и слов от полноты своей безмятежности. Все — благодаря Довидлу: он дал мне голос, неясный, скрипучий, лишенный тональности, и, тем не менее, это было средство, чтобы заявить о себе. Благодаря ему я выбрался из немого унылого заточения и мог сообщить о своих чувствах окружающему миру, неважно, хотел он услышать меня или нет. Я

стал говорящим Мотлом у сиятельного Довидла, важной частью общего организма. И он жил во мне, как фантастическое искусственное легкое, обеспечивая меня уверенностью и довольством, когда не справлялись собственные органы. Вот как я воспринимал его — как часть себя. И вот как любил — не как брата во всем, кроме крови, а бездумно, функционально, как любишь свой мизинец или выпуклость скулы на ладони, когда мирно погружаешься в сон.

5
Время нашей жизни

Общие волнения — Блиц и наступление отрочества — закрепили наш симбиоз. Соотношение наших достоинств никакой роли не играло. Довидл был зачинщиком большинства наших занятий, но при этом у меня было чувство, что я для него незаменим. Это звучит сентиментально, но таковы же часто самые дорогие нам музыкальные впечатления. Сколько женщин рассказывали мне, что их жизнь переменилась из-за Пятой симфонии Бетховена, потому что перед концертом, в запертой комнате за сценой маэстро посмотрел ей в глаза и сказал, что будет дирижировать «только для вас». Музыкой можно достать до глубины. Довидл сделал нечто большее: заставил поверить, что без меня ничего не достиг бы.

Как определить наши отношения иначе, чем две половинки нераздельного целого? Мы вместе проводили времени больше, чем братья, но связь между нами не была братской. Не было трений и препирательств, как у родных братьев, не было

соперничества за родительскую любовь. Не было — как можно заподозрить — и гомоэротического элемента, хотя мы шлепали друг друга мокрыми полотенцами в ванной и бегали нагишом по коридору, наслаждаясь визгами благопристойной Флорри. Мы дразнили друг друга, издавая губами неприличный звук; прыщи и тощие ноги были постоянным предметом взаимных насмешек. С приближением зрелости ноги у Довидла стали толще и покрылись черными волосами, а у меня еще два долгих года оставались мальчишески гладкими. Я знал его тело так же хорошо, как собственное, но не помню, чтобы у меня хоть раз возник плотский интерес или побуждение. Сплоченность, отличная от любви и физиологии, — вот что было мостом и мотором в наших отношениях.

Усердный психоаналитик (а я многим переплатил на своем веку) мог бы истолковать это как сублимацию подавленного влечения у невротического индивида, склонного к подчинению. Ничто в моей памяти не подтверждает такого диагноза. Действительно, мы обнимались и боролись, но слишком уважали наше достоинство, чтобы кто-то кого-то хотел победить или подчинить. Чем дольше жил с нами Довидл,

тем уверенней в себе я становился, уверенней в своей полезности для него и, по умолчанию, для отца. Довидл, понимая, что я должен быть лоялен к обоим, ни разу не отметил этого даже движением брови. В чуткости его было что-то от оленя. Связывало нас, мне казалось, что-то более прочное и утонченное, чем узы крови или секса. И то и другое открылось нам в раскардаше блица и отрочества и сделало связь между нами еще неразрывнее, еще необходимее.

Когда тревожному затишью пришел конец в июне 1940 года, и северная Европа была уже в руках у Гитлера, и истребители Люфтваффе развязно кружили у нас над головами при белом свете дня, мы, десятилетние, оказались в удобном положении наблюдателей. Чтобы заработать карманные деньги и оказать важную услугу людям, я предложил развозить газеты, которые безнадежно рекламировал мистер Уилкокс, киоскер на Бленхейм-Террас.

— Не может быть и речи, — сказала мать. — Я не допущу, чтобы вы барабанили в чужие двери, как лоточники. Дэвид, что подумал бы о нас твой отец?

— А он этим и занимается, — спокойно сказал Довидл. — Носит бижутерию по домам.

У нее хватило деликатности покраснеть.

— Джонни Айзекс развозит газеты, — вставил я.

— Этот мальчик становится большим разочарованием — а так много обещал, — вздохнула мать.

— Мы будем работать на оборону, — объяснил Довидл, — давать людям надежную информацию, вместо слухов.

— Думаю, у ребят правильная мысль, — сказал отец. — Пусть для пробы разносят газеты три месяца, если это не помешает их школьным делам и музыке.

— Не помешает, отец, — пообещал я, и мы обменялись с ним понимающим мужским взглядом.

У газетчика по его карте мы поделили район пополам, как яблоко. Довидл взял улицы слева от середины, я — правую часть. Ему достались богатые кварталы с особняками и садовыми беседками в окрестности Гроув-Энд-роуд, мне — однокомнатные съемные квартиры с общими удобствами на Карлтон-Хилл, однотипные домики на Спрингфилд-роуд и муниципальные дома на Баундри-роуд.

— В Рождество твой друг получит больше чаевых, — предупредил Уилкокс.

— Посмотрим еще, кто доживет до Рождества, — мрачно сказал Довидл.

Каждое утро, в семь часов, под полосатым тентом Уилкокса мы грузили кипы газет в корзины и колесили по улицам до тех пор, пока последние тонкие листы не проваливались в последнюю медную щель. На это уходило меньше часа, оставалось еще вдоволь времени, чтобы заглотать Мартин завтрак и приехать в школу до свистка к утреннему собранию.

Если вдруг опаздывали, наказание не грозило. Дисциплина в Доме и многое другое разваливались. Многих учителей призвали под знамена, молодые выпускницы и университетские преподаватели на пенсии заняли пустые места и изменили этос. Садизм и битье тростями прекратились, дворовые задиры, лишившись взрослых образцов, вели себя цивилизованнее и рассудительнее. По истории у нас была мисс Прендергаст, в роговых очках, но с красивыми ногами; по английскому — семидесятилетний доктор Седжфилд, международный авторитет (так говорили) по точке с запятой. Эти и другие, чьих имен не помню, были кладезями знаний, готовыми их разливать, но не желавшими следовать жестким учебным планам. «Говорите друг

с другом», — сказал Седжфилд, вызвав шестерых самых умных к доске и предложив им свою теорию гомосексуального Яго, а также и Ромео, раз уж мы взялись за это. Пришел директор, встревоженный громкими голосами; Седжфилд мирно посмотрел на него и пробормотал что-то насчет семинаров в университетском духе. «Все идет псу под хвост», — проворчал, удаляясь, директор.

Еврейским мальчикам, которых в школе была половина, позволили собираться перед уроками отдельно, поскольку мы не могли с искренностью исполнять «Вперед, Христово воинство». Но, не желая допустить и настоящий еврейский ритуал, директор препоручил нас отцу Эдварду Джеффрису, прокуренному в коричневой рясе англиканскому монаху, который заставлял нас читать наизусть псалмы на английском, иврите и латыни. То есть он читал несколько стихов на иврите царя Давида или из Вульгаты св. Иеронима, а потом свободно переводил на английский, более разговорный и привлекательный, чем в Библии короля Якова. Для хриплого отца Джеффриса это, верно, было пустым занятием: он ни разу не посмотрел в глаза ни одному еврейскому нехристю, ни разу не показал удовлетворенности нашей декламацией. Он был сухой старой

жердью и имел противную привычку вертеть мизинцем в ухе, а потом подробно рассматривать добытую серу. Но для меня и, в меньшей степени, для Довидла откровением была его виртуозная способность вернуть к жизни два мертвых языка, а самих нас — к пустынному истоку, передать его еврейскую пламенность. Переводы отца Джеффриса засели у меня в памяти на всю жизнь.

— Не устрашись ночных ужасов, — возглашал он посреди блица, — ни снаряда, летящего днем. Чумы, идущей во мраке, истребителя, опустошающего днем. Падет рядом с тобой тысяча, и еще десять тысяч по правую руку — но к тебе он не приблизится. Только глаза твои увидят его, Симмондс, и увидят возмездие нечестивым. Продолжай, пожалуйста, на латыни.

— Quoniam to Domine spes mea, altissimum posuisti refugium tuum[38].

— Неплохо. Рапопорт, следующий стих по-английски.

— No harm will befall you, no trouble upon your tent…[39]

---

[38] Примечания: 38

Ибо ты *сказал*: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.

[39] Примечания: 39

Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.

После школы, опять на велосипедах, мы развозили вечерние газеты — этих адресатов было вдвое меньше. У нас оставалось время купить дешевое мороженое, пособирать ежевику с кустов или просто покататься по улицам, притихшим от жары и страха. И только после этого — в музыкальную комнату. Двадцать пятого июня (я начал вести дневник), вернувшись домой, мы стали свидетелями первой паники. По дорожке к дому топал доктор Штейнер, размахивая тонкими старыми руками скрипача; в одной из них трепался листок бумаги.

— Что это такое? — причитал он. — Почему меня надо депортировать? Что будет с моей женой?

Два полицейских вручили бедному старику в дверях распоряжение об интернировании. Как иностранцу класса С, не достигшему семидесятилетия (совсем чуть-чуть), ему приказывали завтра утром явиться в полицейский участок Хампстеда, имея при себе один маленький чемодан с личными вещами, для перевода в неназванное место постоянного содержания.

— Что мне делать? — спрашивал он нас, своих учеников.

Я усадил его, дрожащего, на диван, попросил Флорри сварить крепкого кофе и позвонил отцу

в контору.

— Предоставь это мне, — кратко сказал он. — Займи его, пока я не отзвоню.

Этим занялся Довидл. Он играл первую сонату Брамса соль мажор, доктор Штейнер сидел за роялем, а я переворачивал страницы с такой напряженной нежностью, что телефонный звонок в прихожей воспринял как досадную помеху.

— Скажи доктору Штейнеру, что приказ отменен, — сказал отец, — а потом дай ему трубку.

— Как ты это устроил? — спросил я его за ужином.

— Я знаю одного человека в министерстве внутренних дел. Убедил его, что доктор Штейнер необходим для оборонной работы.

Мать сардонически рассмеялась.

— Мне не пришлось много выдумывать, — пояснил отец, — я сказал, что он специалист по шифрам — и это правда, он читает исландские руны, и что он бывший коллега профессора Альберта Эйнштейна, что тоже правда, в узко музыкальном смысле. Во всяком случае, министр лично отменил приказ в течение часа, и я предпринял необходимые шаги, чтобы включить его в мое подразделение.

В небе все гуще слышался рокот самолетов. Бит-

вы за Англию мы не видели: она разворачивалась над Суссексом и Кентом, иногда выплескиваясь в небо на юге Лондона, но не севернее реки, как ни мечтали мы ее увидеть. Самое большее, что нам доставалось, — глянуть на первые страницы газет во время доставки; похоже, что их делали незанятые сотрудники спортивного отдела: «Самый большой налет — счет 78:26 — Англия по-прежнему отбивает».

— Как всегда, медленно, — заметил Довидл, считавший крикет пустым занятием.

— Как всегда, может помешать дождь, — пошутил я.

— Почему вы, англичане, смотрите на все как на игру? — проворчал он в культурном замешательстве перед нашими неколебимыми обычаями, нежеланием предаваться риторике судьбы.

— Дело не в том, кто выиграет, — внушительно парировал я с сознанием культурного превосходства, — а в том, чтобы так вести игру, чтобы это заслуживало выигрыша.

Мы плохо представляли себе, как развивается война, но двадцатого августа брызжущий энергией премьер-министр Черчилль в своей знаменитой речи воздал дань Королевским ВВС: «Никогда еще в истории человеческих кон-

фликтов не были обязаны столь многие столь немногим». Сент-Джонс-Вуд пока что оставался в такой же неприкосновенности, как Цюрихское озеро.

Первый налет мы увидели четырьмя ночами позже, когда бомбардировщики Люфтваффе, возможно, по ошибке сбросили несколько бомб на Сити, и горизонт на востоке окрасился красным. В следующую ночь наша авиация ответила налетом на Берлин. Затем начались спорадические бомбардировки, мы убегали в убежище — но ненадолго. Мы с Довидлом начинали ныть, чтобы нас отпустили, якобы невтерпеж пописать, а на самом деле — посмотреть воздушный балет самолетов и трасс.

«Смотрите, чтобы вас не убило», — кричала Флорри, когда мы убегали до отбоя.

Война пришла к нам, наконец, седьмого сентября, когда немецкое командование оставило попытки завоевать господство в воздухе и направило сотни бомбардировщиков уничтожать доки и промышленность Ист-Энда. Ночь за ночью прилетали они, сеяли смерть без разбора по всему Лондону и гибли иногда в шквале зенитных разрывов. Девятого сентября я видел, как падали в огне два бомбардировщика; До-

видл утверждал, что насчитал четыре. «Кройте „фоккеров“», призывала Флорри по-гемпширски картаво; по крайней мере, так я ее понимал. Мы быстро научились отличать «спитфайры» от «мессершмитов». Битва за Англию превратилась в битву за Лондон, и мы, захваченные ею, были на передовой — по крайней мере, так мы себе говорили.

На самом деле мы находились километрах в восьми от града зажигалок, но кое-что доставалось и нам — или по ошибке, или когда немецкие стаи, повернув восвояси, освобождались от бомбового груза, выщербливая улицы и заодно их население. Одна за другой улицы становились жертвами таких, как это именовалось, «инцидентов». От запаха горящего дерева, кирпичного щебня, разрушенных стоков и гнили некуда было деться. Смерть могла настигнуть любого из нас, любезно предупредив за три минуты.

— Тебе не страшно? — спросил я Довидла как-то на закате, когда мы смотрели с Примроуз-Хилл на тлеющий город.

— Какая красота, — тихо сказал он, — посмотри на трассы, красные и желтые, как они прошивают серый дым, на зеленые огни зажигалок. Великолепно. Как балет «Жар-птица».

— Это тебе не искусство, — ядовито сказал я. — Это жизнь или смерть.

— Искусство — то же самое, — ответил он. — Когда оно хорошее.

Отсутствие страха было поразительное — не только у Довидла, но и у однокашников и у большинства взрослых, кого мы знали. Смерть стала повседневным фактом. Может быть, недосыпание заблокировало тревожную кнопку, а может — фатализм. Местный паб «Герб королевы», лишившийся половины крыши и барной стойки, вывесил объявление: «Открыто более чем всегда». Мы выдержим — был общий лозунг, но произносимый без вызова, а с хмурой решимостью. Ночные налеты стали такой же обыденностью, как все остальное.

После разноски вечерних газет мы с Довидлом наскоро пили чай с бутербродами, расправлялись с уроками и музыкой и, если немцы прилетали поздно, успевали до сирены вымыться и поужинать. Но чаще шли в убежище некормленые, с термосом и сэндвичами, быстро приготовленными Мартой. «Оставалось только сунуть в духовку жаркое, и тут загудели чертовы немцы, — негодовала холерическая кухарка, — надоели уже не знаю как». Однажды осенним утром пятидеся-

тилетняя, страдавшая эмфиземой Марта отбыла на родину, в Девон, оставив семью на попечении Флорри, произведенной из горничной в домоправительницу. Отец освободил ее от оборонной работы, записав личной помощницей в свой отряд.

На раннем этапе блица родители редко бывали дома — неизменно задерживались на оборонной работе.

— Мальчики, надеюсь, вы хорошо себя ведете и слушаетесь Флорри, — говорила мать трескучим голосом по телефону. — Я постараюсь вечером забежать домой, хотя бы переодеться, но здесь, в Ист-Энде, людям нужна наша помощь и солидарность, вы же понимаете.

— Жаль, что мне пришлось задержаться на столько ночей подряд, — говорил отец из Бристоля или Ливерпуля. — Но, по словам Флорри, вы прекрасно справляетесь и совсем не скучаете без нас.

Мы не то что справлялись — это было самое увлекательное время в нашей жизни. Андерсоновское бомбоубежище у нас в саду, прозванное так в честь министра внутренних дел, спасшего доктора Штейнера от интернирования, не было ни красивым, ни безопасным. Несколько таких

убежищ обрушились на своих обитателей всего лишь от разрывов где-то неподалеку, а после того, как по лицу засыпавшей Флорри пробежала мышь — или крыса? — мы переместились на северную платформу ближайшей станции метро и лежали там с половиной окрестного населения.

— Спишь с самой чистой публикой на нашей станции, — смеялась Флорри.

Как подобало Сент-Джонс-Вуду, царил здесь безупречный до жеманства декорум. Ни метаний, ни стенаний, о каких докладывали со следующей станции «Суисс-Коттедж» — там скучивались в болтливой плотности (и плотской, ходил слушок) до полутора тысяч душ разнообразного происхождения. Я знал, что Иду Гендель каждую ночь отводит туда отец. Йозеф Хассид отказался спускаться с отцом в эту тьму. Он оставался дома, снова и снова, как одержимый, прослушивая свои бисы с аккомпанировавшим Джеральдом Муром, записанные перед самой войной. «Хиз мастерс войс»[40] предложила ему контракт, но его поведение вызывало озабоченность. О нем судачили в скрипичном кругу.

На станции «Сент-Джонс-Вуд» с соседом по

---

[40] Примечания: 40
Британская фирма звукозаписи.

платформе не разговаривали, не будучи представлены. Метро, изначально не планировавшееся как убежище, лишено было самых элементарных удобств. Срочные естественные потребности удовлетворялись на краю платформы, прямо на колею. На нашей станции деликатно ставили викторианские лакированные ширмы по концам платформы (для мужчин — на северном, для дам — на южном), и по утрам, до первого поезда, служащий линии Бейкерлоо поливал пути из шланга. Но к полуночи вонь делалась удушающей, и привередливые постояльцы, собравшись с чашками кофе, искали виновных в своих неудобствах. Очевидными кандидатами были иностранцы и евреи. Я был рад, что Довидл избавился от акцента.

Флорри, десятью годами старше нас, вела все более активную светскую жизнь. «Я девушка, которая себя уважает», — однажды услышал я ее разговор с солдатом на лестнице метро. «Он немного торопится, — объяснила она на другое утро. — Но милый парень. Думаю, вечером с ним опять встретиться».

У Флорри был отзывчивый глаз. Вскоре она занималась уже тремя кавалерами рядового и сержантского состава — и четвертым в Египте.

Прихорашиваясь и завивая светлые воздушные кудряшки перед вечерней вылазкой, она потчевала нас бесхитростными, но полупонятными повествованиями о слабых струнках воинов-отпускников. «Я сказала Дереку, что мы не можем пойти дальше до помолвки, — щебетала она. — Конечно, он не знает, как далеко у нас зашло со Стэнли». Со своими кавалерами она управлялась так же умело, как с нами двоими, сводя мужской напор к покладистой веселой дружбе.

После первого бурного натиска немцев родители стали чаще ночевать дома, чем вне его. Теперь они нужны были здесь, потому что бомбы падали и на Сент-Джонс-Вуд, и привилегированные тоже подверглись опасности. Отец вступил в отряд местной обороны под началом сержанта Эрика Блэра — его политические статьи в еженедельниках за подписью «Джордж Оруэлл» я проглатывал с жадностью. Отряд Сент-Джонс-Вуда собирался в военно-тренировочном зале на Аллитсен-роуд и учился обращению с архаической пушкой. Ночами отец чаще всего дежурил на крыше Лангфорд-Корта, современного многоквартирного дома поблизости от Эбби-роуд; там на пятом этаже жил Оруэлл. В отряд вступил добровольцем его будущий издатель Фред Варбург; на крыше

царила высоко интеллектуальная атмосфера. Я упрашивал отца представить меня Оруэллу: для меня он был большим героем, чем Дэн Дэйр[41] или Уинстон Черчилль, — образцом кристального ума.

Мы с Довидлом были приглашены на чай. Миссис Блэр с печальными глазами (отец объяснил, что она потеряла брата в Дюнкерке) по-матерински хлопотала вокруг нас, а великий писатель только подергивал губой под тонкими усиками. И вертел в руках тяжелую зажигалку, пока Довидл играл amuse-gueule[42] Вьетана, вызвав слезы у миссис Блэр. Музыка его не тронула, на попытки отца завязать беседу отвечал коротко, а мы тем временем поглощали поданные к чаю бутербродики (кроме ветчинных).

— Кем ты хочешь быть, мальчик, когда вырастешь? — спросил полемист высоким учительским голосом.

— Писателем, сэр, как вы.

— Нужны будут шахтеры и фермеры, когда кончится эта история, а не сочинители красивых

---

[41] Примечания: 41

Дэн Дэйр — герой комиксов «Пилот Будущего» (появился впервые в 1950 г.).

[42] Примечания: 42

На закуску (*фр.*).

фраз, — фыркнул он.

Казалось, ему неуютно в буржуазном декоре Лангфорд-Корта, так же, как в собственном худом шестифутовом теле, сплошь из углов и локтей. У него пахло кислым изо рта, и рука была влажная, когда он, сославшись на срочную работу, попрощался с нами прямо за чаем. Миссис Блэр извинилась за его невежливость и объяснила, что он должен очень спешить. Меня не обидело его пренебрежение к музыке, к маленьким мальчикам и энтузиазму знакомых по местной обороне. Я видел в нем человека нравственно сильного и решительного, он остался в Лондоне, когда другие писатели разъехались по загородным домам, поскольку муза требовала тишины и покоя. Как и многие писатели, которых я узнал позже, он решительно отвергал музыку — соперницу, отвлекавшую внимание публики.

Оруэлл недолго оставался в Лангфорд-Корте с его изящными светильниками и швейцарами. Он переехал на Мортимер-Кресент, рядом с килбернским краем моей газетной зоны, и снял квартиру с сырым полуподвалом на первом этаже викторианского дома. Иногда я видел его за столом, пишущего при скудном свете. Один раз он помахал мне рукой, но рассеянно — может

быть, в муках рождался «Скотный двор». В остальном переезд оказался неудачным. В 1943 году дом был разрушен самолетом-снарядом, и Блэры присоединились к бесприютному множеству стекавшихся под прохладное крыло моей матери.

Она была рождена для этой роли. Распоряжаться людьми было в природе Вайолет Симмондс, и, просидев на бесконечном количестве благотворительных обедов, она знала, как позаботиться о нуждающихся. Вооруженная ист-эндским опытом, с видом, не допускающим возражений, она пришла в районный совет на Марилебон-роуд и потребовала встречи с мэром. За несколько минут она реквизировала общественный дом при церкви и взяла на себя переселение и обустройство бездомных в районе между Финчли и Эджвейр-роуд. С добровольцами из своего вышивального кружка она коршуном пала на переживших бомбежки, разыскала их близких (тех, что были живы), обеспечила им, растерянным, временное жилье и питание на первые дни. С каждым потерпевшим она расправлялась быстро и четко, но истинное удовлетворение испытывала тогда, когда представлялся случай протянуть с высоты руку помощи тем, кто стоял выше по социальной лестнице.

Однажды зимним утром, когда мы вернулись домой, миссис Айзекс (урожденная Сассун), мать Джонни, причитала, почти завывала по-восточному над разбитыми плитами своего псевдопалладиевского крыльца. Над развалиной поднимался дым, и пожарные сматывали шланги. В нескольких шагах от нее заламывал руки муж, биржевик по профессии, а Джонни, впав в детство, сосал большой палец.

— Ну, довольно, Женевьева, — бодро сказала мать. — Не время унывать. Генри — это беспомощному мужу, — лучше вам пойти на работу, чтобы не опоздать к открытию рынков. К вечеру мы с этой неприятностью разберемся. Джонни, в школу. Мартин, отведи его к нам завтракать. Дорогая Женни, кажется, у меня есть для вас временное жилье, милая квартирка на Лангфорд-Корт, восьмой этаж, пентхаус, как сказали бы американцы, но маленький. Пойдемте в Сент-Майклс-Холл, выпьем горячего кофе и все уладим.

К виду разрушенных домов я так и не смог привыкнуть, а этот был рядом с нашим. Как говорится, Бог миловал. Но разбомбленный дом — это не просто уничтоженное имущество и человеческие жизни, не просто крушение иллюзий личной безопасности. Гибель двухквартирного

дома в предместье, стандартного домика рабочих, благополучного городского особняка означала крах одного из самых драгоценных мифов, ценности настолько самоочевидной, что она даже никогда не была оговорена в законе. Попран немцами был сам английский принцип приватности, наделявший каждого домохозяина собственным замком, с его собственной закладной, правами суверена, с воображаемым подъемным мостом перед входной дверью. Приватности вдруг пришел конец. Разрубленный надвое дом показывал половину кухни, спальню, ванную комнату. На стене подмигивало чудом уцелевшее зеркало. На полке раковины стояли грязные чашки. Розовый дамский будуар заливался краской смущения перед соглядатайской улицей.

Нас с Довидлом завораживали эти картины. Каждое утро после доставки газет мы сравнивали количество увиденных «инцидентов». Газеты в корзинах велосипедов давали нам что-то вроде журналистского права прошмыгивать мимо ошеломленных жертв и пожарных. Часто мы поспевали помочь спасателям, отгребали обломки и вытаскивали из домов-могил оглушенных обитателей. Мальчик ты или взрослый — в таких обстоятельствах разницы не было.

— Ты, мальчик, помоги мне его вытащить.

— Ты, там, с велосипедом, отвези это в пожарную часть, живо.

Среди ужасов, уродств и людских несчастий мне открывалась и красота. Манящее зарево оказывалось вблизи разрушенным, в огне и дыму, трехэтажным домом на Спрингфилд-роуд; зрелище леденило кровь и не отпускало.

— Сегодня утром три новых, — сообщал я по дороге в школу.

— Я видел четыре. — У Довидла всегда было на один дом больше.

— Не верю. Где?

— Один на Эбби, один на Луден-роуд, два на Гроув-Энд.

— Врешь.

— Сам посмотри.

— На Луден — старый, разбомбили на прошлой неделе.

— Слушай, — рассудительно сказал он, — чтобы не спорить, давай предъявлять доказательства — одну вещь с каждой развалины.

— Идет, — обрадовался я, ткнув его в плечо. — Спорим, я выиграю.

— Погоди. НРБ считаются?

Неразорвавшиеся бомбы были опасным по-

дарком, людей к ним не подпускали до прихода саперов. Другой опасностью были взрывы газа. Первый запашок утечки мог стать для тебя последним. Сообщить о нем требовалось немедленно. В подсчетах наших присутствовал элемент героизма: мы находились на передовой линии обнаружения и защиты от газа и НРБ и оповещали ближайшего дежурного обо всем, что увидели или унюхали. В качестве приза я подбирал бесхозный пенс, носовой платок или осколок посуды. Довидл был амбициознее: он приносил полукроны, книги, фарфоровую чашку.

В руках у него что-то блеснуло под бледным утренним солнцем.

— Но это же серебро, — запротестовал я, — может, оно ценное.

— Тем лучше, я спас его от мародеров, — сказал мой друг.

— Красивый браслет. Что ты с ним сделаешь?

— Ничего, — соврал он.

С каждым месяцем наши маршруты удлинялись: все увеличивались разрушения и спрос на новости. Газетчик Уилкокс удвоил нам жалованье в компенсацию за долгую езду и докрасна натерные грубыми шортами ляжки. Британским мальчикам не полагалось носить брюки до сред-

ней школы. Воспитывалась морозостойкость.

Уилкокс откупил участок у соседнего конкурента и посылал нас развозить газеты за Эджвейр-роуд до Мейда-Вейл, красивой улицы, где теперь царила мерзость запустения. Брошенная хозяевами домов, изрытая воронками, она стала ничейной землей, ее заселили пьяницы и дезертиры, и нам с Довидлом велели не заходить в этот район.

— Как можно быстрее управляйтесь с делами на той стороне, — строго предупредила мать. — Там полно фениев[43] и богемы.

— Королевство Богемии, — педантично объяснил Довидл, — было южным соседом Польши.

— Не та богема, — со вздохом сказал отец. — Чехи всегда были очень цивилизованными и милыми. А это — британская богема. Они ленивые и аморальные, живут как цыгане. Что касается фениев, вы, конечно, узнаете о них, когда будете изучать беспокойную историю Ирландии в средней школе.

Нечего и говорить, эти предостережения для нас, половозрелых, сделали Мейда-Вейл страной фантазий, полной опасностей, более личных, чем

---

[43] Примечания: 43

Фений — член тайного общества ирландцев, боровшегося за создание независимой ирландской республики.

падающий с неба металл. Поодиночке или вдвоем мы колесили по этой безнадзорной территории и знакомились с отбросами общества, самовольными жильцами, отщепенцами. Я услышал об организованной накануне войны коммунистами (кто такие коммунисты?) успешной забастовке из-за квартирной платы и о мечтах людей, пропивших призы художественных факультетов и питающихся опивками. Среди них были и беглецы, те, до кого не дотянулась рука закона.

Кевин мог быть и дезертиром, и членом ИРА[44] — у нас не хватило дерзости спросить. Вечно в двухсуточной седоватой щетине, в одежде из благотворительного фонда, не закрывавшей полностью его тощие конечности, он пахнул, как спешно эвакуированный бар. Брюки у него на талии были собраны складками, конец ремешка свободно болтался над ширинкой. Но двигаться Кевин мог быстро, когда из-за угла показывался сборщик квартирной платы — быстро для пьяницы (и быстрее сборщика), и его воспоминания о Пасхальном восстании, которое он наблюдал из окна своей спальни, были фантастически яркими. С точки зрения Кевина, больше всех

[44] Примечания: 44
Ирландская республиканская армия.

порезвились фении[45].

— Все в прошлом, ребята. — Он вздохнул. — Грустный у нас теперь мир: бросит автобус с неба штуку, и нет тебя. Не одолжите флорин мне перебиться до понедельника. А то табачник что-то стал прижимать насчет кредита.

Как он перебивался, не знаю. Он ни разу не пригласил нас в свою ночлежку в полуподвале и при любой погоде сидел на лавке, дожидаясь, не поговорит ли с ним кто от нечего делать. Он, как мы, не был ни ребенком, ни мужчиной, застряв где-то между из-за каких-то жизненных травм. Я слышал, как он играет «Парень Денни» на помятой губной гармошке, и подзывал Довидла послушать. Довидл не выносил плохую музыку. Он взял жестяной инструмент и, не потрудившись стереть микробы, поднес ко рту и сыграл эту ирландскую элегию еще проникновеннее, с широким вибрато и драматическими украшениями.

— Черт возьми, этот мальчик — чудо, — изумился Кевин. Довидл, не переводя дыхания, перешел на «Весеннюю» сонату Бетховена, а с нее на «Дым» Джерома Керна.

---

[45] Примечания: 45

Восстание ирландских республиканцев в Пасхальную неделю 1916 г. с требованием независимости Ирландии.

— Ему бы настоящий взрослый аккордеон, — посоветовал Кевин.

Однажды туманным вечером, под шелушащимся платаном Кевин зажег мне первую в жизни сигарету и бесстрастно наблюдал, как меня стало рвать после третьей затяжки.

— Смотри-ка, — сказал он, пригнув мне голову между колен. — Друг твой Дэвид на прошлой неделе присосался к «Вудбайну», как дублинец к «Гиннесу».

— Что такое «Гиннес»? — прохрипел я.

— Это есть слава Ирландии. На-ка, глотни. Смоет вкус сигареты.

От землистого солодового привкуса я опять подавился. Кевин вытер мне губы своим рукавом, вонявшим хуже пива, но как-то дружелюбно-утешительным. С Кевином я был примерно на одной стадии душевного развития, не так рвался к взрослости, как реактивный Довидл.

Доставив газеты, мы съезжались у платана на Элджин-авеню.

— Это — наше. — Довидл показал на овальное дупло внизу ствола. — Если надо оставить тебе записку, она будет здесь. Если ты что-нибудь захочешь мне оставить — тоже здесь. Кроме нас с тобой, про это дерево никто не знает.

Не было в моей жизни такого тепла, как тепло его доверия.

Как-то весенним утром, незадолго до нашей бар мицвы (дневник я теперь вел от случая к случаю), закончив раньше, я ждал Довидла у нашего дерева и увидел его издали перед разбомбленным домом. Ночь была ужасная. Пожарные команды устремлялись к новым пожарам, не до конца погасив прежние. По улицам ездили передвижные столовые и разливали горячий чай пострадавшим и спасателям. Откуда-то из приемника доносилась слащавая песня Бинга Кросби.

Я был потрясен, мне нужен был кто-то рядом. В убогое жилище ирландца Кевина попала зажигательная бомба. Дома он спал этой ночью или нет, неизвестно, но, если спал здесь, то не успел проснуться. Никто из соседей не спасся при пожаре. Я видел, как качают головами пожарные — спасать уже было некого.

Я не знал фамилии Кевина и не мог записать его в пропавшие без вести. Кевин с его ироническими рассказами о восстании и ложной заре свободы был вторым моим товарищем, и я его потерял. Я знал, что Довидл тоже будет расстроен.

Я оперся на велосипед и ждал, когда он меня заметит. Он не торопился, озирал руину в поисках

трофея. Он стоял на высунувшейся балке, ловко спрыгнул на более прочную опору и сразу нагнулся — вытащить что-то из-под ног. «Как лань желает к потокам воды, — слышался мне голос отца Джеффриса, читающего из псалмов, — так желает душа моя к Тебе, Боже!» Он был изящен, как молодой олень, Довидл, красив в этой своей ужасной стихии. Я вгляделся: что он там вытаскивает из обломков — фарфоровую куклу? Нам пора было собираться, я сел на велосипед и поехал к нему. Вблизи эта вещь оказалась почти человеком — изуродованным трупом в ночной рубашке. Когда я подошел, Довидл пал на добычу, как стервятник, и поднялся с бумажником в руке. Уставив на меня взгляд, словно вызывая нарушить молчание, он извлек три большие белые банкноты и кинул бумажник в мусор.

— Вот, — он показал на них, — одна тебе.

Я не мог говорить. Ответ, которого он ждал от меня, застрял в глотке, задушенный отвращением.

— Давай, — уговаривал он, помахивая бумажкой.

Я видел большие кудрявые буквы, цифру 5, подпись Управляющего банком Англии — они дразнили: «потрать меня».

— Ладно, хоть руку подай слезть, — сказал Довидл. — Чертова балка сейчас обломится.

Пошел мелкий дождь. Меня тошнило и в то же время хотелось есть; я помог ему спуститься с погребального холма и сразу отдернул руку от его горячей ладони. Мы поехали вверх по холму. И не обменялись ни словом, пока не сошлись у раковины в ванной, чистя зубы после завтрака.

— Паршивая ночь? — спросил он с полным ртом пены от «Колгейта».

— Пять видел, — уныло ответил я.

— А я всего четыре. — Он пожал плечами. — Надо в школу скорей.

— Кевина убило, — сказал я.

Он сполоснул рот и выплюнул в раковину.

— Давай, пошли. К псалмам опоздаем.

В тот вечер он сыграл концерт Брамса с начала до конца, отгоняя меня от рояля за то, что аккомпанировал слишком осторожно, и сам играл оркестровые связки. Неделю назад мы слышали по радио, как играл этот концерт Иеґуди Менухин — это был, наверное, апрель 1943 года, — и звезду, слетевшую к нам из солнечной Калифорнии Довидл воспринял как личного соперника.

«Иеґуди Менухин прибыл в страну с благотворительными концертами, чтобы внести свой

вклад в наши военные усилия», — объявил диктор Би-би-си.

— А кое-кто тут был все время, — проворчала мать.

— Я могу лучше, — сказал Довидл, закончив.

Всю неделю он сам уже бился над трудными арабесками и финальным рондо с отдаленно цыганскими ритмами. В тот вечер он впервые сыграл этот запиленный шедевр целиком, и я был его партнером и аудиторией. Это было, наверное, утверждением чего-то — может быть, хвалой, может быть, извинением. «Не умру, — звучали у меня в голове слова Псалмопевца, — но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь; но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них».

Довидл оперся на рояль и ждал моего вердикта.

— Хорошо, а?

— Неплохо для начинающего, — проворчал я.

— Что значит — «неплохо»? — возмутился он. — Прекрасно, черт возьми. Иеґуди может умыться.

«Смотря, что ты считаешь прекрасным» — подумал я. «В каждом артисте, — говорил отец, — сидит безжалостный эгоист. Талант, извлекающий

музыку из деревяшки и кишок, подобен природному газу. Очищенный и загнанный в трубу, он дает тепло и свет. Неукрощенный, он ранит и разрушает. Я знаю музыкантов совершенно безгрешного вида, которые совершают непростительные предательства ради достижения какой-нибудь тривиальнейшей выгоды. При виде причиненных ими страданий они пожимают плечами и возлагают вину на свое искусство — как будто служение музыке освобождает их от моральной ответственности. Если перед ним встал выбор: спасти род человеческий или иметь пушистые полотенца в своей артистической уборной, он всегда предпочтет полотенца. Искусство для них — оправдание всему, перед нами и перед тем, чем он пользуется в качестве совести. Помни это, Мартин. Никогда не сдавайся в плен красоте, иначе какой-нибудь артист воспользуется этим, чтобы тебя погубить».

Этой крупицей мудрости он поделился со мной за неделю до смерти, когда не уберегся сам, и слишком поздно, чтобы уберечь меня. Я не рассказал ему, что видел на Элджин-авеню, и Довидлу никогда не напоминал; но случай этот сослужил мне службу, отодвинул на полшага от того, что могло превратиться в полную зависимость.

После того случая я стал трезвее оценивать друга. Он перестал быть тем маленьким ангелом, который играл партиты жене главного раввина. Чего я еще не мог измерить — это энергии и глубины его низости. Я догадывался, что Довидл сознательно не причинит вреда своим близким, но признавал он только свою цель и был равнодушен к неудачникам вроде Кевина. Он без угрызений осквернит труп и обыщет ради нескольких смятых банкнот, чтобы купить на них струны лучшего качества. Он не позволит морали стать препятствием артистическому императиву. Его приоритеты: он сам, искусство, все остальное.

Проделал ли он с телом что-нибудь более мерзкое? У меня мелькнула противная мысль. Жертва была средних лет, выглядела прилично, одежда в беспорядке. Но обнаженных частей я не видел; если он и тронул ее, то только для того, чтобы украсть, самое худшее — поглядеть. Никакой гадости быть не могло. Самым жутким для меня было то, что Довидл, безумно боявшийся за своих родных, мог ворочать еще теплый труп чьей-то матери. Чужой мертвец не заслуживает уважения? Кевин был падалью? Настолько ограничено сознание Довидла стенами его двора, что осталь-

ное человечество ничего не значит?

Отвращение во мне боролось с растерянностью, и несколько дней я держался от него подальше, в страхе перед этой его сатанинской черточкой. Когда отвращение повыветрилось, я решил, что управляться с ним все-таки можно. В ту пятницу, когда я проверил наше дупло, там лежал красный батончик «киткат». И каждую пятницу после этой там лежал новый батончик, купленный на его газетные заработки, — угощение на выходные. Довидл продолжал говорить, как я нужен ему. Застигнутый за гадким делом, он ценил мое молчание и зависел от моей лояльности. Я владел информацией о нем — товаром, который он уважал и которого боялся. Он был в моей власти так же, как я — в его.

Удивительно, но учеба наша почти не страдала от недосыпания и общей разрухи. В Доме я мчался по истории под вдохновенным руководством мисс Прендергаст, а Довидл зарабатывал высшие оценки по математике отчасти благодаря дополнительным вечерним занятиям по средам, когда мы ночевали в безопасном подвале приюта доктора Штейнера. Домашние задания Довидл делал под надзором двух франкфуртских профессоров физики, чуть не сражавшихся за право

приобщить его к высшим тайнам математики. В благодарность за это он играл им скрипичные пьесы. А я тем временем читал дряхленькой миссис Штейнер на сон грядущий исторические тексты, которые подбирал для моего просвещения ее муж, — большей частью переводы с немецкого. Меня захватила книга Стефана Цвейга о Марии Стюарт, потом трагедия Шиллера о ней же. Я открыл для себя Томаса Манна, прочтя «Лотту в Веймаре», и Франца Верфеля — «Сорок дней Муса-Дага», первый роман о геноциде. Поразила меня в немецких писателях достоверность, владение историческими деталями.

— Я полюбил этих писателей. Они очень знающие, — сказал я доктору Штейнеру.

— Не слишком тяжеловесные? — усомнился он.

— Мне нравится их сухость, ни одного слова лишнего.

Он просиял, как миссионер, только что крестивший язычника. Я продолжал чтение: Шницлер и Гофмансталь, Кафка, Герман Гессе.

— Видишь, высокая дама в углу? — сказал Штейнер. — Она племянница Артура Шницлера. А вон тот мужчина — двоюродный брат Макса Брода, друга Кафки. У нас в этом подвале — один Рильке

и один Цукмайер, два Цвейга, свойственница Эльзы Ласкер-Шюлер, нашей лучшей поэтессы. В одном лондонском убежище — вся новая немецкая литература.

Согретый культурой в изгнании, я свернулся калачиком у кирпичной стены и уснул.

И были еще еврейские уроки. Нам с Довидлом надлежало утром по воскресеньям посещать хедер в мрачной синагоге на Эбби-роуд, где нас готовил к бар мицве молодой помощник раввина мистер Гольдфарб. Вскоре возник вопрос очередности. Я по праву старшинства должен был пройти обряд совершеннолетия за три месяца до Довидла.

— Но, если все придут на бар мицву Мартина в феврале, — услышал я воскресным утром рассуждения отца в гостиной, — придут ли они опять через несколько недель ради другого мальчика, у которого нет своей семьи?

— И можем ли мы позволить себе два банкета за три месяца? — добавила практичная мать.

— Я поговорю с мальчиком, — сказал отец, подразумевая меня.

Беседа наша была сентиментальной вариацией его первого неуверенного уважительного ходатайства.

— Конечно, это будет твой день, Мартин, и мама, и я, мы отлично поймем, если ты захочешь именно в этот день, — сказал отец. — Но нас немного беспокоит, что церемония Дэвида произойдет так скоро после твоей и напомнит ему об отсутствии родных — а мы стараемся оградить его от этого.

— Что ты предлагаешь, папа?

— Чтобы у вас была общая бар мицва в субботу его тринадцатилетия.

— Прекрасно, — сказал я, — Он прочтет из Торы первую часть, я — вторую и из пророков.

Мы пожали руки — решено.

Было только одно затруднение — о нем сказал помощник Гольдфарб. Позволяет ли еврейский закон, усомнился Гольдфарб, отложить мою церемонию, чтобы пощадить чувства другого мальчика? С педантизмом столь незначительного функционера отец не мог примириться. Он повел меня на Гамильтон-Террас, в дом главного раввина, доктора Дж. Г. Герца, всемирно известного ученого, известного также своей вспыльчивостью, и тот, поглаживая аккуратную бороду, объявил свой *псак* — решение, имеющее силу прецедента: позволено отложить бар мицву ради душевного равновесия в военное время.

Чтение Торы и кантилляция[46] дались нам легко, разбирать мудреные буквы иврита на свитке Торы тоже не составляло труда приближенным отца Джеффриса. Мы были закаленными чтецами Писания, бар мицва пройдет у нас без сучка, без задоринки.

Великий день 15 мая 1943 года ничем особенным не запомнился, если не считать ужасной промашки священника, который назвал Довидла — угадав, в сущности — «несчастным сиротой этого кровавого конфликта». Довидл побелел. Я сжал его руку. Фраза пролетела. Особые молитвы вознесли за «наших братьев, дом Израилев, скорбящий в плену». Синагога была заполнена родственниками — порой такими дальними, что я имен их толком не знал, — а также коллегами и знакомыми отца и матери.

— Кто это? — спросил Довидл, показав головой на женщину с напоминающим лебедя сооружением на голове.

— Почем я знаю?

Мать разоделась в пух и прах, на голове — симфония искусственных фруктов, цветов и крылатых созданий, шелковые перчатки до локтя

---

[46] Примечания: 46

Традиционное чтение Пятикнижия и других книг Библии речитативом.

— и, редкий случай, выглядела почти довольной.

— Мазл тов[47], Вайолет, — кукарекнула тетя Мейбл, сместив шляпу плохо нацеленным поцелуем. А мне сказала: — Все равно, не очень доверяю твоему дружку, Марти. Больно ловок, на мой вкус.

— Ну, тетя, — запротестовал я.

— Не волнуйся, у меня подарочки для вас обоих.

В обычных обстоятельствах люди нашего круга отправились бы в «Дорчестер» ужинать и танцевать под музыку Джо Лосса и его оркестра. Но время было военное, обошлись субботним кошерным обедом, доставленным в синагогу, и подарками, принесенными туда же, вопреки строгому еврейскому закону. Нам на двоих досталось пять часов, одиннадцать авторучек, сорок две книги разного содержания (две, преподнесенные авторами), шесть галстучных булавок с запонками, каллиграфический набор, крикетная бита, годовая подписка на «Трибьюн» (от миссис Блэр), затейливый пюпитр от прослезившегося доктора Штейнера и сто двадцать шесть фунтов чеками и наличными. Тетя Мейбл и дядя Кеннет

---

[47] Примечания: 47
Пожелание счастья (*иврит*).

подарили Довидлу кожаную папку для нот с его инициалами, а мне специально отпечатанные наклейки *ex libris* и первое издание Теккерея. Мы почти месяц потом писали благодарственные открытки.

За ритуалом натурально последовал через несколько недель переход, уже в длинных брюках, из Дома в привилегированную хэмпстедскую школу Корпус Кристи — зеленый блейзер, брюки в черную полоску, — открывавшую ворота в знаменитые колледжи Оксфорда и Кембриджа. Миссис Прендергаст нежно поцеловала меня на прощание. Отец Джеффрис напутствовал нас псалмами. Довидлу он сказал: «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и Псалтири с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим». А мне благословением из того же псалма было: «Человек несмысленый не знает, и невежда не разумеет того». Он подарил мне книгу Исаии на греческом.

В Корпусе нас напутствовали: «работай усердно, играй смело». Поскольку ни он, ни я не любили ходить с грязными коленками, от спорта мы увильнули, но внешкольным занятиям не изменили: дважды в день — доставка газет, в среду

вечером — Bildung. Доктор Штейнер грустно хворал. На похоронах его жены, в крематории кладбища Хуп-Лейн, мы узнали, что она не еврейка, она разделила изгнание с любимым Германом. По дороге домой он просил отца устроить Довидлу первый публичный концерт. «Er ist ganz bereits, Herr Simmonds, — сказал старик, соскользнув на родной язык. — Он вполне готов, и я хочу увидеть его успех до того, как умру. Моя Марта так любила мальчика — почти как родного внука».

Вскоре и сам Довидл попросил о том же. Один мальчик в школе хвастался тем, сколько его родители тратят на частное обучение. Довидл ужаснулся и спросил отца, нельзя ли ему взять на себя часть платы, выступив с концертом. Отец обдумывал предложение целый день, прежде чем дать обоснованный отказ. «По трем причинам, милый Дэвид, — объяснил он в моем присутствии и для моего поучения. — Во-первых, мы не бедны. Во-вторых, это не самое удачное время, чтобы выпустить на лондонскую сцену дебютанта-еврея, — думаю, ты меня понимаешь. В-третьих, я рассчитываю, что смогу организовать тебе более заметный дебют, когда кончится эта несчастная война. Так что больше не будем об этом — вот и молодец».

Второй пункт был тогда более существенным, чем склонны признавать историки. В Британии военного времени культура цвела. Мужчины и женщины в хаки всех оттенков жадно искали поддержки в канонических шедеврах и стремились к познанию себя в зеркале современного искусства. Несмотря на нехватку газетной бумаги для освещения искусств и шеллака и целлулоида для сохранения их в записи, мгновенно становились знаменитыми новые композиторы, писатели и исполнители. Разгоралась творческая заря: заново рождалось английское искусство.

В июне 1943 года ожидание Пятой симфонии Ральфа Воан-Уильямса буквально витало в воздухе, овации были громовые. Ораторию Майкла Типпета «Дитя нашего времени» бурно приветствовали, несмотря на ее пацифистское содержание (а может быть, как раз из-за него). В Серенаде Бенджамена Бриттена для тенора, валторны и струнных, сыгранной в Уигмор-Холле, трепетали неизведанные возможности; его опера «Питер Граймс», исполненная сразу после войны, единодушно была признана шедевром лирической драмы, первым в Англии за двести пятьдесят лет.

Удивителен был этот расцвет, но не менее

удивителен и отклик кремнистого Джона Булля. На шекспировские фильмы Лоуренса Оливье, на абстрактную живопись Бена Никольсона, к могучим лежачим фигурам Генри Мура выстраивались длинные очереди. Романы Дж. Б. Пристли и Грэма Грина разлетались за день. Англия в эти спартанские военные годы напоминала древние Афины или Венецию эпохи дожей.

Но восприимчивость публики ограничивалась английским искусством. Чужеземцев просят не беспокоиться. Умы, открытые новой английской литературе, захлопывались перед иностранными писаниями. Драматурги, чьи пьесы были хитами в Берлине и Бухаресте, сидели в кафе на Финчли-роуд и оплакивали свой потерянный рай. Отличные художники, не найдя преподавательской должности, торговали антиквариатом; дирижеры, если повезло, наскребали себе на жизнь переписыванием нот. Солисты говорили о том, чтобы отплыть на первом же мирном судне в Америку. Англия дала им прибежище и забвение, приправленные ксенофобией и обидами.

«Плохо с евреями то, что они не только заметны, но и всячески стараются быть заметными», — писал Джордж Оруэлл, начальник отца по ночным дежурствам. «Иногда они ведут себя так, что

мне трудно быть настолько филосемитом, насколько мне это свойственно», — сказал с зевком театральный критик-сибарит Джеймс Агет, заглядывавший к матери на чай по дороге из своей квартиры в Суисс-Коттедже на вечер в Вест-Энде. Оруэлл в одном эссе с готовностью признал, что в войну антисемитизм усилился, объяснив это стремлением евреев собираться в больших городах. «Таймс» предупреждала, что евреи лишатся всякого сочувствия, если не отмежуются от сионизма. «Католик геральд», державшаяся коллаборационистской линии Ватикана, призывала к «решению» еврейской «проблемы» путем массового крещения. Гитлер был на грани поражения, а его культурные жертвы думали о своем безрадостном будущем.

Стефан Цвейг уехал из Британии в Бразилию и там покончил с собой, «потерял терпение, — как он выразился, — устав ждать зари». Оскар Кокошка, интернированный как «гражданин неприятельского государства», написал серию политических аллегорий, продиктованных не столько гневом, сколько отчаянием. Элиас Канетти, будущий нобелевский лауреат, прожег дырку в столе «Континентального ресторана Козмо»,

сочиняя в голове эпический роман «Аутодафе»[48] и не положив еще ни слова на бумагу.

Творцы, на худой конец, могут обитать в мире воображения. Исполнителям укрыться негде. Ида Гендель еще до войны завоевала расположение сэра Генри Вуда и аудитории его променадных концертов. Потом, когда на Лондон падали бомбы и самолеты-снаряды, она выступала в Альберт-Холле. У Йозефа Хассида сложилось хуже. Парня превозносили как «самый фантастический талант, свалившийся на Лондон», но он пугающим образом все глубже уходил в себя и в один прекрасный день спятил окончательно, избил отца и, голый, был схвачен полицией возле пруда в Хампстед-Хите. Десятки менее одаренных безмолвно выпали из искусства, и никто о них больше не слышал. Отец мой был прав: не время было выводить на лондонскую сцену еврейского дебютанта, иностранца.

Кроме того, были чисто личные соображения. Война близилась к концу, и нас все сильнее беспокоила судьба семьи Довидла. Сообщалось о массовых убийствах в Восточной Европе. В апреле 1942 года «Манчестер гардиан» писала, что

---

[48] Примечания: 48
Под таким названием роман «Ослепление» вышел в Англии.

истреблен миллион евреев. В июне того же года «Дейли телеграф» сообщила о душегубках, очищавших от евреев целые селения. В ноябре один из еврейских лидеров Америки раввин Стивен Вайз, основываясь на документе госдепартамента, сообщил, что в ходе «кампании уничтожения» убито два миллиона евреев. Упоминалось место под названием Аушвиц.

Довидл сам читал эти сообщения в газетах, развозя их за десять шиллингов в неделю плюс чаевые. Последнее письмо из дома пришло через Швейцарию, многократно вскрытое и заклеенное цензорами. Мелким материнским почерком было написано, что семья, насколько это можно сказать, здорова. У него родилась сестра Бася-Бейла, хорошенькая черноволосая девочка, но, к несчастью, в восемь месяцев она заболела дифтеритом и за сутки умерла. Песя нарисовала углем чудесный портрет девочки, но посылать рисунки за границу запрещено, так что придется ему подождать до конца войны, чтобы узнать, как она выглядела. Малка выросла, хорошая девочка, большая помощница маме.

Скоро их устроят в другом месте на востоке, где будет не так тесно. Ужасно скучают по нему и благодарят милостивого Бога за то, что их любимый

сын в безопасности и тепле, и окружен заботой, и хорошо успевает в музыке. Довидл носил письмо в грудном кармане, всегда теплое, застегнутое вместе с болью.

Щадя его чувства, мы не обсуждали при нем судьбу евреев.

— Не верь всему, что читаешь в газетах, — предупреждал меня отец летним вечером во время прогулки. — Относись к этим сообщениям осторожно, учитывая возможную пропаганду и еврейскую склонность к истерии.

— Но это страшно читать, отец.

— Надо подождать, увидим, — сказал Мортимер Симмондс. — Союзники высадились во Франции, Европа скоро будет свободна, тогда мы должны приложить все силы, чтобы помочь ему.

Меня мучили разные варианты событий. Если родители остались живы, Довидл, конечно, будет с ними. Если они погибли, он все равно может уехать в Польшу или еще куда-нибудь, чтобы начать новую жизнь. Может сойти с ума, как Йозеф Хассид — ему, я слышал, поставили диагноз шизофрения и посадили в польскую лечебницу около Эпсома. И так и так я могу потерять его, и эта мысль была невыносима.

Так что я не заводил разговоров об этом, а До-

видл все глубже уходил в себя. Часто по утрам, за завтраком, когда он сидел с красными глазами и серым лицом, я старался его развеселить. Правильно ли делал? Или надо было вместе с ним предаваться мучительным размышлениям? Обнять его за худые плечи и как-то оттянуть на себя его боль? Может быть, так отвратил бы я будущую катастрофу?

Что рассуждать задним числом? Как всякий подросток, я был больше занят собой. Главный мой страх был — потерять Довидла. С ним я был уверенным в себе, способным, презентабельным, почти красноречивым. Без него опять буду толстым размазней с дефектом речи. Он был Рабби для меня, Голема, Кларой[49] для меня, Шумана, лампой меня, радиоприемника. Если я не вторгся в его переживания, когда это могло быть во благо, то потому, что боялся нарушить наш симбиоз. Моя нужда, позорно думал я, настоятельней его нужды. Если бы он сопутствовал мне до полной моей зрелости, я был бы в состоянии помочь ему так, как ему требовалось.

Страшная правда открывалась обрывками.

---

[49] Примечания: 49

Клара Шуман (1819–1896) — немецкая пианистка и композитор. Концертируя по всей Европе, исполняла произведения своего мужа Роберта Шумана, что в немалой мере способствовало его известности.

Через неделю после конца войны мы с Довидлом сидели в зале кинохроники около Оксфорд-Сёркус и смотрели трупные сцены освобожденного Бельзена. Словами не описать того, что мы увидели. Зверство, варварство, жестокость, чудовищность, бесчеловечность — эти существительные затерла и опустошила военная пропаганда. Мы вышли, спотыкаясь, в притворно обнадеживающие весенние сумерки, мерцающие огоньками после долгих лет затемнения.

— Они говорят, что нашли еще много живых заключенных, — утешил его я.

— Пошли домой, — сказал он.

Сказать было больше нечего: скованность рождала непонимание, потом навалилась усталость от пережитого шока. Того, что ум не мог охватить, он не хотел знать. Число шесть миллионов сплавилось в клише, коллективно оплакиваемое, лишенное индивидуальных черт. На еврейском кладбище в Эдмонтоне хоронили доктора Штейнера; провожавших едва набралось необходимых десять человек, и я глотал слезы, глядя на Довидла, стоявшего с сухими глазами. У него отмерла способность горевать.

Месяцы прошли, прежде чем удалось выяснить, что стало с его семьей. Мои родители развили

энергичную деятельность. Отец разослал имена Рапопортов по лагерям перемещенных лиц и дал объявления в «Джуиш кроникл» и «Палестайн пост» на страницах, пучившихся от потерянных душ, безнадежно разыскивавших своих любимых. Мать привела в действие свою сеть беженцев, раздавая задания тем, кому помогала. Отец отправился к главному раввину, специально чтобы встретиться с его рыжебородым зятем раввином, доктором Соломоном Шонфельдом, который постоянно ездил в Польшу за еврейскими сиротами. Доктор Шонфельд записал данные, но ничего не обещал. Мы увиделись с ним через несколько недель на вокзале Виктория, когда он вел стайку растерянных еврейских детей, которым удалось спастись. Иммиграционные чиновники не пускали его, и он из-за барьера жег их синим огнем взгляда. Заметив отца, он устало и грустно покачал головой.

Мортимер Симмондс не привык сдаваться. В последний раз надев свою форму военного времени, он обрушился на министерство иностранных дел и потребовал разрешения возобновить культурный обмен с Польшей. К его удивлению, оба правительства одобрили его идею. Британское надеялось, что музыкальная увертюра поможет

нейтрализовать советское влияние в Варшаве, а поляки потихоньку искали щелей под опускавшимся железным занавесом. В мае 1946-го, в день шестнадцатилетия Довидла, отец отправился в Варшаву, Лодзь и Краков с квартетом Парри, сопрано Элейн Филдинг и причудливой дипломатической программой из Бриттена, Шёнберга, Пёрселла и Шимановского, а также с кипой партитур для раздачи музыкальным училищам. Он вернулся через две недели, почти не в силах говорить из-за стрептококковой ангины и душевного упадка.

— Все, что я могу сказать тебе, Дэвид, — прохрипел он, — от твоего родного дома не осталось ни единого кирпича, и неизвестен последний адрес семьи перед ее депортацией. Ни соседа, ни сторожа, ни продавца, ни одного свидетеля, который мог бы рассказать, что случилось с ними. Обе улицы исчезли с карты.

— Известно, когда они уехали из Варшавы? — спросил Довидл.

— Это мне удалось выяснить. Дата депортации — восемнадцатое августа сорок второго года, пункт назначения — Треблинка. Хорошего мало. Треблинка — лагерь уничтожения, а не трудовой лагерь. Там были убиты больше

миллиона человек, сразу по прибытии. Мне не разрешили там побывать — как было сказано, из соображений безопасности. Но я познакомился с ответственным чиновником министерства культуры, господином Качинским, и он вызвался навести справки на самом высшем уровне. Он тоже потерял родных в Треблинке. К сожалению, милый Дэвид, у нас осталось мало возможностей, но будь уверен, я не брошу поисков. А ты, Дэвид, обещай мне, что не оставишь надежды.

Довидл, на стуле с высокой спинкой в столовой, дождался, когда отец избавится от очередного комка варшавской мокроты, и наконец заговорил. Костяшки пальцев у него были белыми, как известь.

— У меня нет надежды, мистер Симмондс, — произнес он с математической размеренностью. — Надежда — это самообман. Можно верить — в Бога, в искусство, в свидетельства твоих глаз и ушей. Вера может подтвердиться или не оправдаться. А надежда — пуста, она иллюзия для безнадежных.

Он подождал, когда отец откашляется. Я смотрел на скатерть, чувствуя себя ненужным.

— Мне лучше признать реальность, — продолжал он. — Я никогда не увижу рисунка моей

сестры Песи — портрета маленькой девочки, которой я не видел. Мои родители погибли, — он торопливо встал, — и сестер… уже нет на свете.

Ночью я постучал в его дверь. Он лежал одетый и смотрел в потолок. Я сказал ему, что еще не все безнадежно, еще отыскиваются пропавшие дети, их много пряталось в стогах и монастырях. Доктор Шонфельд все время за ними ездит. Еще есть смысл надеяться, доказывал я. Великие философы не отвергали надежду: Вольтер, Декарт, даже Шопенгауэр. Доктор Штейнер говорил нам о философском направлении его друга Эрнста Блоха. Он называл это Das Prinzip Hoffnung, принцип надежды. Надежда — неотъемлемая часть нашего сознания. Нельзя отвергать ее как иррациональность, убеждал я.

— Хватит, Мартин, — он осадил меня, назвав полным именем. — Я смотрю на объективные факты. Я не расположен философствовать.

Мне тяжело было видеть его мучение — и страшно, что горе отрывает его от меня; я крепко сжал его плечо и вышел из комнаты. В коридоре я столкнулся с Флорри — ее комната была напротив моей. Она сочувственно подняла брови и покачала неукротимо кудрявой головой. Сказать было нечего.

С пастырским визитом, в черном облачении со стоячим воротником, пришел помощник раввина Гольдфарб и убеждал Довидла соблюдать траурный ритуал *шива*, с последующим дважды в день присутствием на молитвах в течение одиннадцати месяцев.

— Каждый день ты найдешь утешение в сердце общины, — обещал он.

— Я не могу сидеть *шиву*, пока не имею доказательства, что они погибли, — нравоучительным тоном ответил Довидл.

Священник стал бормотать традиционный стих с просьбой к Богу утешить его среди скорбящих Сиона и Иерусалима, а Довидл отвернулся. Формулы веры не приносили утешения.

Соблюдать траур выпало моему отцу как заместителю. На следующее утро в четверть восьмого и затем каждое утро на протяжении года я слышал, как защелкивалась дверь, и Мортимер Симмондс, человек, не замеченный в религиозном рвении, шел в синагогу, чтобы прочесть *кадиш* по человеку, которого он видел всего один раз, по неизвестной его жене и маленьким детям и неведомо скольким безымянным другим. Я ходил с ним по воскресеньям и молча читал *кадиш* по доктору Штейнеру и ирландцу Кевину,

о которых больше некому было скорбеть. Довидл отказывался даже войти в синагогу, даже в праздничные дни, потому что молитва означала бы, что он признает возможность надежды — а он принцип надежды похоронил.

Открывание дверей, закрывание дверей дробили мои ночи и нарушали сон. Утренний выход отца в синагогу был последним в ночной череде щелканий, стуков, шорохов и сливов бачка, начинавшихся вскоре после полуночи, когда Флорри запирала входную дверь после свидания с одним из демобилизованных кавалеров. За быстрым цоканьем ее высоких каблуков — шелест ног в чулках по линолеуму, утвердительный щелк пружинного язычка в двери и скрип кроватных пружин. По моим светящимся часам ей требовалось двенадцать минут, чтобы освободиться от блистательной оболочки и с блаженным мурлыканьем погрузиться на перину. Через несколько минут слышался тихий скрип половиц и ее уступчивой дверной ручки. Кто-то в тапках приходил к ней с визитом.

Поначалу я почти надеялся, что это отец ищет плотских утех, давно утраченных в браке. Но Мортимер Симмондс был слишком правильным человеком, чтобы украдкой утолять половую

потребность со служанкой, да и шаг был легче, чем у него. А значит, это Довидл самоуверенно проскальзывал в ее гостеприимные объятия.

И сначала я радовался этому, думая, что кто-то развеет его горе, разгладит хоть немного морщины на его бледном лбу. Я лежал, прислушиваясь к каждому звуку, и пытался вообразить картину их совокупления, но, кроме литературных метонимий, мне не от чего было отправляться. Еще годы оставались мне до собственной инициации, и мои представления об этом были до невинности неточными. Но ни зависти к Довидлу, ни животной ревности я не испытывал, а только сильный прилив сочувствия.

Скоро это чувство сменилось чем-то более черным — мрачным страхом, что он переходит еще одну черту, уходя от меня туда, где мне с ним не быть. Ослабление наших уз, крошащееся наше единство лишали меня сна.

Его визиты к Флорри были нерегулярными — то каждую ночь, то через неделю. Я просыпался как будто бы от щелчка дверной защелки, и оказывалось, что это дождь стучит по стеклу, а в доме — коматозная тишина. Довидл ничего не говорил. Эта сторона его жизни была закрыта от меня, я боялся неосторожным словом отдалить его еще

больше, мной овладели тревога и раздражение. Я навалился было на «киткаты», обратившись к инфантильному утешению, но из-за дефицита молока «Раунтриз» вынужденно заменила млечную усладу на простой шоколад в бледных синих обертках. С отвращением я навсегда отказался от батончиков.

Какао, ромашковый чай, таблетки, украденные с материнской тумбочки, не помогали мне уснуть. Я лежал на спине, призывая забвение, а между тем прислушивался, не раздастся ли до-диезный скрип несмазанных дверных петель и безголосый гостеприимный шепот.

Однажды летом, в четыре часа утра я услышал, как закрылась входная дверь, а потом шаги на лестнице. Эти звуки не совпадали ни с одним из привычных. Я схватил крикетную биту и выбежал навстречу ворам. И встретил Довидла в давно висевшем без дела синагогальном костюме — он шел к своей комнате.

— Где ты был? — прошептал я.

— В городе. Ходил подышать воздухом.

— Куда?

— В Вест-Энд. Хочешь со мной?

— Когда?

— Завтра ночью, если хочешь.

Я не мог согласиться. Раньше бы я без раздумий принял участие в любой его сумасбродной затее, но теперь отгородился от него забором подозрений. Чего он от меня хочет? Что ему понадобилось? Чтобы я был ему прикрытием? Или позвал меня из жалости? Он был уже гораздо старше меня — и по опыту, и с виду. Может, он ходит в такие места, куда меня не пустят.

Через несколько дней по дороге в школу он повторил предложение.

— Мотл, я правда хочу, чтобы ты пошел. Мне нужны твои глаза и твои уши, твои аналитические способности.

— А куда ты идешь-то?

— Пойдем, увидишь.

Ночью, как только родители погасили свет в спальне, Довидл открыл мою дверь.

— Костюм и шляпу. Пошли, — приказал он.

Через минуту мы были на улице и бежали к последнему автобусу, номер тринадцать, поехали по Бейкер-стрит, через Оксфорд-Сёркус, вокруг Пикадилли-Сёркус, на убогую окраину Сохо, там выскочили и пошли на юг. Довидл сразу закурил сигарету — впервые при мне. Я вдыхал его дым и старался выглядеть беззаботным. Ковент-Гарден выпускал последних зрителей, и уже разворачи-

вался рядом пахучий ночной рынок. С горами фруктов и овощей подъезжали крытые брезентом фургоны. Пьянящий воздух прорезали возгласы, звучавшие, наверное, во времена Чосера. Грузчики подтаскивали для осмотра зеленщикам в шляпах и аскетического вида рестораторам пятидесятикилограммовые мешки с картофелем и яблоками. При карточной системе хорошая еда ценилась дороже рубинов, и можно было лишь гадать, сколько ее перехватывали спекулянты, прежде чем она распределялась.

— Видишь вон того в кафе? — спросил Довидл, показав на человека в шляпе, коричневом пальто и в очках с тонкой оправой, читавшего завтрашнюю «Таймс». — Это сыщик Казначейства, всю ночь пьет кофе и не говорит ни слова. Ловит спекулянтов — в основном спиртным и сигаретами.

Палатки с чаем и грязные кафе были горошинами света на темном фоне. Показывались и исчезали в тени низкорослые люди с острыми чертами. Рестораны выбрасывали пьяных и веселых в раскрытые зевы ворчащих таксомоторов. Совсем беспомощных выгружали на тротуар, они сидели на бордюрах и фальшиво напевали песенки, начатые еще в закрывшемся пабе. Тротуар украшали лужицы рвоты вперемешку с капуст-

ными листьями и автобусными билетами. Тут же толклись напудренные старые тетки — проститутки со стойбища на Пикадилли, объяснил Довидл, — в надежде заполучить запоздалого клиента или хотя бы побитое яблоко в подарок. По пешеходным переулкам ездили полисмены на велосипедах, сопровождаемые призывами: «Эй, Билл, не хочешь отдохнуть?» Рынок набухал ящиками и вековыми ругательствами. Меня ошеломили эти зрелища и запахи, но у Довидла были более важные планы.

Он повел меня мимо полицейского отделения на Боу-стрит, по переулку и вниз по лестнице к тяжелой подвальной двери, открывшейся на его троекратный стук. Дым внутри был такой густой, что я почти ничего не разглядел. Когда глаза перестали слезиться, я увидел перед собой нечто такое, о чем читал в романах Патрика Гамильтона[50] и Грэма Грина, но никогда не думал посетить: подпольный игорный клуб, логово мерзости и порока.

Довидл чувствовал себя здесь как дома. Он

---

[50] Примечания: 50

Патрик Гамильтон (1904–1962) — английский романист и драматург. Его романы посвящены жизни непарадного Лондона между мировыми войнами. Известность ему принесли пьесы «Газовый свет» и «Веревка», впоследствии экранизированные.

чмокнул гардеробщицу — в губы при этом, — заказал бокал шампанского «и лимонад для моего друга, трезвенника» и обменял пачечку пятифунтовых бумажек на фишки разных цветов. Откуда у него взялось столько денег?

Он подошел к столу, обитому зеленым сукном, сел и жестом показал банкиру сдать ему две карты.

— Ваш молодой друг будет играть, мистер Дэвид? — спросил банкир.

— Не такой уж молодой, Тони, — сказал Довидл. — Он пока поучится.

Название их игры я узнал в шестом классе — «очко». Здесь ее называли «блэкджек». Цель — набрать двадцать одно очко, лучше всего — двумя картами, картинкой или десяткой и тузом, — «натуральный блэкджек». Если у тебя карта плохая, блефуешь — пусть противник подумает, что хорошая, возьмет еще одну и получит больше двадцати одного — «перебор». Я считал, что это воровская игра. Если у игрока и банкира одинаковая сумма, к примеру девятнадцать, — выиграл банкир. Игра устроена в пользу человека с колодой. Зачем играть?

Однако Довидл выигрывал. Горка его фишек росла так быстро, что я выстроил второй столбик,

а потом и третий.

— Ушлый у тебя товарищ, — с пижонским выговором произнес подвыпивший сосед справа.

— И талантливый, — ответил я.

— Пойдем, — сказал Довидл, шлепнув большую зеленую фишку банкиру. — Надоело мне это. Займемся серьезной игрой.

Мы прошли по запятнанному красному ковру к рулетке и протиснулись к столу, окруженному мужчинами в смокингах и женщинами в платьях из тафты. Довидл раскидал цветные кружочки по числам, как будто в случайном порядке. Он почти не обращал внимания на шарик, на вертящееся колесо, на слова крупье: «faites vos jeux, messieurs»[51]. Я подумал, как это французский, язык любви, стал жаргоном случайности? Когда шарик остановился в ложбинке, крупье серебряной лопаткой сгреб проигравшие фишки и заплатил выигравшим. Довидл едва ли все это замечал, он по-приятельски болтал с соседом и его дорогостоящей спутницей, время от времени пропуская игру, и я на досуге мог наблюдать за «контингентом» этого сомнительного заведения. Это была странная смесь привилегированной

---

[51] Примечания: 51
Делайте вашу игру, господа (*фр.*).

публики и ист-эндской бандитни: одни убивают время, с других станется и натурально убить. Я никогда не видел таких франтоватых мужчин и таких роскошно наряженных девиц.

Из-за однообразия процедуры и пустой болтовни у меня заныл крестец. Не чувствовал я в воздухе напряжения, о каком читал у Грина и Гамильтона, а только желание найти занятие получше. И удивлялся, что такой тонкий и одаренный человек, как Довидл, может убивать ночи на такое монотонное дело. Скука сменилась беспокойством.

— А если нагрянет полиция? — спросил я тихо, с легкой дрожью в голосе.

— Не нагрянет. — Он засмеялся. — О синих позаботились.

Откуда он, школьник, мог об этом узнать?

Через час примерно он встал, зевнул, потянулся и пошел к решетке возле двери, чтобы обменять свои фишки на деньги — за рулеткой его горсть удвоилась. Он щедро дал на чай кассиру, а потом и гардеробщице — с долгим поцелуем, мне даже показалось, французским.

— Хочешь в другой клуб? — спросил он, когда наши головы поднялись над уровнем земли и мы вдохнули сырой ночной воздух.

Я посмотрел на часы. Было три часа ночи, и я совсем увял.

— Ничего, — сказал Довидл. — Как-нибудь в другой раз.

Мы зашли в «Старый чайник» выпить кофе и съесть булку с маслом и завязали шутливый разговор с двумя усталыми проститутками, гревшимися чаем после дождя.

— Время есть, сынок? — шмыгая носом, спросила одна, по имени Мэвис.

— Для тебя, красавица, сколько угодно, — сказал Довидл и ухмыльнулся.

— Дам тебе настоящий урок, — со смешком сказала другая.

— За сверхурочные — время-то позднее? — сострил Довидл. Где он научился с ними болтать?

Он остановил такси на Пикадилли, и мы поехали в Сент-Джонс-Вуд. Это был самый темный час самой яркой ночи в моей полузатворнической жизни. Мы с Довидлом снова были вместе, но я не мог насладиться новым единством, не воззвав к его рассудку.

— Довидл, с чего ты начал играть? — спросил я.

— Парень из школы позвал меня с собой, — уклончиво ответил он.

— А где ты взял деньги на игру?

— Дали одни люди.

— Почему они тебе дали?

— Увидели, что я выигрываю, и попросили ставить за них. У меня система, Мотл, на основе простой теории вероятностей. Как-нибудь объясню. В общем, кажется, действует. Половину выигрыша оставляю себе, другую отдаю синдикату.

— Безотказных систем не бывает.

— Попробуй мою, — сказал он строго, с убежденностью.

Метод его, насколько я мог понять, основывался на свободе игрока от правил, обязательных для самого заведения. В блэкджеке при равенстве очков выигрывает банкир. Но у тебя, сказал Довидл, есть гораздо больше преимуществ. Ты точно знаешь, что сделает банкир, поскольку он связан правилами заведения.

— Я знаю его ограничения, — сказал Довидл, — а он не представляет себе, как я сыграю. Это как каденция в концерте. Дирижер и оркестр точно следуют композиторским нотам, а я, солист, могу что угодно сделать, когда доходит до каденции в каждой части. Они предугадать не могут — могут только ждать, чтобы я вернул их в игру.

— Как это получается в картах?

— Если банкир получил от тринадцати до пятнадцати, он обязан взять еще карту. А это, с большой вероятностью, будет перебор, потому что в колоде из пятидесяти двух карт двадцать стоят девять очков или больше. Уже с тринадцатью брать еще одну — безумие, но, по правилам, он должен. Я же с тринадцатью волен брать или не брать. Чаще я брать не буду, буду блефовать. Иногда, чтобы запутать банкира, возьму еще одну. В среднем три игры из пяти я выигрываю.

— А в рулетку?

— Ставить на красное или черное — бессмысленно. Пятьдесят на пятьдесят — ставка дурака. Я играю на пять номеров со случайными вариациями.

— Как это?

— Три номера у меня на этот вечер постоянные, остальные меняются в определенных пределах. Сочетание фиксированных и переменных скрывает математический метод, и крупье думает, что я из тех, кто играет на авось.

— И получается?

— Чаще да, чем нет.

— А если метод подведет?

— Он не подводит, — холодно ответил Довидл.

Захлопнулся ставень, отсек меня от его доверительности. Почувствовав мое огорчение, Довидл поспешил меня ободрить. Он улыбнулся, ущипнул меня за бритую щеку и сказал:

— Да не волнуйся ты. Я на большие деньги не играю. Я не игроман и ни во что такое не встряну, с чем не могу справиться.

— Так зачем тогда вообще?

Он остановил шофера на Эбби-роуд, оставив ему сдачу с десятишиллинговой бумажки. Последнюю сотню метров до дома мы прошли пешком, тихо переговариваясь.

— Я люблю деньги, — задумчиво сказал Довидл, когда мы свернули на нашу спящую улицу. — Деньги и азарт. Ты, наверное, сам почувствовал, как замираешь, когда крутится колесо и сотня фунтов бежит за шариком.

— Не скажу, что меня проняло.

— Когда в это влез и у тебя есть верный секретный метод, каждая сдача карт или поворот колеса диктуют твою судьбу: верно или нет, жизнь или смерть. Кровь бежит быстрей по жилам, аорта грозит лопнуть, а лицо у тебя совершенно спокойное, улыбаешься. Это великая иллюзия. Выиграл, проиграл — ничем себя не выдашь. Это триумф воли в шопенгауэровском смысле: че-

ловека над ситуацией, индивидуума над массой человечества.

— Претенциозная ерунда — вот что это, — буркнул я.

— Ну и отбирать у них деньги приятно. — Он ухмыльнулся.

Под этим напыщенным философствованием, я чувствовал, есть зерно отчаянной правды. Чтобы уйти от кошмаров утраты и вины, ему нужно было еженощно искать опасности с долей мошенничества и грязнотцы: риск и старые проститутки. Он искал противоположности тому, что должно было с ним случиться. «Не умру, но буду жить», — сказал Псалмопевец. Единственным способом отделиться ему, живому, от укоризны мертвых было постоянно напоминать себе, что он не там, где его родные. Если он чувствовал, как стучит сердце в ожидании карты, это был знак, что он еще жив, избежал уготованной ему судьбы.

— Опять же деньги, — повторил он. — Мне нужны деньги, чтобы начать заново, когда покончу со скрипкой. Я запланировал для нас новое будущее. Ты и я, идеальная команда.

Одно табу за другим, подумал я. Он так далеко отодвинул себя от любящих мертвых, что готов

теперь отвергнуть их мечты о его будущем. Меня это не очень удивило. Когда отец вернулся из Польши, игра Довидла лишилась чего-то. Она стала, на мой слух, бессвязной, ритмически предсказуемой. Ушла острота свежести, появилось что-то механическое. Он играл хорошо, но без прежнего блеска, словно не верил больше, что предназначен для мировой славы. Упражняться стал меньше, репертуар расширял ленивее. Я не исполнил свой долг перед отцом — не осведомил об охлаждении его подопечного.

Мортимер Симмондс был бы убит, узнай он об этом. Я заранее знал стандартные сетования, которые польются из его уст. Громадная потеря для музыки, застонет он. После Хейфеца не рождалось такого таланта. Удар по традиции, потерянное звено исполнительской преемственности. Растрата золотого дара.

Я, однако, был доволен. Солист замолк — это мне казалось недорогой ценой за восстановление нашего союза и меня в статусе правой руки. Ночная экскурсия вернула мне веру в него; все остальное — не важно. Довидл снова принадлежал мне, с поврежденной душой, подсевший на риск, но нуждавшийся во мне, чтобы перейти в новую стадию своего развития, — так же, как я

нуждался для этого в нем.

Я спросил:

— Какой план?

— Обсудим потом, — беспечно бросил он, когда мы поднимались в спальни. И взъерошил мне волосы.

Я лежал без сна, неумытый, наслаждаясь остаточным утешительным запахом выкопанной картошки и заморских сигар. Довидл уверил меня, что, как бы там ни сложилось, я разделю с ним его приключения.

Правда едва не открылась в день его рождения: мать постаралась отпраздновать этот день торжественно, как бы вместо отсутствующей семьи. Мы сидели в столовой за праздничным чаем с гибридной англо-еврейской едой: копченая рыба, горячие пышки, маца, яблочный штрудель, именинный торт под марципаном. Был май 1947 года, Довидлу исполнилось семнадцать лет.

Мать рассказывала о своей новой миссии — сборе денег для окруженной недругами ешивы в Палестине, которая стремится стать государством.

— В будущем месяце мы устраиваем благотворительный ужин в «Савойе», — радостно сказала

она, — перед нами выступит доктор Вейцман[52]. Будет танцевальная труппа из кибуца, а программу ведет Дэнни Кей[53]. Но я хочу предложить нечто более серьезное, чтобы подчеркнуть важность этой борьбы. Мортимер, могу я попросить Дэвида, чтобы он исполнил нигун Эрнеста Блоха[54] — он так трогательно его играет?

— Что скажешь, мой мальчик? — дружески спросил отец. — Это — частное мероприятие, около четырехсот гостей. Оно поможет разжечь аппетит у довольно влиятельных людей, которые поспособствуют твоему будущему дебюту. Вскоре мы его с тобой обсудим.

Прежде чем ответить, Довидл дожевал крекер с копченым лососем и глотнул чая.

— Я сейчас не расположен, — сказал он.

Мать нахмурилась. Когда ей перечили, она неудовольствия не скрывала. Отец посмотрел на меня вопросительно; я уставился на марципано-

---

[52] Примечания: 52

Хаим Вейцман (1874–1952) — президент Всемирной сионистской организации, затем первый президент государства Израиль (1948–1952).

[53] Примечания: 53

Дэнни Кей (1913–1987) — американский певец и актер, обладатель «Оскара» и двух «Золотых глобусов».

[54] Примечания: 54

Нигун — еврейская религиозная песня или мелодия. Здесь — часть сюиты Э. Блоха «Бааль Шем».

вый торт. Мортимер Симмондс сменил тему.

— Я подумал, Дэвид, что пора бы найти тебе приличный инструмент. Не хочешь ли сходить к Бейли?

Довидл обрадовался. Бейли в Сохо были высшими арбитрами в своем деле: они торговали лучшими скрипками с начала девятнадцатого века и консультировали лучших исполнителей и коллекционеров редчайших инструментов. Опыт передавался от отца к сыну, и они могли с первого взгляда определить подделку, отличить Антонио Страдивари от работы ученика и подлинного виртуоза от рядовых претендентов на это звание. Приобретение инструмента у Бейли было предварительным шагом в карьере солиста, не важно, большой или маленькой.

Втроем мы в назначенный час приехали на такси на Фрит-стрит.

— Хочу представить вам Эли Рапопорта, — сказал отец старшему Бейли. — Думаю, в скором времени вы о нем часто будете слышать.

Арбатнот Бейли, семидесятилетний по виду, встречал нас в рубашке с буфами и бархатном жилете — прямо диккенсовский часовщик, поставщик Ее Величества королевы Виктории. Старик оценил молодого претендента усталым

взглядом — он всех их видел, начиная с могучего Йозефа Иоахима, которому Брамс посвятил свой концерт. Бейли взял руку Довидла как бы для рукопожатия, но вместо этого положил себе на ладонь, словно дорогое украшение, желая проверить на вес и тонкость работы. Потом взял левую руку за кончики длинных гибких пальцев.

— Я скажу, Гваданьини, — наконец проворчал он, — он отзывчивее на твою руку, чем Страдивари. Сейчас, по крайней мере.

Скрипач усомнится в вердикте любого из династии Бейли не больше, чем в мерке портного, измерившего ногу в шагу.

— Пойдемте сюда, — сказал старик и провел нас в тускло освещенную комнату, где в благоговейной атмосфере жужжащие вентиляторы поддерживали постоянную температуру и влажность.

— Эта, — сказал он, вынув скрипку из футляра, подбитого зеленым сукном, — работы Джованни Баттисты Гваданьини, 1742 год, лучшей я не видел. Когда-то принадлежала великому венгру Хубаи, потом коллекционеру-любителю, который ее распустил до безобразия. Ее должен взять в руки молодой мастер, снова приручить и натренировать. Ну-ка, попробуй.

Довидл взял скрипку правой рукой, повернул, осмотрел со всех сторон, прижал подбородком и взял смычок, пробежал пальцами вверх и вниз по удлиненной шейке, словно отыскивая опорную точку, чтобы удушить или переломить гриф. И, глядя старику в глаза, стал настраивать. Воздух в комнате сделался неподвижен. Двое служащих сзади застыли на стульях. Довидл закрыл глаза. Он едва тронул пальцами струны, и чрево скрипки отозвалось согласным вздохом — такого ждет влюбленный как прелюдию к предначертанному соединению. Довидл заиграл соль-минорную партиту Баха.

Арбатнот Бейли шагнул к нему и отобрал скрипку на середине фразы.

— Не надо много, — сказал он. — В лаке трещины, ее надо привести в порядок. Но думаю, вы понравитесь друг другу. Будут сложности — мы всегда здесь и поможем. Инструмент тебе будет готов через неделю.

О деньгах речи не было. Отец оставил Бейли открытый чек, который он заполнит, закончив ремонт. Торговля скрипками зиждилась на доверии и интуиции. Гваданьини этого поколения должна была стоить, наверное, три тысячи фунтов — хватило бы на покупку дома в Хампстеде.

Но продажа была лишь началом отношений покупателя с продавцом. То, что сказал Бейли, не было пустыми словами. Если скрипка не подойдет новому владельцу, Бейли заберет ее обратно, без вопросов. Если владельцу надоест ее тон или он сам себе, Бейли примет отвергнутый инструмент, как сироту, и подыщет артисту другой, подходящий. Бейли ценили свою репутацию у скрипачей, гарантируя пожизненную консультацию и обслуживание и возможность обратиться по этому скромному адресу в Сохо с любой неисправностью и с любым огорчением.

— Когда придешь через неделю, — сказал он Довидлу, — посмотрим два-три французских смычка, которые я приберегал для подходящего человека.

— Не жалеешь, что не получил Страдивари? — спросил отец, когда мы шли по Уордор-стрит, где закипала подавленная сексуальная энергия проснувшейся британской киноиндустрии.

— Ни капли, — радостно ответил Довидл. — Страдивари могут звучать роскошно, особенно поздние, после тысяча семьсот двадцатого года. У Гваданьини есть глубина. Это был любимый инструмент Изаи, знаете?

— И многих других мастеров, — сказал отец. —

Арнольд Розе, концертмейстер Венского филармонического оркестра в течение пятидесяти шести лет, бежав от нацистов, играл на Гваданьини со своим струнным квартетом и купил еще одну для дочери, которая потом руководила струнным оркестром. Ене Хубаи, чей инструмент у тебя, играл Листу и учился у Вьетана. Считался лучшим интерпретатором Баха того времени.

— Это волшебный инструмент, — благодарно сказал Довидл. — Он будет делать все, что попрошу.

Несколько недель он не расставался со скрипкой, как мальчик с новой игрушкой, испытывал ее на быстрых группетто, в любое время звал меня аккомпанировать на рояле. Он любил ее, заворачивал в шелковую пеленку, как новорожденную, почтительно и с сожалением запирал в футляр-гробик. Дружба его с инструментом была поразительной. Скрипка спала возле его кровати. Никому не позволялось ее тронуть, даже открыть замки на футляре. Когда мать попросила показать скрипку своим дамам из комитета, он категорически отказался. «Это музыкальный инструмент, — сердито сказал он, — а не музейный экспонат».

Но прошли месяцы, и влюбленность его остыла.

Гваданьини спала рядом с ним, но соединялись они не так часто. Если не считать чувственного удовольствия от игры на прекрасном инструменте, поглощенность музыкой, всепоглощающая целеустремленность к Довидлу так и не вернулась. Музыка, которую он разучивал, мало значила для него.

— Что толку в этих хорошеньких виньетках? — ворчал он, добросовестно поработав над гайдновской сонатой. — Двести лет назад это была фоновая музыка, она и сегодня ни на что другое не годна. Не буду я пиликать такую ерунду для услаждения идиотов. Я хочу сделать в жизни кое-что получше.

Чтобы утихомирить его, я достал новую пластинку Крейслера, только что принесенную отцом. Не прочтя даже красную наклейку, я сразу поставил ее на проигрыватель и, когда она заиграла, только покачал головой от удивления. Король скрипачей уступил массовым вкусам. Он играл свою аранжировку «Парня Дэнни» — единственную песню ирландца Кевина, и нечто под названием «Четки»[55], с оркестром из незанятых музыкантов Метрополитен-оперы и Нью-Йорк-

[55] Примечания: 55
Песня американского композитора Этельберта Нивена (1862–1901).

ского филармонического.

— Манная каша для безмозглого мещанства, — был приговор Довидла (хотя пьеса мне понравилась). — Чтобы я такое играл, ты не услышишь.

О своем отступничестве он объявил в день совершеннолетия. В мае 1948 года ему исполнилось восемнадцать лет. Было праздничное чаепитие, резали пирог, который Флорри испекла с таким количеством яиц, какое нельзя было добыть законным образом, и тут Довидл взорвал свою бомбу, сбивши все наши жизни с пути.

— Я думаю, что поеду на войну.

— Эдвин! Нет! — выдохнула мать и прижала ко рту салфетку.

Я не понял, расслышал ли ее отец.

В ту неделю было объявлено о создании независимого еврейского государства Израиль, и семь арабских государств напали на новую страну с целью ее уничтожить. Фирма «Маркс и Спенсер» превратила свою головную контору на Бейкер-стрит в центр поставки вооружений, и сотни британских евреев откликнулись на призыв к оружию. Для многих это было осуществлением мессианской мечты, концом двухтысячелетнего изгнания. Другие стремились избыть мучительную память о геноциде, основав еврейскую

твердыню. «Никогда больше» — был их девиз.

И я поддакнул:

— Я тоже.

— Не сейчас, — резко сказал отец, — если хотите, чтоб от вас была польза. Сейчас вы будете просто пушечным мясом. Поступите в университет, научитесь чему-нибудь и тогда, если хотите строить новый Иерусалим, стройте, вооружившись знаниями — они будут до зарезу нужны, когда кончится война за независимость.

— Но люди там нужны сейчас, — сказал Довидл. — Во всех газетах пишут, что евреев сомнут.

— Не «Дейли телеграф» и не «Ньюз кроникл», — поправил отец, — а у них там самые лучшие корреспонденты. Послушай меня, Дэвид. Ты не для того родился с талантливой головой и талантливыми руками, чтобы пролить кровь в песок пустыни. Не этого хотел твой отец, и я дал ему обещание.

— Никто не спрашивал, есть ли у моих сестер таланты, когда нацисты их убивали.

На этом празднование закончилось. Довидл встал из-за стола, я опрокинул чашку и увидел, что Флорри плачет, вытирая стол под мрачным взглядом моей матери. Я так и не узнал, всерьез

ли Довидл собирался на войну. Об этом плане больше не заговаривали. Война на Ближнем Востоке вместе с Холокостом, музыкальным будущим и ночным скрипом половиц были убраны и заперты в семейном чулане — пока семья не развалилась под грузом невысказанного.

Первой ушла Флорри. Деревенский румянец ее увядал вместе с ее пылом. С приближением тридцатилетия округлая ее фигура раздалась и осела, поиски любви приносили все меньше отдачи. Однажды в воскресенье, в час чая, Флорри ввела в гостиную маленького жизнерадостного мужчину — я узнал в нем одного из ее прежних ухажеров — авиационных механиков. Они с Дереком женятся, объявила Флорри. Они отправятся в Австралию с государственной миграционной субсидией, десять фунтов на человека. Мать, со значением посмотрев на ее живот, поздравила обоих, пренебрегла требуемым уведомлением за месяц и отпустила их с приличным чеком. Флорри собралась и уехала на следующий день. Перед дверью она крепко обняла меня, Довидла поцеловала в губы и лила крупные слезы в гремучем фургоне Дерека, когда он, стреляя глушителем, отъезжал от дома. Такой мы увидели ее в последний раз.

Дом будто опустел без Флорри; она обещала писать, но так и не написала. Может быть, нашла свое счастье с преданным механиком в полупустой Австралии и заедала на берегу свои печали индейкой в знойное Рождество, запивала чаем. А может, жизни за псевдогемпширской живой изгородью только и хотелось ей, чуждой мукам искусства. Уход ее ощущался как видовое отторжение. Он заставил меня задуматься: то, что ценим мы, не достояние ли образованного класса только и не стоит ничего для непосвященных? Не пощечина ли это отцовской вере в универсальную возвышающую силу искусства? Если Флорри могла уйти от этого всего, даже не оглянувшись, может, оно вообще не в счет? И мы восхищались новым платьем короля? Для наследника королевства Симмондса мысль была тревожной, но и расторжение — обоюдным. Флорри объявила, что наша роль в ее жизни была эпизодической, однако и сама оказалась заменимой. Через неделю ее место заняла «приходящая» ирландка, а после нее — череда ямаек. Даже имен их у меня в памяти не осталось.

Пора и нам было уезжать. Летом Довидл и я поступили в университет с оценками из самых высших в стране, как нам было сказано. Освобож-

дены от воинской повинности — я как астматик, Довидл как поляк. И отправились в Кембридж: Довидл в Тринити-колледж на физику, я на историю в Сент-Джонс. Большинство первокурсников отслужили в армии, на четыре-пять лет старше нас, закаленные в боях. Были и девушки, немного, нацеленные на карьеру или на ранний брак. И у нас своя цель: как можно быстрее получить докторскую степень. Довидл с математикой и физикой поступит на израильский секретный атомный завод в Реховоте, я со степенью по истории и языкам пойду в разведку или на дипломатическую службу — подслащивать пряниками его взрывчатый кнут, — партнеры, как и прежде.

В Еврейское общество пришел с лекцией атташе нового израильского посольства — бронзовый от загара, с расстегнутым воротом, являя собой образец Нового Еврея — вооруженного, светловолосого, бесстрашного. Он прочел подборку приторных новых стихов на иврите — никакого сравнения с псалмами — и без стеснения вербовал работников на лето в свой кибуц в Галилее. Мы с Довидлом обменялись высокомерными улыбками.

— Спаси нас от крестьянских поэтов, — прошептал он.

— Пойте Господу песнь новую, — прожужжал я, — хвала Ему в коммуне ревностных.

Мы шли в ногу в университете, но соприкасались нечасто. Насколько я знал, он был поглощен науками. Иногда мы не виделись по полмесяца, но я по-прежнему твердо верил в него. Как-то вечером в пятницу я пошел в синагогу на Томпсонс-Лейн, поесть горячего и поболтать с людьми, и по дороге пытался вспомнить, когда в последний раз видел Довидла. На обеде его не было, но после ужина, когда я в компании шел домой, он, как по волшебству, появился из переулка и позвал меня к себе на кофе. Большой двор Тринити освещала полная луна и оранжевые окна студентов, занимавшихся или отдыхавших. Пить кофе мы не пошли, а под руку ходили по соседнему двору, Невилс-Корту, глядели на голубоватые галактики и спорили о Медведицах — где Малая, а где Большая.

— Обожаю это место, — с чувством сказал он.

— Но не захочешь ведь прожить жизнь в этом месте, где никто не взрослеет?

— А почему нет? — задумчиво сказал он. — Здесь безопасно и, бывает, тепло. Убежище.

— От чего?

— Ну… ты понимаешь… — неопределенно про-

тянул он.

Я не понимал, но не мог в этом сознаться. Наверное, он имел в виду игорные дела и проституток, чувство вины от того, что жив, страшные сны. Я был озабочен темой своей диссертации и не очень заинтересовался его эскапистской фантазией. Мне хотелось утвердиться в независимости своего ума. У него не было права вторгаться в мои мысли вот так, ни с того ни с сего. Я был его другом, а не агентом — пока еще, во всяком случае. Не обязан я погружаться в его проблемы по первому требованию.

Надо ли было отнестись к его словам с полным вниманием? Заставить его высказаться подробнее? Помочь ему одолеть приступ неуверенности? Упущение мучило меня многие бессонные годы.

В конце первого курса мы оба получили исследовательские гранты, и глава Сент-Джонса за бокалом сухого хереса сказал, что мне выделена стипендия. Я, наверное, зарделся от удовольствия. Пока мои бывшие одноклассники занимались шагистикой и экономили продовольственные купоны, чтобы купить дешевой выпивки, я приобщился к ученому миру и сакраментальным благам преподавательской столовой. Это был билет в привилегированную жизнь. Я мог соста-

вить себе имя как ученый, стать авторитетом по какому-нибудь периоду истории, между делом передавая знания благодарным поколениям подмастерий. Но меня не соблазнит оранжевое подмигивание колледжа, пока Довидл, получивший подобное предложение, не даст своего согласия.

— Ну, что ты думаешь? — спросил я.

— Спешить некуда, — лениво произнес он. — У нас в запасе года два до этого тяжкого дела — принимать решение.

— Увязаешь в «Детском часе»?

— В нем есть свои прелести. — Довидл подмигнул с намеком, что удостоен благосклонности какой-то ученой девицы из Гертон-колледжа. Так или иначе, он расстался со звездными соблазнами без моего вмешательства.

В остальном ничто не изменилось: я оставался хвостом его кометы и последую туда, где ему предстоит блеснуть. Вдвоем мы померимся силами с миром, как он меня и заверял. Поэтому за неделю до Рождества 1949 года, когда я, вернувшись домой на Бленхейм-Террас, услышал, что он играет Баха со страстью, какой не слышно было с окончания войны, меня охватило беспокойство.

— Что происходит? — спросил я, ввалившись

в его комнату.

— Взялся за скрипку. — Он ухмыльнулся.

— Это я слышу. С чего вдруг?

— Деньги понадобились. — Он криво положил Гваданьини в футляр и лихо закурил сигарету из экзотической пачки.

— У тебя неприятности? — спросил я с дрожью в голосе.

— Не такие, чтоб не мог справиться.

— То есть?

— Пара неудачных ночей за рулеткой. То ли неправильно рассчитал метод, то ли там мудрили с колесом. Не могу понять. Один раз я подумал, что мне в стакан чего-то подмешали — я не мог сосредоточиться. Может, кто-то решил, что я слишком много выигрываю.

— Сколько?

— Ну, четыре тысячи у меня заначены. Но я должен мальтийским ребятам шесть, и процент зверский — пятьдесят процентов в месяц. Пока что ведут себя сносно, но испытывать их терпение не хочется. Время от времени даю им тысчонку, как будто снова стал выигрывать, — а там или скрипкой заработаю пару косых, или метод мой в рулетке опять заработает.

Словечки его встревожили меня не меньше,

чем сама ситуация. Кто эти мальтийцы и как он может небрежно бросаться «косыми», которых хватило бы на гоночный автомобиль? Я почувствовал себя посторонним, непосвященным. Неприглядная сторона его вырисовывалась зловеще.

— Ты можешь выпутаться из этого.

— Как? — фыркнул он.

— Уезжай в Израиль. Там тебя мальтийцы не достанут.

— Да брось, — сказал он. — Исключено. Последнее, что там нужно, — кормить еще одного скрипача. И очень пригожусь им как новый Эйнштейн, если с простой теорией вероятностей не могу управиться против жульнического колеса. Нет, возвращаюсь к музыке, и надо, чтобы ты помог мне побыстрее разобрать партитуры. Сибелиуса никогда не пробовал?

Он еще ни разу не посмотрел мне в глаза, и лицо у него было не бледное, а подозрительно серое.

— Это еще не все, да? — не отставал я.

Он кашлянул два раза и опять закурил турецкую сигарету.

— Говори.

— На прошлой неделе, — сказал он, — мне пришлось поехать в лабораторию в Эпсоме, по-

смотреть эксперимент с расщеплением ядер. По дороге обратно я вспомнил, что где-то поблизости, в польской больнице Йозеф Хассид лежит. Я не видел его с тех пор, как нас познакомили у Флеша, и подумал, может, ему приятно будет увидеть дружеское лицо, ландсмана[56]? Отец его, я слышал, умер, несчастный, от рака. Я нашел больницу и попросил пустить к нему. Блондинка в приемной нехорошо на меня посмотрела, но несколько слов на уличном польском открыли мне дорогу в палату. Не знаю, чего я ожидал. Я запомнил хмурого молодого гения, все было при нем: тепло и ясность, легкость и серьезность, техническое мастерство и самообладание — все, что надо для чертовой скрипки. Он мог бы переиграть Крейслера, Хейфеца, Иду, любого из нас. Потом он сошел с ума, избил отца и угодил в этот застенок, где его пользуют электрошоком и инсулиновой комой до завтрака. Он сидел, Мотл, в белой палате с решеткой на окне. Да — еще распятие на стенке, и больше не на чем остановить глаз. Качался взад-вперед, бормотал какие-то слоги, и его волшебные пальцы без толку теребили пуговицу пижамы. Я поздоровался с ним по-английски,

[56] Примечания: 56
Соотечественника, земляка (*идиш*).

потом по-польски, он не ответил. Меня предупредили, чтобы я не заговаривал о его отце и о родственниках, погибших в Польше. Блондинка из приемной стояла в дверях, готовая позвать на помощь, если он на меня набросится. Я не знал, что делать. Просто хотел зарегистрироваться в его сознании — сколько осталось от него после лечения шоками. На тумбочке лежала дешевая губная гармошка, вроде той, что была у бродяги… Кевина, так вроде его звали? Я протянул к ней руку. Он схватил ее сам, поднес ко рту и стал вдыхать и выдыхать через нее — бессмысленные звуки. Я вспомнил его пластинку с мелодией Дворжака и внутренне заплакал о потерянном.

Я хотел как-то достучаться до него. Попробовал на идише, маме лошн — материнском языке. Сказал: «Йосл, ви гейтс»[57]. Он посмотрел на меня как кролик, попавший ногой в силок. И прошептал: «Ароис фин данет, саконос нефошос» — уходи отсюда, твоя жизнь в опасности.

«Фин вус?» — я спросил — от чего? Но он больше ничего не сказал, только качался и подвывал на гармошке. Он не намного старше нас, Мотл, ему двадцать шесть от силы, но сгорбился, как старик

---

[57] Примечания: 57
Как дела?

в инвалидном кресле, дожидающийся конца.

Что мне было делать? Я поцеловал его в лоб, пообещал прийти еще и побежал, как угорелый, вниз по лестнице, по двору и за ворота — и только тут вспомнил, что забыл у него в палате папку с записями об эксперименте. Вернулся, папка уже ждала меня в приемной, а Йозефа слышно не было — увезли на терапию, сказала блондинка. Я спросил: «Есть надежда на выздоровление?» — «Если верите в чудеса». Она улыбнулась. «Такая тяжелая шизофрения редко поддается лечению».

Я обозлился, я чуть ее не ударил. Для нее он был просто еще одной жертвой войны, а для меня — образцом, лучшего я не знал. И я подумал: может, он оракул, послан, чтобы спасти меня от страшной ошибки? Я был в опасности. Израиль, рулетка, Кембридж — не для этого я предназначен. Я должен выйти на сцену и играть на скрипке. Вот мое место и Йозефа. Ему, может быть, уже не удастся, и я должен сделать это за него, чтобы оправдать нашу жизнь. Я был словно в трансе, стоял перед выходом, пока блондинка не спросила, хочу ли я поговорить с врачом, — и тут, поверишь, я просто удрал.

Вернулся в Кембридж, пошел в комнату отдыха, сел в кресло и попробовал собраться с мыслями.

На столе лежала «Мьюзикал таймс». Я прочел, что Жинетт Неве погибла — ты слышал? Она летела из Парижа в турне по Америке, и самолет разбился на Азорах, погибли все. С ней был ее брат, аккомпаниатор, ее Страдивари сгорела. Жинетт было тридцать лет, по виду — девушка, и играла как ангел.

Сначала Йозеф, теперь Жинетт. Как будто на нас, учениках Флеша, проклятье — или наказание. С религией я, может, и расстался, но суеверие — совсем другое дело. Вряд ли есть на свете артист, который не носит талисмана, не готовится к выходу на сцену по заведенному ритуалу, не посылает к черту в ответ на «ни пуха, ни пера». Мы живем в страхе перед черными кошками — и тут одна посмотрела мне прямо в глаза.

Ночью я пошел пройтись по Большому двору и немного выпил у себя в комнате. Мне пришло в голову, что теперь, когда Неве нет и Хассид болен, у меня шансов больше. Намного легче добиться успеха такому бездельнику, как я. И я постараюсь не только для себя, но и за Йозефа, и за Жинетт, и за других невезучих, которых уже никогда не услышат. В общем, я сел за стол, написал моему наставнику записку, что у меня нервное истощение, на следующее утро сел в первый поезд

и приехал домой — и теперь потеть, уставные шесть часов в день.

Он взял скрипку, автоматически настроил ее и сыграл страницу, кажется, сольной сонаты Изаи.

— Ну, а ты что думаешь? — спросил он, возвращая меня на мое место.

Что я думал? В порядке опасений: а что теперь будет со мной? Как я вписываюсь в его пересмотренное будущее? Что дальше? Но в этот раз даже низкий эгоизм не мог испортить радости от музыки, лившейся из-под его смычка — лившейся словно из природного источника. За Изаи последовал Брамс, за Брамсом — строгий Барток. Каждую пьесу он сыграл так, как будто был ее владельцем, как будто ни один другой музыкант не имел права ее исполнять. Его власть над музыкой стала непререкаемой.

— Ты с отцом говорил? — спросил я.

— Мы разговариваем, — сказал Довидл.

Вечером Мортимер Симмондс изложил блестящий план сотворения нового Крейслера. Потенциал скрипача теперь очевиден, стратегия безупречна. На этот проект были брошены все семейные ресурсы. Мать срочно отвезла Довидла экипироваться на Сэвил-Роу; одна из ее беженок, стилистка, соорудила ему прическу a la Крейслер.

Родственница из больницы св. Марии занялась его диетой. Дядя Кеннет отполировал ему зубы до блеска. Личный секретарь Главного раввина учил его, как вести себя с прессой. Джеймс Агет упомянул о нем на собрании Кружка критиков, Сесил Битон[58] сделал его фотографию. Ничто не было оставлено на волю случая, каждая деталь его явления миру была с энтузиазмом продумана нами.

Альберт Саммонс, чью исполнительскую карьеру оборвала болезнь Паркинсона, предложил Довидлу репетировать с оркестром Королевского музыкального колледжа в любое время, когда ему понадобится. «Мы потеряли столько хороших музыкантов за последние годы, — пожаловался он. — Старика Флеша и молодую Неве; Губермана и Фойермана; Буша и Куленкампфа; старика Розе и его дочь Альму; меня и ослабевшего Крейслера — его последняя пластинка ни к черту не годна. Этот парень даст благословенному искусству целительного пинка под зад, задаст уровень».

Ноябрьским утром 1950 года я прочел в газете о смерти Йозефа Хассида. Там говорилось, что он умер в Эпсоме во время операции на мозге.

---

[58] Примечания: 58

Сесил Битон (1904–1980) — знаменитый английский фотограф, дизайнер интерьеров, художник по костюмам, мемуарист.

Я подумал: кто дал право врачам лезть в этот дивный, необратимо повредившийся механизм? Вышло так, что на этой неделе Довидлу надо было приехать в Кембридж и объяснить наставникам, что возвращается от наук к искусству. Тринити гордился своими возрожденческими традициями, там были очарованы этой переменой в нем и пообещали держать для него место на обоих факультетах. Ночью мы прогуливались по Большому двору, и я сказал ему о смерти Йозефа. Он стиснул зубы, но сожаления о покойном и любовь к нему выразил кратко и ровным голосом. Ничто не могло теперь нарушить его сосредоточенность.

— Вот что надо помнить об артистах, — сказал отец как-то вечером в конторе после Рождества, — никогда не доверяй их первой реакции. Какая ни была бы новость, первая их реакция будет самозащитной. Маска остается, и ты видишь только то, что тебе позволяют увидеть. Эти создания носят свои эмоции в скрипичном футляре, чтобы честно открыть их только публике со сцены. В частной жизни они включают и выключают эмоцию по желанию. Не верь артисту, когда он плачет или объясняется в любви. Все это — большое представление. К расстройству их

относись как к детским скандалам. Утешь, потом наставляй. Прояви сочувствие, когда требуется, и твердость, когда оно иссякнет. Подари им иллюзию твоей любви к ним, но только не любовь, иначе они тебя проглотят.

На него редко нападало такое исповедальное настроение. Мы задержались последними в конторе, дел уже не было, я налил нам бренди, имея в виду развязать его язык. Отец затянулся кубинской сигарой — это баловство он редко себе позволял.

— Иногда, — размышлял импресарио Симмондс, — мы заставляем артистов делать то, чего они на самом деле не хотят. Мы говорим, что это для их же пользы, а на самом деле — для нашей. Они возмущаются нами, говорят, что мы их эксплуатируем. Но если даже то, что мы заставляем их делать, служит исключительно нашей коммерческой выгоде, — а такое бывает нечасто, — в итоге польза все равно будет для них. Потому что, если мы не будем на них зарабатывать, а переключим свою энергию на торговлю недвижимостью или ресторанную сеть, они живенько вернутся обратно на улицу. Наша алчность им нужна как топливо для их честолюбия. Никогда не морочь себя мыслью, что занимаешься этой

работой из любви к музыке. Время от времени ты должен получать от нее элементарное удовольствие, чисто личное, иначе потеряешь интерес, лишишься стимула и вылетишь в трубу.

Он выпустил голубую завитушку карибского дыма с ароматом комбинированных мужских удовольствий. И продолжал без моей просьбы:

— Им неприятно видеть, что мы зарабатываем деньги и получаем удовольствие. — Отец вздохнул. — В глаза они называют нас братьями. А за спиной — мы паразиты. Артисты создают нам плохую репутацию, но где они будут без импресарио, Мартин? Я скажу тебе где. В провинциальной ратуше, в дождливую ноябрьскую среду, с мыслью сбежать без бисов, чтобы успеть на последний прямой поезд в Лондон. И запомни, Мартин: чем неприглядней мы выглядим, тем ярче сверкают они. Такова наша роль, и она не постыдная. Мы таскаем дрова для их пламени. Они поручают нам черную работу, и мы принимаем ее с достоинством и чувством долга, в надежде, что они, избавленные от повседневных нужд, способны улучшить жизнь людям. Вот и все тут. Поэтому держи дистанцию, мой мальчик, такой тебе мой совет. Не верь музыканту, когда он говорит о любви, не верь импресарио, когда

он говорит о деньгах.

Я выслушал его наставление с легкой тревогой, зная, что с Довидлом мы нарушили все правила. Мы подарили артисту беззаветную любовь, приняв его в семью. Теперь и репутацию нашу мы поставили в зависимость от его успеха. Если Довидл нас подведет, имя Симмондса серьезно пострадает.

Но я не мог высказать отцу свои опасения. Мы оба слишком далеко зашли, попались, как лопухи, на «три листика» — талант, личность, историческая справедливость. Я был влюблен в артиста. Отец поверил в него, оставив все сомнения. Настолько уверен он был в художественной непреложности и моральной настоятельности нашего проекта, что впервые в жизни не застраховал концерт на случай отмены — обычная предосторожность, она спасла бы от финансового краха, когда исчез Довидл. Это показатель благородства моего отца — он ни разу не посетовал на себя за это нелепое безрассудство и столь не свойственное ему упущение.

В день концерта, когда Довидл не вернулся к обеду, я стал звонить дирижеру Фройденстайну, композитору Кузнецову, концертмейстеру оркестра, президенту Королевского Генделевского

общества — всем, кто мог задержать или отвлечь его после репетиции. Администратор оркестра, приехавший в контору, чтобы обсудить расходы, сказал, что видел, как скрипач выходил из Роял-Альберт-Холла вскоре после полудня с футляром в руке и переходил дорогу к Гайд-парку. Он был без зонта, а начинался дождь. Глупый администратор не сообразил предложить подвезти.

В пять я пошел домой и позвонил в полицию. Они сказали, еще рано сообщать о пропаже человека. Я проверил пять больниц: ни в одну не поступал человек с такими приметами. Я поискал игорный клуб в телефонном справочнике; в справочнике его не было. Я слышал, как плачет мать у себя в комнате. По другую сторону коридора одевался отец, молча, как на казнь. При любом другом срыве концерта он жонглировал бы телефонами, подыскивая замену. Но в этом случае никакой суррогат не годился. Он разжег такой интерес у публики, что ничем другим его нельзя было насытить. Люди приехали со всего света, чтобы услышать нового Крейслера; Менухин или Стерн их не устроят.

Дороги к Альберт-Холлу были забиты транспортом. Когда мы добрались наконец, я сказал администратору зала, чтобы он вывесил объяв-

ления об отмене концерта «ввиду нездоровья солиста». Отец вышел к собиравшейся публике. Он принес глубокие извинения и сказал, что в кассе вернут деньги. За сценой он заплатил оркестру, дирижеру и одиннадцать процентов комиссии Альберт-Холлу. За один вечер мы потеряли десять тысяч фунтов — больше годовой прибыли, но деньги были наименьшей из наших потерь. Мортимер Симмондс лишился доброго имени. Он поставил все, что было, на лошадь, которая не явилась на старт; его суждениям больше нельзя доверять. Друзья избегали смотреть ему в глаза. Только пресса его преследовала, как воробьи телегу лабазника.

Наутро фиаско было на первых полосах. А на внутренних обозреватели скрещивали шпаги домыслов. Одни полагали, что дебютанта сразил страх сцены, внезапная потеря памяти, другие, вслед за полицией, подозревали похищение или разбойное нападение. На следующее утро заголовки омрачились: «По всей стране объявлены поиски виртуоза», «Загадка исчезнувшего скрипача». Фотографии Эли Рапопорта были расклеены на вокзалах, в воздушных и морских портах, на ноги поднят Интерпол, и объявлена награда за информацию, способствующую

благополучному возвращению музыканта. Антикваров просили обратить внимание, не всплывет ли скрипка Гваданьини 1742 года «стоимостью свыше трех тысяч фунтов».

Официально скрипка принадлежала Мортимеру Симмондсу, но она его нисколько не занимала. Больше, чем финансовые потери, больше, чем профессиональный провал, его мучила неизвестность, страх за Довидла.

— Это моя вина, — стонал он, — я оставил его без надлежащего присмотра. Я обещал его отцу, что буду заботиться о мальчике, и заботился, как мог, но не хотел удушать его надзором. Артиста нельзя держать на поводке.

Отец не спрашивал, что я думаю, он понимал, как мне тяжело, и знал, что я извещу его, если выяснится что-нибудь существенное. Я не смел обсуждать с ним Довидла: слишком много нарушений пришлось бы вспомнить — и его, и моих. Атмосфера завтраков на Бленхейм-Террас стала холодной и печальной.

Я отправился в полицию помочь в расследовании, развивавшемся в двух направлениях. Либо разыскиваемый, как выразился инспектор Морган, «ударился в бега», в каковом случае вмешательства полиции не требуется, если только

мы не хотим предъявить обвинение в краже скрипки. Либо кто-то схватил вашего парня на улице, запихнул в машину и «плохо с ним обошелся» или хочет получить выкуп. Я, его друг, не знаю ли, кто мог иметь зуб на мистера Рапопорта или, может быть, на мою семью?

Инспектор был добродушный грузный мужчина; его методические вопросы намекали на интерес, а может быть, и склонность к физическому насилию. Под его бюрократическим валлийским выговором угадывалось желание оставить свою пометку на чужом теле. Мы сидели друг против друга за металлическим столом в полуподвальной комнате полицейского отделения на Боу-стрит, а прямо за углом был тот клуб, который я посетил с Довидлом. Этот инспектор, подумал я, не из тех ли полицейских, которым платят, чтобы они смотрели сквозь пальцы на такие заведения? На меня он смотрел сквозь классовую призму и видел (так я чувствовал) благополучного отпрыска, кембриджского умника, и надо его маленько осадить. Глядя ему в глаза, я ответил, в общем, правдиво, что не знаю человека, который не любил бы моего друга, тем более — желал бы ему зла. Что до похищения — он нищий беженец. Его опекун, мой отец, человек

обеспеченный, но не богатый. Ожидать от него крупного выкупа бессмысленно.

Инспектор угостил меня дешевой «Вудбайн», закурил сам и попросил рассказать — в третий раз, — как появился Довидл в нашем доме, о его развитии и образовании, о его привычках и отношениях с людьми.

— Что он делает в свободное время? Имеются ли сомнительные друзья, о которых мне следует знать? Неприятности по женской части?

— Любит вечером выйти в город, — признал я. — Ну, выпить, повеселиться. Постоянной девушки, насколько знаю, у него никогда не было. Он слишком был занят учебой и музыкой.

Я лгал без угрызений совести. Меньше всего мне нужно было, чтобы полиция копалась в его ночной жизни, протекавшей совсем рядом. Если бы Морган узнал о его игорных привычках и его низкопробной компании, он мог донести это до бульварной прессы, отрезав ему всякую возможность — если была такая — благополучно и достойно вернуться домой. Живого или мертвого, я должен был его защитить. Если он в беде, я не сомневался, что он найдет способ связаться со мной. А тут мы просто толкли воду в ступе.

— Вы уверены, сэр, что ничего больше не име-

ете сообщить?

Морган угрожающе постучал пальцем по пуленепробиваемому портсигару. Я его не убедил.

— Инспектор, поймите, пожалуйста, — сказал я с выражением интеллигентной искренности, — мои родители и я, мы просто в отчаянии. Ума не приложим, кто пожелал бы ему зла: разве какой-нибудь сумасшедший или коммунистический агент из его бывшей страны — но это абсурд, правда? Если на него не напали, это могло быть нервное расстройство — его нельзя исключать, учитывая ужасную судьбу его семьи. Мы очень любим мистера Рапопорта. Мои родители и я только одного хотим — чтобы он вернулся целым и невредимым. Может быть, увеличить вознаграждение, как вы думаете? Пожалуйста, помогите нам, инспектор. Может быть, он где-то бродит, не помня себя или забыв, где дом.

Слезы мои были вполне искренними, и на этом беседа закончилась.

— Если ничего нового не всплывет, мы еще раз поговорим в конце недели, — проворчал инспектор, провожая меня к выходу. — А если еще что-то выяснится, вы знаете, где меня найти.

Я вернулся на такси в контору, где отец рассеянно перекладывал бумаги, а два констебля

в коридоре опрашивали по очереди наших сотрудников. Телефонные звонки прекратились. Кто-то открыл окно. Перед моим столом стояла тетя Мейбл.

— На два слова, мальчик, — сказала она.

— Конечно, тетя.

— С глазу на глаз.

Единственным укромным местом в конторе без перегородок был дамский туалет с журчащими бачками и фаянсовыми умывальниками. Тетя Мейбл вошла, проверила кабинки, поманила меня и загородила полутораметровым своим телом крашеную дубовую дверь.

— Ну, ты объяснишь мне, наконец, что у вас происходит?

— Ты о чем, тетя?

— Твой отец оплакивает там разрушение Иерусалима, мать твоя дома сходит с ума — я пришла и услышала от нее: «Эдвин пропал». Почему она назвала его Эдвином? У него, что — какая-то особая власть над ней? Я тебе говорила — никогда не верила этому поляку. Ты, Мартин, единственный в этой компании с головой на плечах, так скажи мне, пока я не взорвалась, что за чертовщина у вас творится?

— Ты все знаешь, тетя, больше нечего расска-

зать. Довидл не явился на концерт. Мы не знаем почему, и полиция не знает. Объявили розыск по всей стране.

— Газеты я сама умею читать, — сказала она ледяным голосом. — Спрашиваю тебя еще раз, вежливо и спокойно, и если будешь опять плести ерунду, буду макать ученой башкой в толчок, пока не заговоришь по-человечески. Это моя семья страдает. Вайолет и Мортимер не могут понять, за что им эта напасть, а ты просто нахальный молокосос с университетским шарфиком. А ну-ка, выкладывай все как есть, и тетя Мейбл подумает, что можно сделать. Какие-то темные делишки, о которых мне надо знать? Паршивая компания?

Увиливать не было смысла. Я рассказал о рулетке, о синдикате, о долге мальтийцам.

— Так и думала. — Она фыркнула. — Мой Кеннет тоже ночная птица. Сказал мне, что видел твоего друга в клубе «Динь-динь», но сам так насосался, что мог обознаться. Теперь мы знаем.

— Что ты хочешь делать, тетя?

— Первым делом отправлю Вайолет полечить нервы. Потом поговорю кое с какими приятелями из прежних времен, кое с какими мордами на Боллс-Понд-роуд, они в курсе разных дел. Если твой парень влип с мальтийцами или, не

знаю там, с турками, они мне его вытащат, если еще цел. Если сам затеял какой-то шахер-махер, немного поучат перед тем, как отправить домой. Сиди, жди, ничего не делай, пока не дам знать. Ты понял?

Кто-то повернул ручку и хотел открыть дверь.

— Пошел вон! — рявкнула Мейбл. — У нас тут дело. — Коричневый костюм от «Питера Робинсона»[59] и мятая шляпа придавали ее облику что-то львиное. Она протянула руку в перчатке и мягко взяла меня за горло. — Штум[60], слышишь?

— Да, тетя.

Розалин оставила на моем столе записку с просьбой позвонить ей домой.

— Прости, Мартин, — прошептала она. — Я могу чем-нибудь помочь? Отвечать на звонки? Приготовить чаю?

— Сейчас, боюсь, ничем, — уныло ответил я. — Нам уже почти не звонят, а чай тут, стынет.

— Но позвони, если что-нибудь понадобится, — сказала она.

Мать была под присмотром, отец принял успокоительное, и ночью я поехал на автобусе к

---

[59] Примечания: 59
Универмаг модной женской одежды.

[60] Примечания: 60
Помалкивай (*идиш*); слово вошло в криминальный жаргон.

Ковент-Гардену, прозондировать придонный мир Довидла. Человек из Казначейства попивал чай все из той же чашки, проститутки все так же зазывали клиентов. К моему облегчению, никто не узнал Довидла на фотографиях в газетных киосках. Люди приходили на рынок и уходили, скрывая личность в той мере, в какой им было желательно, и вопросов тут не задавали. Здесь он был мистером Дэвидом, а не Эли Рапопортом.

— Он красивый мальчик, — сказала морщинистая проститутка Ава, убрав в карман мою фунтовую бумажку. — С ним ничего не случилось?

— Нет, насколько я знаю, — ответил я. — Ты, случайно, не слышала — у него тут не было ссоры с мальтийцами?

— С этими сявками? — закричала ее подруга Джин. — Моль! Они только болтать здоровы, понимаешь меня? И здесь бы они не посмели пристать. Мистера Дэвида на рынке любят, настоящий молодой джентльмен.

— Не такой молодой, чтоб не порадовать девушку, — хихикнула Ава, и я подумал, какой радости он хотел от этих заезженных перекладных. Вспомнился изуродованный труп в разбомбленном доме, и я подумал, много ли я знаю о темных

наклонностях Довидла.

Я поскорей расстался с проститутками и спустился в «Динь-динь» — ни два крупье, ни гардеробщица, ни один из четырех игроков, ни торговец фруктами с улицы не слышали ни о каких неприятностях. Гардеробщица, с которой он тогда крепко поцеловался, велела передать ему привет. Уходя, я оглянулся — не следят ли за мной.

До сих пор я вытягивал только пустышки, но немного успокоился через несколько дней, когда к нам домой пришли двое низкорослых людей в шляпах от Борсалино и спросили мистера Дэвида. Я заверил их, что мистер Дэвид в отъезде, и был рад, что он, по крайней мере, ускользнул от этих темных кредиторов.

— Пусто, — объявила Мейбл все в том же туалете. — Ни гу-гу. Мои приятели потолковали с твоими мальтийцами, и одному из них предстоит ремонтировать нос за государственный счет; но ни один мой разбойник не унюхал и следов его помета — жаль.

— Так что нам делать, тетя?

— Попробуем привести в порядок твоих родителей — вот что. А про парня забудь, он хлопот не стоит. Не понимаю, почему Вайолет так убивает-

ся, когда есть свой хороший сын. Ты молодцом, Март. Преодолеем это вместе, как семья. Ты понял?

Инспектор Морган еще раз пригласил меня на беседу, третью уже.

— Вот приблизительно чего мы достигли, — он показал на голый металлический стол. — Три недели прошло, так?

Это было сказано тоном допроса, и я напрягся. В комнату вошли два констебля и стали по сторонам от двери, сцепив руки за спиной. Стены были недавно покрашены моющейся оливковой краской, еще пахшей клеем.

— Мистер Симмондс, — сказал инспектор иронически вежливым тоном, — когда пропадает молодой человек, мы не исключаем возможности, что будет записка о выкупе или найдется труп. В первую неделю мы предполагаем, что он забыл дорогу домой или встретил симпатичную молодую даму и махнул в Брайтон. Во вторую неделю мы проверяем более или менее организованные части уголовного мира. Если ничего подозрительного не обнаружено, в третью неделю мы начинаем думать, что кто-то водит нас за нос, утаивая некоторые детали, — понимаете ход моей мысли? Мистер Симмондс, вы уверены, что

рассказали мне абсолютно все, что мне требуется знать?

Я заметил, что два здоровенных констебля у двери расцепили руки. Морган присунулся ко мне лицом, противно дохнув табаком и дешевой пищей. Спина у меня вспотела, как стена в погребе.

— Итак, мистер Симмондс, что вам известно о прошлогоднем ограблении еврейской синагоги на Эбби-роуд?

— Что? — изумился я. Сердце у меня забилось.

— Кто-то темной ночью, — инспектор повысил голос, — проник туда и вынес антикварное серебро, застрахованное на десять тысяч фунтов. Этот кто-то хорошо знал здание и обошел сигнализацию. Не мог это быть ваш друг, мистер Симмондс? Он должен был знать эту синагогу, будучи еврейским джентльменом, как и вы. Создавал себе загашник для побега из дома? В дело вас не посвящал, э?

— Это абсурд, — перебил я.

— Нет ли у него потайного местечка, куда бы вы нас отвели и где нашли бы пропавшее серебро и, может, даже самого парня?

— Что за ерунда! — ответил я с праведным гневом. — Последний раз мистер Рапопорт пере-

ступил порог синагоги восемь лет назад, в день своей бар мицвы. Сигнализацию, как мне известно, установили в позапрошлом году. И вообще, он никогда не осквернил бы священных предметов. Потому хотя бы, что он очень суеверен. И это самое лучшее, что пришло вам в голову, инспектор, — что свои евреи поработали?

— Просто теория, — мягко сказал инспектор и встал, чтобы проводить меня.

Я был рассержен — но и смущен. Семя сомнения упало на почву, подготовленную несчастьем. Я помчался домой проверить ящик стола, где Довидл держал добычу из разбомбленных домов: нет ли там серебряных колокольчиков и серебряных указок для чтения Торы. Нет, ничего, только пустяки, собранные во время блица. Сейчас, без него, они казались никчемными. Когда стемнело, я поехал на велосипеде к нашему секретному дуплу на Элджин-авеню. И там ничего. Но подозрение — стойкая сыпь. Я не мог очистить память о друге от этого зуда.

Я расширил зону поисков на весь мир. Я написал своему кембриджскому наставнику, отправившемуся в Перт преподавать в университете Западной Австралии, и попросил его найти в телефонной книге Дерека и Флоренс Митчелл, а

если не удастся, то в метрической книге — ребенка Митчеллов, рожденного в последнем квартале 1948 года, когда должен был подойти срок для Флорри. Что, если Довидл, потерявший всех родственников, заметил беременность Флорри и захотел соединиться со своим ребенком (если ребенок от него) в Австралии? Версия неправдоподобная, но стоило и ее исключить.

Весть из Перта пришла даже более мрачная, чем я опасался. За обозначенный период детей по фамилии Митчелл не рождалось, ответил мой друг, но в октябре 1948 года умерла от заражения крови после выкидыша Флоренс Митчелл. Ее муж Дерек женился снова и работает на заправочной станции в Аделаиде — нужен ли мне его адрес?

Я прибег к помощи израильского атташе-стихотворца, откликнувшегося горячо и энергично. Но ни иммиграционная служба в Тель-Авиве, ни полиция не видели человека, отвечавшего описанию Довидла. Не оправдалась моя надежда, что он уехал на родину предков.

Я написал знакомому отца в варшавском министерстве и не получил ответа. Еще раз написал — с тем же результатом. Впоследствии я узнал, что беднягу схватили и убили в ходе сталинской кампании против «безродных космополитов», то

есть — евреев.

Я запросил визу в Польшу, но получил отказ. Я постарался, чтобы пресса не забывала об этом деле, надеясь, что где-нибудь он обнаружится, но газетчики не отличаются постоянством. Их вниманием завладела новая история: зловещее бегство в Москву двух высокопоставленных дипломатов, Гая Берджеса и Дональда Маклейна. «В вашей истории есть политическая составляющая?» — спросил меня один редактор отдела новостей.

Через три месяца позвонил инспектор и сказал, что закрывает дело. Мать проводила больше времени в нервной лечебнице, чем дома, а отец безучастно смотрел на растущую гору корреспонденции. Теперь, наконец, я мог свободно горевать несколько месяцев — до смерти отца.

Последнюю организованную попытку отыскать следы Довидла я сделал вскоре после смерти отца, когда стал главой семьи. Через одного из тех сомнительных «попутчиков», которые толклись на периферии концертной жизни и время от времени писали рецензии в «Дейли уоркере», я связался с влиятельным лицом в польском посольстве — не послом, а офицером разведки, числившимся торговым атташе. Поляки остро

нуждались в твердой валюте. А мне нужны были дешевые партитуры. Я заказал у них двести тысяч экземпляров партитур в бумажной обложке, по шесть пенсов штука — в общей сложности за пять тысяч фунтов, заплатив их со швейцарского счета, без лишнего шума заведенного отцом до войны.

Это был самый рискованный поступок в моей жизни. В то время британским подданным запрещалось тратить за границей больше пятидесяти фунтов без разрешения казначейства. Зарубежные счета должны были находиться под его надзором. Если моя сделка откроется, меня ожидает тюремное заключение сроком до трех лет. Как всякое незаконное предприятие, оно делало меня уязвимым для шантажа. Мой польский контрагент знал, что я нарушаю валютное законодательство; он мог выдать меня британским властям или потребовать услуг для Польши. Я понимал размеры риска и предпринял шаги, чтобы их ограничить. Подмазал польского атташе — тысяча фунтов произвела действие.

Партитуры обошлись мне в ничтожную часть того, что стоили бы в Соединенном Королевстве при типографских ценах, раздутых профсоюзами. Они окупились мгновенно и продолжали прода-

ваться десятилетиями. Это дало мне конкурентное преимущество в музыкальных продажах, длившееся столько, сколько длился спрос на мой продукт. Сорок лет спустя у меня оставалась еще сотня этих польских партитур с фальшивым штампом «Отпечатано в Британской империи», продававшихся по шесть фунтов экземпляр, в двести сорок раз дороже себестоимости, включая взятки.

Варшавские коммунисты были в восторге от гешефта — настолько, что перевели моего партнера с повышением в Берлин, столицу грязных сделок во времена холодной войны. Но Яцек в кожаном пиджаке уехал не раньше, чем выполнил свое обязательство по сделке: выхлопотал мне поездку в Варшаву якобы для того, чтобы подписать контракт и поднять бокал за мир во всем мире, а на самом деле — увидеть своими глазами, что осталось от мира Довидла, и не найдется ли сам он где-нибудь там.

Чтобы облегчить совесть и прикрыть тылы, я сказал в министерстве иностранных дел, что еду за железный занавес искать музыкальные таланты и предложил свои услуги в качестве связного и курьера. В те дни частные поездки между Лондоном и Варшавой были редкостью. По закону о

государственной тайне я не вправе рассказывать об оперативных деталях моей поездки.

Варшава встретила меня пронизывающим мартовским морозом, но с востока тянуло оттепелью. Неделю назад умер Сталин; поляки в тысячных очередях принудительно шли засвидетельствовать почтение, но в воздухе повеяло свежим. Мне разрешили самому выбрать места, которые хочу посетить, вместо строго заданного маршрута. За одним исключением — Треблинки, поскольку «там нечего видеть».

Да и в Варшаве, где мой гид прилежно бубнил официальную историю, увидеть удалось не намного больше. Немцы согнали триста пятьдесят тысяч здешних евреев в гетто. Потом натолкали туда эвакуированных из других городов и сокращали население при помощи голода, рабского труда и беспорядочных расстрелов. В Треблинку и Майданек начали отправлять в 1941 году. Летом 1942 года триста десять тысяч мужчин, женщин и детей согнали на центральный Umschlagplatz[61] и увезли в скотских вагонах. Отчаянное еврейское восстание в апреле 1943 года было безжалостно подавлено, и гетто сравняли с землей. В конце

[61] Примечания: 61
Перевалочный пункт (*нем.*).

1944 года, когда восстали поляки, были снесены артиллерией другие районы города. Гид не сообщил, правда, что, пока немцы громили поляков, русские стояли в предместьях Варшавы — так же, как поляки стояли в стороне, когда немцы расправлялись с восставшими евреями.

На развалинах Советы воздвигли центр Варшавы в виде пролетарских казарм — километры и километры одинаковых бетонных домов с широкими проспектами для свободного въезда танков. Я слышал завывание ветра между этих бетонных зубьев, нечеловеческий звук.

Варшава, которую я увидел в марте 1953 года, была плоским городом без лица, и он будто отражался в курносых сероглазых лицах однородно светловолосого населения. Где черные кудри, широкие ноздри, пухлые губы и глубоко посаженные глаза сородичей Довидла? Стали дымом и растаяли как дым.

Мы сделали перерыв в экскурсии и зашли в золоченый отель «Бристоль» выпить чаю с лимоном и яблочным штруделем под сахарной пудрой. Гид сообщил, что в номере прямо у меня над головой любитель оперы, фашистский генерал-губернатор Ганс Франк, шуршащим пером на фирменной бумаге отеля подписал оконча-

тельный приговор варшавским евреям. С того тошнотно-сладкого дня я в рот не мог взять яблочный штрудель.

Я вернулся домой. Лондон, еще щербатый от бомбежек, был охвачен предкоронационной лихорадкой. Новая королева вступала на престол, рождая розовые мечты о втором Елизаветинском веке. Тетя Мейбл купила телевизор, чтобы смотреть церемонию, и там, на диване, во время исполнения «Священника Садока»[62] меня представили Мертл, которую тетя и мать выбрали мне как подходящую спутницу жизни.

— Хорошо воспитана в семье Медола, и хорошая голова на плечах, — сказала мать с ненадолго ожившим взглядом.

— Красивые зубы, — подтвердил дядя Кеннет.

— И бедра, — намекнула тетя Мейбл.

Несмотря на эти панегирики, мне понравилась Мертл — до этого я видел ее только в день бар мицвы. Она смотрела мне в глаза и не жеманилась, не кокетничала, как разные Бекки и Ханны, которых мне подсовывали на ужинах с танцами. Имя у нее было редкое — библейское растение[63],

---

[62] Примечания: 62
Британский коронационный гимн, музыка Г. Ф. Генделя.

[63] Примечания: 63
Myrtle — мирт (*англ.*).

которым машут в праздник кущей.

— Мама пробовала посадить их у нас в саду, — она улыбнулась, — не прижились.

Я завернул комплимент:

— Душистые и упругие.

— Мне бы такие качества.

— Лучше, чем иссоп, — не растерялся я.

— Из моих знакомых, — сказала она при втором нашем свидании, — ты первый еврейский мужчина такого роста, что можешь смотреть мне в глаза и при этом осмысленно разговаривать. Остальные либо коротенькие и умные, либо большие и гроб[64], мясницкие дети. Тети в ужасе, что я выйду за гоя.

— Позволь предложить тебе разумную альтернативу.

— Я получала более романтические предложения.

— Могу встать на колено, — сказал я, — но тогда не смогу смотреть тебе в глаза.

— Займи девушке голову, — посоветовала тетя Мейбл. — Она тебе подходит и будет верна тебе до смерти, но благотворительных дел и утренних экскурсий по магазинам, как у твоей бедной

---

[64] Примечания: 64
Грубый, невоспитанный (*идиш*).

матери, ей будет мало. Ей нужно настоящее дело. Она бегло говорит на трех языках. Она могла бы заняться переводом книг в свободное время.

— Моя жена работать для прокорма не будет, — оскорбился я в духе того времени.

— Давай-ка без высокопарностей, мальчик, — предупредила Мейбл, — пока тебя не вздрючили. Я слишком тебя люблю, чтобы отчитывать. Просто помни, что она не клуша. Ты должен найти ей какое-то занятие.

Что у нас точно было общего с Мертл — это пробоина в центре нашего существа. Она, единственный ребенок, недавно потеряла мать, умершую от рака. Я потерял отца и друга. Она знала о моих несчастьях из газет, я о ее — от тети Мейбл. Добавить к этому было нечего, хотя один долгий вечер вдвоем мы провели на Бленхейм-Террас, рассказывая друг другу о своих горестях. Под конец его я почувствовал себя как Отелло с Дездемоной: она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним[65].

Мы решили возвести любовь над нашими руинами. Впоследствии психоаналитик откроет мне глаза на то, что я сделал Мертл своей из-

---

[65] Примечания: 65
Пер. П. Вейнберга.

бранницей из-за начальной согласной ее имени: М — Мама, Мейбл, Мертл, Мартин (нарциссизм) — возвращает меня к младенческому ego, припавшему к материнскому молочному соску. Я ушел от него, помирая от смеха. Теории получше я читал в журнале «Мир женщин». Притом грудь у Мертл была не по-матерински маленькая, даже после родов.

Мы поженились в синагоге Бевис-Маркс, самой старой и красивой синагоге в Британии, по сефардскому обряду, которым руководил *Хахам* — Ученый или Мудрый. Шесть мальчиков-певчих со свечами пятились перед невестой: «…выходит, как жених из брачного чертога своего, — вспомнился распевный голос старика Джеффриса, — радуется, как исполин, пробежать поприще»[66].

Обед соответственно проходил в «Дорчестере», с оркестром Джо Лосса и всеми онерами. Доедая суп, я заметил незанятое место за почетным столом и спросил:

— Это для кого?

Мать пересчитала головы и объявила, что место — лишнее.

---

[66] Примечания: 66
Псалом 18:6.

— Я попрошу убрать прибор, — сказала она.

— Нет, оставь, — почти крикнул я. Мне представилось, как входит Довидл, в черном галстуке и фраке, элегантный, как всегда, и занимает законное место рядом со мной. Видение настолько выбило меня из колеи, что ночью я ни уснуть не смог, ни выполнить свой супружеский долг.

Мертл отнеслась к этому кротко и с пониманием, и мы, к взаимному удовлетворению соединились в ту же неделю, но в более спокойной обстановке Французской Ривьеры. Она вернулась оттуда беременной нашим первенцем. Мы назвали его Мортимером в честь отца. Через восемнадцать месяцев родился второй сын, но у Мертл было кровотечение при родах, и нам посоветовали на этом остановиться. Мать попросила назвать мальчика Эдвином — «мне всегда нравилось это имя». Сошлись на Эдгаре, менее архаическом и скрытно — только для меня — содержащем «д» — Довидл и «р» — Рапопорт, память об исчезнувшем. А твердое «г» посередине — это я в окружении двух фантомных согласных.

Красивая молодая чета поселилась в родительском доме на Бленхейм-Террас, преобразовала большую полуподвальную кухню и буфетную в бассейн с зоной отдыха, выходящей в сад, пере-

планированный и затуманивший воспоминания об одиноком детстве. И начались будни нормальной еврейской буржуазной семьи — все ужасы задвинуты в прошлое. Я занимался своим урезанным бизнесом, а Мертл блистала в бридже. Наша духовная составляющая соответствовала англо-еврейским нормам. Мы ходили в синагогу восемь-десять раз в год: по религиозным праздникам, по случаю семейных юбилеев и для поминальных молитв.

Подрессоренное семейным бытом, мое существование окольцовано было ровным отчаянием, простиравшимся за горизонт будущего. Жизнь моя без Друга была, наверное, похожа на жизнь царицы после убийства Распутина — пустым ожиданием неизбежного. Я спал беспокойно, просыпаясь от видений Довидла, мертвого в канаве, пленного в тюремной камере, умалишенного, как Йозеф Хассид или король Лир, скитающийся по эпсомским пустошам. Мертл вставала с нашей постели и вела меня, дрожащего, в комнату к детям, будила маленького Эдгара, чтобы я обнял ребенка, и успокоился, и задышал ровно и без страха, как он. Череда психотерапевтов, к которым я обращался на протяжении многих лет, так и не смогла наладить мне сон.

Утром я шел в ужатую контору Симмондсов, диктовал письма незаменимой мисс Уинтер, потом обедал, принимал клиентов, переодевался к вечернему концерту или опере — обычно мы ходили вместе с Мертл. Я постоянно был занят терапевтическим самоуспокоением, отгоняя мысли от цезуры в существовании — исчезновении Довидла и последующего краха. Думать об этом — лезть в немыслимое.

В частности, вариантом, не подлежавшим осмыслению, был тот, что его исчезновение из моей жизни солнечным майским утром было таким же мистическим, как его появление у нас. Я не мог — ни тогда, ни после — признать возможность намеренного отступничества, хотя догадка эта сидела занозой в подсознании и выхолащивала мои немногие и неблизкие отношения с людьми. Ни работа, ни семья не могли закрыть брешь в центре моего существа, и мне приходилось искать случайных утешений, правда, редко и всегда — вне города. Жизнь моя была жалостной сонатой, построенной на неразрешенном аккорде, бесконечно напряженном и безрадостном. Как человек с ампутированной конечностью, я постоянно ощущал ее наличие и боль лишения. Дня не проходило, чтобы я не

вспомнил о былой своей целости.

Поэтому в банкетном зале ратуши безымянного городка, в вечер, когда прекратилась другая война и звенели, грозя расплескаться, бокалы, и парень со смычком остановил время, я с ужасом осознал, что неизбежно должен сделать следующий шаг. Я понял, что должен идти по слуху, но не в силах был подумать, к чему, после стольких лет, может привести меня этот опасный путь.

6
Время закольцевалось

Ужин, как и ожидалось, отвратительный. Чтобы не связываться с извечной передержанной говядиной в бурой подливе и не обжигаться о раскаленную тарелку, заказал нечто вегетарианское — и выбор мой, как вижу, разделила очаровательная Сандра Адамс. Вместо нормальной еды мне приносят шалаш из салата-латука, никлого и изнемогшего, который подпирают четыре ломтика невнятного чеддера. Довершают пиршество крекеры и простецкая салатная заправка. Вполне ожидаемо для английской глубинки, ведь приверженцы мясопуста здесь упорно считаются чудиками и мазохистами. И это оскорбление из зелени нам презрительно сервируют на прекраснейшем веджвудском фарфоре.

Из донегольского хрусталя мы пьем бургундское 1986 года розлива, моложавое, кисловатое.

— До дна! — наставляет нас Олли Адамс. — Нечасто мне перепадает ключ от подвала мэра, а у нас сегодня масса поводов отметить. В новостях передали, война к утру закончится. Ну, будем

здоровы!

Восседая во главе стола, набирающего буйство с каждым новым бокалом бургундского, ухитряюсь сохранять ясную голову и обдумывать свой дальнейший шаг. Справа от меня Фред Берроуз, уважая мою самоуглубленность, погружается в изучение образчика симмондской карманной партитуры и мурлыкает себе под нос. Олли, слева, жалуется на тэтчеровские бесчинства в сфере образования. Как бы мне улизнуть, прикинуть на внутренней шахматной доске задуманную партию и просчитать верный эндшпиль? Ворошу лежащие у тарелки судейские бюллетени, измышляя благовидный предлог отлучиться, и тут мне на выручку, по собственному почину, приходит моя бессистемная карманная фармакопея.

Такое подозрение, что патентованные лекарства предварительно прогоняются через химчистку: эффект, оказываемый ими на пищеварительную систему через сорок минут после приема, прямо-таки зримый. Выскочив за дверь и поспев в уборную в последнюю секунду, извергаю в милосердные царственные недра викторианского фаянса с голубыми прожилками ошметки сыра и бисквитов, а заодно, кажется, и ряд жизненно важных органов. Стоя на коленях над

породистым толчком, благодарно прижимаюсь взмокшим лбом к белоплиточной стене и жду, когда стихнут содрогания, а в голове понемногу вырисовывается план действий. Первым делом — развязаться с конкурсом, затем приватно встретиться с этим парнем, Питером Стемпом. А дальше как пойдет. На игру у меня есть время до конца недели. К пятнице, надо думать, я сумею раскрыть Тайну Пропавшего Виртуоза. В трудную минуту евреи всегда прибегают к иронии. Когда я ополаскиваю перед зеркалом лицо, в глазах проскакивают насмешливые искорки: Эркюль Пуаро выходит на охоту.

Выхожу, застегивая смокинг, из уборной и налетаю на поджидающую меня Сандру Адамс.

— Мистер Сим, вы меня напугали, — с упреком говорит она. — Когда вы выскочили из-за стола, на вас лица не было. Вам чем-то помочь?

— Легкое несварение, миссис Адамс, — объясняю я. — Благодарю, мне уже лучше. Наверное, это сыр так чудно́ на меня подействовал.

— Понимаю, — сочувствует она, когда мы пускаемся в обратный путь. — Со мной такое бывает. Олли любит привлекать меня к общественным мероприятиям своего отдела, но порою вот тут как скрутит, — она тычет розовым ногтем в упи-

танную талию, — что хоть бегом беги. Очень неловко, да. Не знаешь, как отговориться.

— Но вы кажетесь, — отвечаю, — такой… уверенной в себе.

— Мы научены скрывать свои слабости, не правда ли, мистер Сим? — заговорщицки говорит она; когда мы входим в судейскую, она легонько касается рукой моей спины. — Вам точно не нужен аспирин?

Качаю головой; хватит с меня лекарств. Бренди и кофе — и все будет в порядке.

Пустых бутылок на буфете уже больше, чем судей за столом; веселье бьет ключом. Стучу вилкой по отзывчивому донегольскому фужеру: пора приводить в действие первую часть моего сортирного плана.

— Коллеги, — начинаю я, — правила данного конкурса дают мне, председателю, некоторые вольности в отношении судейства. До того момента, как мы объявим результаты, у нас еще добрых полчаса, и я убежден, что мы с вами, без оглядки на время и — быстрый взгляд на Берроуза — авторитеты, сумеем прийти к общему и, надеюсь, единодушному решению.

— Правильно! — вставляет Олли.

— Конечно, проще всего было бы подсчитать

баллы на бланках и объявить победителя. Однако мне представляется, что будет лучше, если каждый вкратце пояснит свое решение. Сам я, будучи председателем, свое мнение выскажу, но от голосования воздержусь. Миссис Адамс, вас не затруднит запротоколировать комментарии? Для отчетности и во избежание недоразумений.

Сандра с готовностью кивает; Олли выглядит обескураженным: опасается опростоволоситься.

— Профессор Мерч, с вашего позволения, давайте приступим.

Бренда Мерч — раскрасневшаяся от вина незамужняя репетиторша по «фоно» и провинциальная солистка — вот-вот перевалит за пятьдесят и уже оставила надежду позади; ей с очевидностью не терпится оделить нас плодами своего тощего эмоционального опыта.

— Номер третий, Мария Ольшевская, самая блестящая пианистка из всех, что я слышала за — не скажу, какое именно, — количество лет, — разливается она. — Даже если не брать в расчет технику, которая превосходна, у нее такое трогательное, одухотворенное исполнение! Я просто покорена. Она обворожительна. Делает с публикой, что захочет. Сокровище.

— Больше ваш взгляд никто не зацепил, Брен-

да? — спрашиваю я, но седая голова с никем не приласканными кудряшками решительно отмахивается.

— Мистер Адамс? — поворачиваюсь к Олли.

— Ну, мне показался довольно любопытным этот мальчик, аль-Хак, однако я не специалист, а кроме того, меня, как и всех, впечатлила эта чудесная Ольшевская. Она вне конкуренции. Моему мальчику если что и достанется, то только утешительный приз.

— На что готов расщедриться ваш отдел? — осведомляюсь я.

— Грант сгодится? — спрашивает Олли.

— Вполне, — отвечаю. — Ваша очередь, Фред.

Тобурнский *Kapellmeister* лаконичен и голосует за Ольшевскую. К его вердикту никто не относится всерьез; Олли и вовсе ковыряется в зубах. Фред — умница и обожает музыку, но не может похвастаться ни семейными связями, ни политическими друзьями, и потому все относятся к нему (прямо как к Иоганну Себастьяну в Лейпциге, да? — с грустью сказал он мне однажды) как к муниципальному мальчику на побегушках, который обязан мчаться по первому зову и мановению руки любого начальника-невежды и заезжего епископа.

— Артур? — окликаю я.

Профессор Бринд, скрипичный мастер из Великоирландии, громогласно голосует за «бесспорный талант» — пианистку Ольшевскую.

— А скрипачи, Артур? — подначиваю этого кисломордого карлика, так и не сумевшего дорасти до зачисления в штат; он, я знаю, порушил немало перспективных карьер, начиняя юных скрипачей пустыми мечтами и бутафорскими приемчиками. — «Баском» тебя никто не зацепил?

— Да, я видел, Мартин, что тебе приглянулся тот последний паренек, но я ничего особенного в нем не услышал, — фыркает Бринд, и на этом его деятельность завершается: порция «Курвуазье» уносит его в небытие.

Наутро профессор очнется у себя дома в Манчестере и будет недоумевать, почему в нагрудном кармане его смокинга лежит чек на полсотни фунтов от Тосайдского городского совета.

— В этом пареньке Стемпе что-то есть, — миротворчески вмешивается Фред Берроуз. — Фразировка у него довольно необычная. Мне слегка резало слух, но вообще, мне кажется, за ним стоит понаблюдать. Через годик я бы снова его послушал.

— Что-то такое в Стемпе есть, что задевает за живое, — подхватывает Олли.

— Мне его игра очень понравилась, — тихо роняет Сандра Адамс.

— Чрезвычайно рад, что большинство его оценили, — резюмирую я, подгоняя их комментарии по своей мерке. — Не стану идти вразрез с коллективным вердиктом и полностью поддержу кандидатуру Марии Ольшевской на роль абсолютного победителя. Ее Шопен был вполне достойным, кроме того, она продемонстрировала умение держаться, поразительное в столь юном существе. Она прирожденная артистка. При этом я — а меня не назовешь далеким от мира струнных — уловил в манере звукоизвлечения Питера Стемпа определенную оригинальность, а именно это я и ищу в молодых исполнителях. Техническое мастерство — это, знаете ли, в наши дни нечто само собой разумеющееся. Попадающие на конкурс такого уровня играть умеют, и в массе своей играют превосходно. Что может выделить исполнителя из череды таких же крепких профессионалов? Лишь искра индивидуальности. Стемп не ослепляет виртуозностью исполнения, но его фразировка весьма своеобычна. Не стану долго разглагольствовать, тем более что

профессор Бринд уже клюет носом. Мне доводилось слышать всех крупных мастеров наших дней, начиная с Крейслера, но это довольно-таки необыкновенное рубато заставило меня навострить уши.

— Итак, что вы предлагаете? — осведомляется Олли, беззастенчиво глядя на часы.

— Сдается мне, — продолжаю гнуть свою линию, — что мальчику недостает культурного багажа. Он пробует то один прием, то другой, а почему он их использует и уместны ли они здесь — ему, похоже, невдомек. Все, что ему нужно, — расширить кругозор, овладеть тем, что у немцев зовется Bildung и что в наш век материализма, боюсь, из школ подчистую исчезло. С вашего позволения, мистер Адамс, я хотел бы сделать кое-что *extra vires*[67]. Мы вручим, как решили, Тосайдскую премию и разные утешительные призы проигравшим, но в дополнение к этому я бы хотел наградить Питера Стемпа премией «Симмондского фонда» за 1991 год и выделить ему грант в размере двух тысяч фунтов на поездку и образование.

От восторга Олли едва не теряет дар речи.

---

[67] Примечания: 67
За пределами полномочий (*лат.*).

— Невероятная щедрость с вашей стороны, мистер Симмондс, — лопочет он. — Вы даже не представляете, как люди в округе будут гордиться тем, что у них есть свой лауреат Симмондской премии, а какой будет резонанс! Никто не вернется домой с пустыми руками. Сегодня в Тосайде нет проигравших — одни победители!

— Призы надо выдать всем, — с нажимом заявляет Бренда Мерч. — Для политкорректности.

Фред Берроуз — он-то ведь не дурак — смотрит на меня озадаченно. С благостной улыбкой на устах собираю бумаги и во главе остальных судей церемониальным шагом возвращаюсь в зал Клемента Эттли.

На часах без десяти десять, новостные камеры моргают красными лампочками, и мы поднимаемся на сцену, где нас ожидают мэр и микрофон. Микрофон на месте и работает, а вот мэр вышел из строя.

— Валяйте без меня, — сдавленно шепчет Фроггатт из кресла на уровне наших подошв.

Растерявшаяся Сандра с надеждой смотрит на Олли, но тот отстраняется, и тогда она поворачивается ко мне, председателю.

Публичных выступлений я боюсь как огня, однако выхожу на середину, хватаюсь за микрофон

— и выдаю спич.

— Уважаемый лорд-мэр, дамы и господа, — легко соскакивают с языка шаблоны, — от лица всех судей возьму на себя смелость заявить, что для нас было огромной честью и удовольствием вкусить плодов нового урожая с прославленной грозди тосайдских музыкальных талантов.

— И приложиться к лучшим урожаям из коллекции мэра, — бурчит Фроггатт где-то у носков моих туфель.

— Конкурсанты всех возрастных групп, — продолжаю я, — в особенности самые юные, продемонстрировали поразительно высокий уровень подготовки. Не стану вас томить и совсем скоро объявлю имя победителя, — сдавленный «Зиндабад» со стороны пошивочного столика, — однако я не просто так сказал, что мы были потрясены. Ваша земля произвела на свет таланты, которым невозможно внимать без восторга и восхищения. И мы единогласно и единодушно сошлись на том, что было бы несправедливо отпустить хоть кого-то из сегодняшних финалистов без награды. Поэтому Отдел по делам искусств и досуга города Тосайда и моя компания «Симмондс лимитед» постановили присудить пять дополнительных призов. От Искусств и досуга одна тысяча

фунтов достается Ашутошу аль-Хаку, — нестройный «Зиндабад», — три именных стипендии от городского совета — тем, кому немного не хватило до победы, а от «Симмондского фонда» приз в две тысячи фунтов вручается Питеру Стемпу.

От аплодисментов по телу разливается приятная отрава. Так пространно выступать на публике мне не доводилось с самой бар мицвы, и я настолько вошел во вкус, что Сандре Адамс приходится толкнуть меня локтем, чтобы закруглялся, а то камеры скоро выключат.

— Дамы и господа, — финиширую я, — это не утешительные призы. Это знак нашего безусловного признания вашего безусловного таланта и труда. Что ж, я достаточно держал вас в напряжении. С радостью готов объявить, кого же ждут первая в истории тосайдская премия «Молодой музыкант года», равно как приз в пять тысяч фунтов, концерт с Тобурнским симфоническим оркестром и сольное выступление в Лондоне. Победителем, по единодушному мнению жюри, становится… Мария Ольшевская.

Еще хлопают пузырьки, хлопают пробки, чмокают поцелуи, звучит чудесная прелюдия Шопена в исполнении лауреатки, а ее папаше уже не терпится обсудить со мной ее лондонский

дебют. У него за спиной маячат Питер Стемп и его мамочка. Оделяю всех визитками и рукопожатием и ускользаю, дабы музродители с их амбициями не загасили во мне благодатного огня. Высматриваю Фроггатта, хочу поблагодарить за гостеприимство, но мэр уже отчалил к себе и отключился.

— С тех пор как от него ушла жена, его стало не узнать, — поясняет Сандра Адамс. — Переехал к дочери в Брайтон, на публике почти не появляется.

Мы с Сандрой условливаемся встретиться за завтраком в моей гостинице, чтобы обговорить детали еще одной, торжественной, церемонии награждения, и я прощаюсь с ней с чувством хорошо сделанного дела, что на моем поприще редкость. Ночь свежа, на улицах полно молодежи. Ощущая себя в безопасности — не то что в центре Лондона, — совершаю короткий марш-бросок до гостиницы. Ходьба должна бы меня успокоить, но успокоиться не выходит. Слишком близка песнь сирены. Лежа в кровати, слушаю, как стихают вопли припозднившихся гуляк, и мечтаю заснуть. После трех горошин «Корня хаммамилы», одной валерьянки и нембутала меня наконец поглощает милосердная тьма.

На завтраке Сандра появляется ровно в восемь, тютелька в тютельку; одета по-женственно-деловому. Серый ангорский свитер, плиссированная юбка, в ушах небольшие сережки, губы тронуты нейтральной помадой. Освободившись от вечернего туалета и груза ответственности, она пышет ароматом свежевымытого тела и совратительной бодростью. Пожимаем руки (приветственные поцелуи в этих краях не в ходу), садимся, и я ловлю себя на том, что мысленно раздеваю свою визави: свитер податливо скользит через гладкую, без «вавилонов», голову, с плеч падают бретельки атласной комбинации, я почти уже расстегиваю лифчик (наверняка, сугубо практичный) фирмы «Маркс энд Спенсер» — и резко возвращаюсь к действительности. Дело прежде всего. Для фантазий еще будет масса времени.

Не дожидаясь, пока я отодвину ей стул, Сандра усаживается за столик. Заказывает «Здоровый завтрак» и, указав на свою талию, с долей кокетства вздыхает:

— Заведомо проигранная битва.

— Вы точно сопротивляетесь лучше, чем Ирак, — остроумничаю я, и она хихикает.

Пока мы ждем заказ — я ограничился пустым чаем с бутербродом, — она извлекает утренние

газеты. На первой полосе «Тобурн газетт» скалит зубы триумфантка Мария Ольшевская, внутри — подробный репортаж. Награды вручались чуть не в полночь и национальной огласки, по-моему, не заслуживали, однако Сандра демонстрирует на второй полосе «Таймс» и «Телеграф» заметки строк по пять с указанием имени лауреата Симмондской премии. Получается, как только я взялся за микрофон, она взялась за телефонную трубку и обзвонила вечерние редакции ведущих лондонских широкоформаток. Предприимчивость, достойная восхищения; мне кажется, в Тосайде ей негде развернуться.

Детали повторного награждения обговариваем быстро. Якобы по сиюминутному наитию, прошу Сандру пригласить Симмондского лауреата со родители ко мне в гостиницу на приватный обед.

— Буду счастлив, если вы тоже к нам присоединитесь, — говорю я и кладу дружескую руку на ее обнаженное запястье.

— Не смогу, мистер Сим. — Она улыбается. — Я ведь числюсь в финансовом отделе, а они ужасно бесятся из-за моих отлучек. Олли только и удалось, что отпросить меня на сегодняшнее утро.

— Как поживает ваш муж? — осведомляюсь сверхкуртуазно.

— Когда я уходила, маялся похмельем, но зато награждениями был доволен как ребенок. Ни свет ни заря ему обзвонились всякие бизнесмены-азиаты, они в восторге, а их поддержка пригодится, когда он будет баллотироваться в парламент на следующих выборах.

Так вот на что у них расчет. У Олли — тщеславие, у Сандры — дела насущные.

— И хорошие у него шансы? — интересуюсь.

— Вряд ли ему удастся просочиться в ряды правящей партии в обход старых гвардейцев, — сухо отвечает она, — только я вам ничего не говорила. В том, что касается политики, Олли, в сущности, как мальчишка, который гоняет мяч во дворе и воображает, что ему суждено играть за Англию.

— А вы?

— Я? Обычная работающая мама, которая заодно хлопочет о доме и своем благоверном.

Говорит, а сама насмешливо фыркает.

— Но ведь у вас есть и другие интересы?

— Ничего грандиозного, — отвечает Сандра.

— Может, нам с вами стоит обсудить это подробнее?

— Может, в другой раз, — говорит Сандра, стряхивая крошки от мюсли с ворсистой груди. — Боже, сколько-сколько сейчас времени?

Пора мне бежать, а то не будет у вас ни награждения, ни обеда с победителем. Увидимся позже, мистер Сим. Кстати, вчера вечером вы были великолепны.

— Вы тоже не подкачали, — воркую в ответ и прошу для нас счет.

Так любовники во время первой совместной ночи предварительно распаляют друг друга комплиментами.

Обед с Питером Стемпом и его мамашей — мероприятие потруднее. Раньше имелся и мистер Стемп, но он, согласно щекотному выдоху Сандры мне на ухо, «сбежал с буфетчицей из Болтона». По Питеру сразу видно: маменькин сынок. Рукава и брючины сантиметра на полтора длиннее нужного — костюмчик явно куплен на вырост. Хотя дай его маменьке волю, вырасти ему не судьба. Миссис Стемп, кареглазая и нервная, как гончая, понемногу приходит в себя после ошеломительного приглашения пообедать, исходящего от такой выдающейся личности, как я, да еще в местночтимой «Роял Тобурн». Мне нечего надеть, отнекивается она.

— Это обычный деловой обед, миссис Стемп, — увещевает ее Сандра, после чего заталкивает застенчивую парочку в полупустой ресторан и,

махнув напоследок рукой, убегает назад к своему повседневному начальству.

Вести светские беседы мать с сыном не мастаки, и когда один из них, собравшись с духом, отваживается заговорить, другой смущенно подхватывает и завершает фразу.

— Я буду авокадо, — заявляет миссис Стемп.

— С винегретом, не с креветками, — откликается Питер. — Маме с ее желудком морепродукты нельзя.

— А ты что будешь, дорогой? — воркует мамаша.

— Что такое «Уолдорф»?..

— Салат, — подсказывает мамуля. — Питер обожает салаты.

Это заявление идет вразрез с обликом ее чада: он мясист, прыщав и явно не сдержан — ни в еде, ни в эмоциях. Для своих лет Питер высокий, под метр восемьдесят, и совершенно не знает, куда девать нескладные конечности. На протяжении всего обеда он ерзает, ковыряет угри на подбородке и аритмически пинает меня под столом. Обслуживание в «Рояле», всегда неспешное, застыло до такой степени, что приходится вызвать сомелье и поинтересоваться, не откочевал ли остальной средиземноморский персонал на зиму

в теплые края? Типичный для Англии вторник в провинции.

Миссис Стемп — «можно просто Элинор» — увядающая дамочка тридцати пяти лет. По обеим сторонам лба, там, где мышастые волосы уже начали редеть, проступают прожилки. Год-другой, и она перейдет в категорию женщин средних лет. Интересно, она вообще была когда-нибудь молодой? Элинор Стемп работает агентом по недвижимости и живет исключительно своим вундеркиндом. Все надежды на счастье и грядущее благоденствие она вложила в непрочный дар игры на скрипке — талант, который обнаружился у мальчика в четырехлетием возрасте, «сразу после того, как его отец нас бросил». Она стирает с губ следы от авокадо — словно заодно изничтожает генетический взнос бывшего супруга.

Симмондская премия — оправдание всех ее лишений, первая лепта в ее земное воздаяние. Она сияет удовлетворением, граничащим с самодовольством, но вкушать плоды успеха ей внове, и мои деликатные расспросы воспринимаются в штыки. Миссис Стемп признается: да, она немного играет на пианино, «но только чтобы помогать Питеру в занятиях и иногда аккомпанировать ему на отчетных концертах». Она не настоящий

музыкант, даже не любитель. Единственный артист в их семье — Питер, вот кто достоин всяческого внимания.

Посещает ли она симфонические концерты? Элинор качает головой.

— По вечерам я дома, слушаю, как Питер упражняется, и укладываю его спать, — говорит она и роняет с вилки пластинку тресковой плоти.

Питер, пыряющий ножом пережаренный стейк из кострeца, чуть что кидается приканчивать за нее предложения. Такое ощущение, что это не мать с сыном, а две сестры, старые девы, так долго прожившие бок о бок, что уже не могут существовать независимо друг от друга. Питер — мальчик вялого ума, а на хитреньком лбу миссис Стемп морщинковой вязью так и вычерчено: «Жертва».

За десертом из профитролей с *crème anglaise*[68] затрагиваю тему Питерова образования и деликатно объясняю, что, на мой взгляд, его необходимо расширить. Питер, признаю я, замечательный, что и говорить, однако других судей он не впечатлил. И лишь мое убеждение в его скрытом таланте принесло ему Симмондскую премию. Теперь этот дар необходимо проявить, хорошень-

---

[68] Примечания: 68
Английским кремом (*фр.*).

ко напитав искусством и идеями. Предлагаю Питеру провести год за мой счет в каком-нибудь пансионе музыкальной направленности — скажем, Четтеме под Манчестером либо лондонском Перселле. Большинство музыкантов от такого предложения подпрыгнули бы до потолка, но эти сиамцы выдали репризу «Ах что вы, нет, нет!» в абсолютно гилбертовском духе[69].

— Питеру это не понравится… — говорит миссис Стемп.

— …совсем.

— Ему будет плохо…

— …вдали от дома.

— Он не сможет нормально заниматься…

— …в незнакомом месте.

— Я не смогу его отпустить…

— …одного.

— Ему еще рано…

— …еще не готов.

— Пока нет.

И прочее в таком духе. Меня так и подмывает напомнить им без обиняков, что Симмондская премия подразумевает поездку и курс обучения,

---

[69] Примечания: 69

Уильям Швенк Гилберт (1836–1911) — английский драматург, прославился комическими операми, созданными в соавторстве с композитором Артуром Сеймуром Салливаном.

но боюсь, как бы кто из них, а то и оба, не ударились в слезы. По натуре я человек не то чтобы терпеливый. И с радостью избавился бы от этой парочки, но мне нужно кое-что разузнать у мальчишки, без этого я его не отпущу. Уже наливают кофе, а я ломаю голову над тем, как бы половчее выманить этого гадкого птенчика из гнезда, как вдруг Элинор Стемп заявляет, несколько меня удивив, что хорошо бы нам с ней обсудить будущность Питера с глазу на глаз. В интонации миссис Стемп даже сквозит заговорщицкая нотка, хотя ее глаза с темными кругами, набрякшие и настороженные, прикованы долу и не пропускают ни малейшей искорки.

Один из первейших принципов моей работы — никаких тет-а-тетов с родителями юных талантов. Только в присутствии третьей стороны, и чтобы дверь была приоткрыта. Иначе существует риск сексуального домогательства либо обвинения в нем. Инциденты настолько участились, что пришлось разработать целую этическую методу, которая бы позволяла музуправленцам взаимодействовать с ретивыми родителями без опасности угодить за решетку. Правило номер один: не заходить в лифт одному с мамашей. Правило второе: быть начеку, если папаша любит

ходить в коже. Правило третье: следить за тем, чтобы все молодые сотрудники перемещались только с сопровождением.

Встречаются, конечно, агенты, которые сами ведут сексуальную охоту на отчаявшихся артистов и их родителей, однако, насколько мне известно, обычно вектор направлен в противоположную сторону. Попав в индустрию «глянца» с ее свободными нравами, клиенты слетают с катушек — так им не терпится ощутить на своей шкуре, что они-таки прибыли в пункт назначения. Снова и снова, словно толпа монахов и монашек-расстриг, вешаются они на ни в чем не повинных импресарио. Что побуждает родителей, прежде скромных, вешаться на шею известным делягам и жуликам музыкального мира? Клубок противоборствующих мотивов и чувств — благодарности и недовольства, желания подольститься, выманить шантажом и так далее. Папаша Фрейд наверняка бы констатировал, что со стороны того, кто породил ребенка как такового, существует острое желание вступить в сексуальный союз с тем, кто порождает его успех. Все это противно и не заслуживает серьезного внимания, и все же люди из моей сферы деятельности учитывают возможные риски и, столкнувшись с тем, что в

Голливуде зовется подставой, могут винить лишь самих себя.

Так что когда Элинор Стемп заводит речь про тет-а-тет, я на всякий случай сканирую ее глаза, но похотливых поползновений не обнаруживаю. Убедив себя, что ее заунывность и мои лета — солидные гаранты благопристойности, приглашаю ее поужинать завтрашним вечером. Буду опрашивать каждого Стемпа по отдельности, пока не выведаю то, что мне необходимо.

Пока наш обед — пустая трата времени. Удается выудить только, что у Питера два преподавателя по скрипке: учитель музыки в общеобразовательной школе, снулый парень по имени Финч, играющий в оркестре у Фреда Берроуза, и — в субботу поутру — дамочка по имени Уинифред Саутгейт, та самая, которая после церемонии награждения чуть меня вусмерть не заболтала. Уинифред учила еще и малыша аль-Хака, однако не сумела наделить его даже минимальным подобием выразительности. Эти двое отпадают, должен быть кто-то еще.

— А других преподавателей у тебя нет? — упорствую я.

Питер качает головой.

— Он много слушает записи, — снова вклинива-

ется Элинор Стемп. — Особенно из старого, берет в библиотеке. Обожает Хейфеца, да, солнышко?

Наибесполезнейшее заблуждение. Каждый метящий в солисты недоиспеченный скрипач боготворит Хейфеца и его непогрешимую технику, и все честолюбцы от сих и до Гаити растут на его записях, надеясь, что его магия каким-то образом им сообщится.

— То, чем владеет Питер, — тяжко вздыхаю я, — нельзя приобрести, взяв по библиотечному абонементу записи старых мастеров. Он наделен даром эдакого выразительного подвыподверта в игре — редкого акцента, вроде корнуолльского или амишского, — каковой теперь нечасто услышишь в круговращении стандартизированных, омеждународненных концертов. Этот акцент меня очаровал, и я хочу помочь Питеру его развить — и ради его личного блага, и ради обогащения механизированного исполнительского мира диковинной ныне зарницей.

— Ну для меня все это китайская грамота, — заявляет Элинор, и на этом обед завершен: она удаляется, как она выразилась, попудрить носик. Момент настал.

Мы с рябым половозрелым юнцом остаемся одни, и я придвигаюсь к нему поближе.

— Питер, ты знаешь, что в скрипачах я немного разбираюсь.

— Да, мистер Симмондс, — мямлит он.

— И знаешь, что именно мне нравится в твоей игре.

— Да, мистер Симмондс.

Он ковыряет подбородок, мечтая, чтобы Элинор поскорее пришла или чтобы прыщ лопнул и брызнул в мою назойливую физиономию. Мысленно припоминаю географию гостиницы. Дамская комната находится в дальнем конце цокольного этажа; у миссис Стемп уйдет добрых пять минут только на путь туда-обратно, не говоря уж об остальном. У меня порядочно времени, чтобы добыть признание.

— Питер, ты знаешь, что *я знаю*: такому *рубато* в соль-минорной сонате не научишься от обычного госпреподавателя и от субботней кошелки, которая за всю жизнь и носа никуда не высунула из Северной Англии.

— Да, мистер Симмондс.

Сидит бледненький, словно его вот-вот вывернет.

— Тогда кто тебя учил?

— А это важно?

Он увиливает, тянет время и молится о том,

чтобы мать поскорее завершила свои бесконечные туалетные дела.

— Еще как важно.

— Почему?

— Потому что кто-то открыл тебе один из величайших секретов скрипки. Дал частичку информации, умение, взрывоопасный дар. Будешь использовать его с умом — сделаешься великим артистом. Станешь им злоупотреблять — и он разнесет тебя на куски. Так вышло, что я один из очень немногих ныне живущих, которые способны оценить этот рискованный кунштюк, это останавливающее время *рубато*. И Симмондскую премию я дал тебе единственно для того, чтобы научить обращаться с этим тикающим грузом.

Делаю паузу, давая угрозе подействовать, и наблюдаю за тем, как под давлением метафорического шантажа у понемногу сникающего Питера начинает брезжить понимание, что если он не сумеет выполнить мои пожелания, то приз у него отберут. Он прекращает ковырять коросту на подбородке, смиреет и взрослеет на глазах.

— Я скажу вам, мистер Симмондс, — шепчет он, сканируя глазами вход. — Только вы пообещайте не говорить маме.

— Ав чем сложность? — спрашиваю.

— Она их ненавидит.

— Кого «их»?

— Черных.

Так мне, по крайней мере, слышится; бешено прокручиваю в уме картотеку афро-карибских скрипачей и не нахожу среди них претендентов на славу со времен Джорджа Огастаса Полгрина[70], для которого Бетховен первоначально сочинил Крей-церову сонату, а потом (по своему обыкновению), посвятил ее другому. С пустыми руками жду от мальчика просвещения.

— Да не черные, — усмехается он. — Черношляпники.

— Какие-какие?

— Евреи, — шепчет он. — *Фрумеры*[71]. Олбриджская ешива — вот я о чем.

По венам заструилось облегчение: похоже, мы движемся в нужном направлении. В Олдбридже, городе-сателлите Тобурна, живет коммуна ультраортодоксальных евреев, после войны они основали там семинарию для будущих раввинов

---

[70] Примечания: 70

Джордж Огастас Полгрин Бриджтауэр (1778(80?)-1860) — британский скрипач, чей темнокожий отец был предположительно родом с Барбадоса. Бетховен, с целью помочь юноше, сочинил для его сольного концерта Девятую сонату для скрипки и фортепиано.

[71] Примечания: 71

Ортодоксы (*идиш*).

— *ешиву*, «заседание», с намерением восстановить традиции талмудического образования, в Европе уничтоженные. Некогда жалкая горстка семинаристов быстро расплодилась, нарожав по десять-двенадцать детей на семью, и *ешива* распахнула двери ученикам со всего мира. И хотя их всего пять сотен, а то и меньше, и занимают они анклав в четыре улицы вокруг площади георгианского стиля, их непримиримая обособленность и инакость отделяют их не только от гоев, но и от большинства евреев, которых коробит аутентичность их средневекового уклада и дресс-кода. Нам это кажется неприличным.

У *фрумеров* Олдбриджа свои школы, свои магазины и развлечения. Зарабатывают они посредничеством. Среди них есть агенты по недвижимости, туристические агенты, агенты по импорту-экспорту. Такие же агенты, как и я, только равнодушные к ценностям внешнего мира. Они работают ради обеспечения коммуны, *ешивы*, и работают преимущественно в своем кругу. Машины и дома продаются только своим. Кухонные наборы и спальные гарнитуры приобретаются сразу на десять семей у лондонского оптовика-*фрумера*. Они обходятся собственными инструкторами по вождению, стоматологом и

повитухой, обращаясь в общественные службы только в случае заболевания и острой необходимости. Случись кому скончаться в Главной городской, они забирают еще не остывшее тело, чтобы его не осквернили вскрытием.

Они предпочли бы оставаться незамеченными, но бородатый мужчина в черной шляпе и его беременная, увенчанная париком жена на Тобурнском вокзале смотрятся все равно что апачи на Уолл-стрит, причудливо и безотчетно пугающе, словно им принадлежит первоочередное право на эту территорию. Их архаичное триединство — монотеизм, моногамия и монохромные одежды — упрек для современного образа жизни, безмолвный укор разбитным девчонкам в разрезных юбках и их пивососущим спутникам. Быдловатая современность наносила ответные удары — в витрины летели кирпичи, на стенах появлялись надписи «евреи — в Аушвиц» — но это же Англия, обходилось без убийств. *Фрумеры* — англо-саксонская версия немецкого *фромм*, набожный, — находятся под защитой английской частновладенческой бирючинной изгороди и внутри своего самовыгороженного гетто чувствуют себя в безопасности, болтаясь у границ наших социальных полей, подобно марсианам.

Их изоляцию нарушают лишь документальщики с Четвертого канала да очередная заблудшая пара Свидетелей Иеговы. Они, со своей стороны, к гоям относятся с опаской, а смешивающихся евреев презирают. Только их охранительная непримиримость, убеждены они, спасает еврейскую расу от вымирания и открывает путь Мессии. Может, они и правы. Не приспособленцы, а зелоты[72] формируют людской характер и наделяют его предохраняющими от эрозии шероховатостями. У половинчатых евреев вроде меня *фрумеры* вызывают сложнейшие чувства — ужасающие предубеждения с тайной гордостью напополам.

Мог ли среди этих инопланетян обретаться мой исчезнувший друг? Довидл, эрудит и сибарит, жить среди жестоковыйных фанатиков? Разумеется, нет, хотя кто его знает. В последние годы пугающе многие ударились в обскурантизм. Сын одной моей двоюродной сестры из ветви Медола стал *мешуга*-фрумом под влиянием какой-то прозелитской секты, которая зацапала его, не

[72] Примечания: 72

Зелоты — социально-политическое и религиозное течение в Иудее 2-й половины I века до н. э., направленное на освобождение от римского владычества и эллинистического влияния. Для достижения своих целей зелоты считали уместными любые средства.

успевшего освоиться и завести друзей, в кампусе Беркли (Калифорния). Он провел годы в какой-то активной израильской *ешиве*, где его в итоге женили на девятнадцатилетней девушке, которую он до свадьбы в глаза не видел, а на самой свадьбе мужчины и женщины сидели, разгороженные ширмой, и отплясывали в однополых кругах. Нам с Мертл все это казалось нелепостью и дурновкусием.

— Мама говорит, они бесстыжие спекулянты, — откровенничает Питер Стемп. — Скупают всю собственность в пределах Олдбриджа и либо оставляют для своих, либо, если это хорошее местечко на реке, оборудуют там роскошные квартиры для яппи и приезжающих на выходные. Заламывают такие цены, что обычные люди и не подступись, плюс выдавливают с рынка недвижимости местных агентов. Мама аж бесится.

— И как же ты с ними познакомился? — навожу его на нужную мысль.

— Не с ними — только с одним из них, — шепотом отвечает он. — Осторожно, она идет.

— Простите, что так долго, — говорит Элинор Стемп, волосы ее расчесаны и взбиты, помада подправлена. — В этом отеле не туалеты, а позор. Тот, что внизу, оказался затоплен, пришлось

тащиться через дорогу на вокзал, а там, доложу я, не «Савой».

Пристально нас оглядывает, вынюхивая измену.

— И что же вы, мужчины, обсуждали? — любопытствует она с веселой поддевкой.

— Ничего такого, мам, — выпаливает Питер, чересчур поспешно.

— Мы отлично ладим, Элинор, — заверяю ее, специально называя ее по имени, чтобы подчеркнуть близость нашего общения. — Питер даже согласился остаться на чай и побольше мне о себе рассказать, да, Питер?

Парень безропотно кивает.

— Но обычно он такой стеснительный, — пунцовеет от волнения мать.

Смотрю, как она мнется в своем габардиновом дождевичке, в туфлях без каблуков, со сбитыми пятками, страшащаяся жизни, обуженная в выборе (хорошо для мальчика? Плохо?), и мне становится ее жалко. Затюканная, близкая к истерике, она являет собой грустный контраст самоуверенной Сандре Адамс, своей товарке по возрасту и социальному положению, которая так лихо расправляется с насущными задачами и смело строит планы на будущее. Элинор

— типичная пожизненная неудачница, и мне противно, что приходится эксплуатировать ее робкое доверие.

— Вы, разумеется, тоже можете остаться с нами, — заверяю с запредельной фальшью, — но мы ведь условились завтра поужинать и поболтать, верно? Скажем, в семь?

А сам оттираю ее к главному входу, где с готовностью дожидается мой круглосуточный, оснащенный шофером, наемный «ягуар». — Альфред отвезет вас, куда скажете, а к шести вернется за Питером, он как раз поспеет домой к ужину. — Целую ей руку с слащавостью венского метрдотеля. — Тогда до завтра.

Избавленный от родительницы, Питер ощутимо меняется к лучшему. Приза зрительских симпатий он, может, и не заработает, но в грязь лицом не ударит. Вполне себе языкастый. Есть, есть в этом парне характер, тут у меня глаз наметанный. Сметливый хитрован, и честолюбия хоть отбавляй.

И не сказать, чтобы это меня к нему располагало. С виду — честная душа, а по сути — прирожденный приспособленец. Доверие своей самоотверженной матери он уже обманул и теперь под моим легким нажимом почти готов

сдать еще один секрет. Мне бы радоваться такой сговорчивости, но от его низости меня воротит. Он обихаживает меня, потому что я его билет до следующей станции на линии. Едва надобность во мне отпадет, он выбросит меня, как лопнувшую струну. Питер Стемп, пятнадцати лет от роду, готовит себя к бессовестной карьере классика-виртуоза.

— Расскажи, как ты познакомился с *фрумерами*, — снова спрашиваю я, дожидаясь, пока нам в комнате для отдыха сервируют чай (ярусы сандвичей с сыром и ветчиной, печенье в жестяных банках, липкие пирожные).

— Только с одним, — повторяет он. — С мистером Каценбергом и парой его соседей.

— Продолжай, — подбадриваю его, наливая черный чай из щербатого китайского заварника.

— По утрам перед школой я развожу газеты.

— Надо же, — встреваю я. — В твоем возрасте я тоже развозил газеты, это было во время войны.

Питер даже ухом не ведет. Раз уж приходится запродавать свою историю, то без моего участия он как-нибудь обойдется.

— Я занялся этим пару лет назад, чтобы накопить на горный велик, который мне ужасно хотелось. Мама сказала, ей это не по карману,

но я увидел объявление на газетном киоске, и внезапно денег у меня стала куча.

Кое-что в Англии, отмечаю про себя, с годами не меняется. Готов поспорить, он в конце каждого рейда лопает по батончику «киткат». С шоколадным рулетом парень разделывается по высшему разряду.

— Мой маршрут, — частит он, — проходит по верховьям реки Олдбридж, в том числе по Гладстон-сквер, а там живет много черношляпников. Четыре улицы: Каннинг, Палмерстон, Дизраэли и Чемберлен — почти полностью *фрумные*. Газет там не читают; не знаю даже, говорят ли они по-английски. Кроме одного. На Каннинг-стрит есть дом, номер тридцать два, туда каждый день приходит «Телеграф», а по пятницам еще «Джуиш кроникл». Такая морока тащиться через всю улицу ради одного клиента, но мистер Амин, чей киоск, говорит, что заказ есть заказ и что хорошими деньгами не бросаются. Да и пусть; у меня на велике десять скоростей, и на то, чтобы просвистеть по улице, забросить газеты и выскочить на Солсбери-авеню, уходит максимум минута. Мой личный рекорд — пятьдесят три секунды. Кто там живет, я понятия не имею. Ни разу никого не видел, даже на Рождество не ре-

шился позвонить в дверь, они ж ведь Рождество не отмечают. Мама говорит, они убили Господа нашего, но, по мне, это уж… перебор. В общем, как-то утром в пятницу заталкиваю «Телеграф» и «Джуиш кроникл» в ящик дома тридцать два, а дверь вдруг распахивается, и газеты застревают в щели. Я тяну на себя, он — на себя, и мы оба как захохочем. Он огромный, у него большущая седая борода, шелковая шапочка на макушке, глубоко посаженные глаза и — я сразу это заметил — удивительные пальцы. Таких ни у кого не видел — длинные, тонкие. Он смеется, а я стою и думаю: «Вот кому на скрипке играть легче легкого».

Такие пальцы точно не забудешь! Узкие, гибкие, белоснежные, с аккуратными ногтями, плавно сужающимися к кончикам. Не пальцы, а щупы, как у растений, нервные, чуткие, молниеносные. Невидимые в движении, ангельски прекрасные в покое. Его пальцы.

Пульс у меня зашкаливает, и артерии начинают возмущаться против добавочной нагрузки.

— Продолжай, — выдавливаю я.

Питер жадно заглатывает четверть сандвича разом. Теперь, когда мамы поблизости нет, он ест, как пещерный человек, запасая силы.

— Наверное, видок у меня был перепуган-

ный, — продолжает он, — потому как мужчина тот попятился и говорит: «Виноват». Въезжаете, о чем я? Не «извини», не «прости», не «ну ты, поосторожней». «Виноват», говорит он, в смысле — если я вас чем-то расстроил, постараюсь все исправить. От слов этих, «виноват», я аж задохнулся. Мама взяла с меня клятву, чтоб я с *фрумерами* не разговаривал и в дома их не входил. Типа, они воруют христианских детей и убивают, кровь у них точат на свою Пасху, представляете? Она в какой-то книжке вычитала. Так что я, значит, начеку и торчу на пороге. Только этот мужчина такой, что мне с ним нисколечко не страшно. Не знаю, как это и описать, мистер Симмондс. Он так уважительно со мной обходится — как святой из Евангелия.

— Виноват, — снова говорит он. — Я тебя напугал?

Я отвечаю:

— Немного — или что-то в этом роде.

— Я всю неделю тебя подкарауливаю, — говорит он, — но совершенно не планировал устраивать перетягивание каната из «Дейли телеграф».

У него такой славный, зычный смех, так и тянет рассмеяться в ответ.

— Можно тебя кое о чем попросить? — спра-

шивает.

— Валяйте, — говорю я.

— Когда завтра утром привезешь газету, сможешь заглянуть ко мне на минуту и включить газовый камин?

— А сами вы что ж?

— По субботам не могу, — отвечает. — У нас шабат, свет зажигать нельзя. Так сказано в Библии, в книге Исход, могу показать. Но зимой по утрам так холодно, дети приходят в стылую гостиную. Ты окажешь нам великую услугу, зажигая по субботам огонь, а я тебе буду за это платить.

— Сколько? — интересуюсь.

— Пятьдесят пенсов, — предлагает.

«Шикарно, — думаю, — тогда я к Пасхе за велик расплачусь».

Питер отхлебывает чай и — долговязый — шурует под столом длинными ногами; проходящий мимо официант о них спотыкается. Питер не утруждает себя извинениями. Он не из тех, кто будет говорить: «Виноват». Он эгоист: что касается его — замечает, что задевает других — нет. Кажется, прямо сейчас он снова предаст свою мать.

На следующее утро звоню в дверь, а он выбегает в шерстяном халате, взволнованный такой.

— Пожалуйста, не звоните в звонок, — шеп-

чет, — только стучите. Звонок нарушает наш день отдохновения. Он испускает электрический импульс, который, пусть всего и на минуту, но выводит Божий мир из состояния безмятежности.

«Ничего себе, — думаю. — И для всего-то у него готова причина, да с доказательством, которое он может вычитать в одной из тех толстых книг».

— В Божьем мире существует порядок, — сказал он мне однажды, — а наша задача его ценить. Как в нотах, которые мы играем, есть заданный порядок, так и в небесной канцелярии заранее запланированы все наши действия, вплоть до мелочей. Вот почешу я сейчас нос — и это будет потому, что так судил для меня Господь пять тысяч семьсот сорок девять лет тому назад, в момент Сотворения. Я всего лишь инструмент, на котором Господь играет по воле Его.

— А нас на биологии учили, что мир возник много миллионов лет назад, — говорю.

— По нашим расчетам, это не так, — не сдается он.

Ну так вот, идем мы в то первое субботнее утро с мистером Каценбергом в гостиную, а она каморка каморкой, потому как всю стену занимает громадный книжный шкаф, а всю середину — массивный обеденный стол. Наклоняюсь зажечь

камин, а в углу — пианино. И тут до меня доходит: «Он музыкант!». А потом глядь — на крышке пианино отпадный футляр от скрипки, слегка покоцанный, но все равно классный.

— Играете? — киваю на скрипку.

— Иногда, — отвечает.

— Профессионально? — интересуюсь.

— Раньше да, — говорит.

— Сыграете?

Качает головой.

— Почему нет?

А он говорит:

— Шабат.

В общем, на следующий день, когда я завернул за своим полтинником (меня заодно позвали зажигать в шабат камины оба его соседа), я попросил его сыграть.

— Ты играешь на скрипке? — он меня спрашивает.

— Хочу стать знаменитым солистом, — говорю.

— Пойдем.

Открывает футляр, разворачивает шелковый шарф. Клянусь, мистер Симмондс, такого роскошного инструмента я еще не видел. Дерево цвета бронзовой медали и словно светится изнутри. Это Гваданьини, 1742 года, та самая, которой владел

великий Иоахим, ну тот, который вдохновил Брамса написать концерт. Эта такая святыня, страшно смотреть. Мне ужасно хочется подержать ее в руках, но я об этом даже не заикаюсь. Мне кажется, она живая.

Мистер Каценберг проводит смычком, и от полившихся из-под него звуков раздаются стены. Он исполняет небольшой этюд Сарасате, и я чуть не падаю в обморок, я просто не верю своим ушам. Комната теперь огромная, как Тобурнский собор. Он играет, закрыв глаза, но не как мы с вами, чтобы сосредоточиться, а словно бы вглядываясь внутрь, вглубь себя.

— Научите, — прошу.

— Я не беру учеников, — отвечает, прямо как Яша Хейфец.

— Научите, — твержу, — иначе я вам больше не *шабес-гой* (так они называют тех, кто зажигает им по субботам камины).

Сам себе поражаюсь: чтобы я когда так со старшими разговаривал? Он мог меня прогнать, мог сварить из меня суп на их Пасху. Видно, что он тоже слегка ошарашен.

— Ты хороший мальчик, — говорит он (в смысле: «Не заставляй меня сердиться»). — Приходи в следующее воскресенье, кое-что тебе покажу.

Так что через неделю в субботу я зажигаю камины в трех домах на Каннинг-стрит, а в воскресенье звоню в дверь дома номер тридцать два и со скрипкой под мышкой топаю прямиком в кабинет.

— Научите, — говорю.

— Просто слушай, — отвечает он.

Так и повелось. Два года я каждое воскресенье сначала развозил почту, а потом приходил к нему, и он что-нибудь играл — Баха, Моцарта, Брамса, Дебюсси, Вьётана[73], Изаи, все, что ему вздумается, он все знает на память. А играет он так, как вообще не бывает. Минутный этюд может растягиваться чуть не на час, а целая соната — раз, и кончилась. Потом он угощает меня газировкой и говорит о скрипке — единственном, по его словам, инструменте, который рассказывает о музыканте все: о его сильных сторонах, темных качествах натуры, все-все, вплоть до того, какую он пижаму носит, если носит вообще.

— Скрипка выдает, — поясняет он, — неприкрытую правду о личности человека. Не подделаешь и, как и отпечатки пальцев, не спутаешь ни с кем другим.

---

[73] Примечания: 73
Анри Вьётан (1820–1881) — бельгийский скрипач и композитор.

Даже если я стану за ним повторять, в моей игре все равно будет проявляться мой собственный характер. Через полгода он разрешает мне сыграть ему из Моцарта. Он недоволен.

— Не спеши, — твердит. — Забудь про партитуру. Музыкант — повелитель времени, подвластный воле одного только Господа Бога. Представь, что у тебя в руках стрелки часов, по которым вращается мир, и что ты волен по своему усмотрению заставлять их то бешено крутиться, то застывать на месте. А ну давай, сыграй в своем собственном времени.

Я, в каком-то помрачении, пробую как бы прогнуть музыку к себе — и он улыбается. Затем я прогибаю ее от себя — и его улыбка ширится. И после этого — все, я уже больше не могу играть по-старому. У меня полностью меняется манера. И все было прекрасно, пока эта старая ведьма мисс Саутгейт не настучала маме, что я сбиваюсь на ее уроках, не соблюдаю темп. Пришлось играть двумя стилями — одним, чтоб ублажить учительницу и экзаменаторов, а другим, своим, для себя и мистера К. Вчера вечером на конкурсе я забылся и выдал много своего — и вот теперь сижу и рассказываю вам о доме номер тридцать два на Каннинг-стрит.

Этот адрес он выговаривает с отвращением, словно речь идет о месте преступления, проклятом топониме. Он совсем бледен: покаяние и поглощение совершенно его обескровили. Меж прыщей блестят капельки пота. Косится на меня, высматривает, доволен ли я? Лицо мое полыхает, ноздри раздуваются. Развязка близка. Заказываю свежий чайник чая и возобновляю допрос.

— А не спрашивал ли ты, Питер, у мистера эээ… Каценберга, откуда он столько всего знает, как он пришел к подобной исполнительской философии? Как-то она слабо согласуется с той, в общем-то, затворнической жизнью, которую он ведет.

— Да сколько раз спрашивал, мистер Симмондс! — говорит Питер. — Поначалу он просто уходил от темы. Потом, когда я его достал, сказал, что да, когда-то давно он учился у великого маэстро, профессора Флеша, но никогда не стремился к славе. «Славы нужно жаждать больше всего на свете, — так он выразился. — Больше, чем любви, денег, веры, больше, чем самой жизни. Лично я, сказал он, не настолько к ней стремился».

Теперь я у самой цели, и мой метаболизм сбавляет обороты: дабы поберечь мою ослабшую аорту, он замедляет и остужает реакции, — а

может, мне просто кажется. Но что бы ни разыгрывалось у меня в груди, мозг с убийственной ясностью продолжает воспринимать и обрабатывать информацию. Вырисовывается стратегия. Теперь я знаю доподлинно: Довидл жив, и он совсем рядом. От того, что я предприму дальше, зависит вся его дальнейшая жизнь, и моя тоже.

— Думаешь, это правда? — спросил я Питера.

— Отчасти, — а парень, оказывается, не промах. — Я нашел профессора Флеша в справочном разделе в библиотеке — в «Словаре Гроува», там есть список всех его известных учеников, но Каценберга нет. Видимо, он сошел с дистанции еще до дебюта, а там кто его знает. Иногда я прихожу утром в воскресенье, а он еще сидит за завтраком и читает с младшими молитву — всего их у него одиннадцать, офигеть можно. Глядя на него в такие моменты, я думаю: наверное, ему больше по душе жить тихо-спокойно, чем мотать себе нервы на живых концертах, где в любой момент что-то может пойти наперекосяк. Вдруг он провалился или нервы сдали? Но тут он берет скрипку и исполняет концерт Бетховена с каденцией Иоахима, а я ему подыгрываю на раздолбанном пианино. И думаю: «Какая потеря для всех нас». Единственное, о чем он меня за все

это время попросил, — не рассказывать никому, особенно маме. Видимо, я сболтнул, что она ненавидит таких, как он, а никому не хочется, чтобы она заявилась на порог и разоралась, будто он выкачивает из меня кровь для их Пасхи. Когда я прикалываюсь над ее страхами, он обрывает меня, и довольно резко, типа, она для меня старается, и я должен ее уважать. Надеюсь, он не рассердится, что я все это вам рассказал, вы ведь тоже еврей, как и он.

Неужели это так бросается в глаза? Или это его жалкая мамаша предупредила сыночка о моей злокозненной национальности? Хочется укусить мальчишку и высосать из него кровь — просто чтобы подыграть ее омерзительным предрассудкам, но сейчас у меня есть дела поприоритетнее.

— А что будет, если мистер Каценберг из-за меня рассердится? — подпускаю шпильку.

— Теперь это уже неважно, — говорит Питер.

— Ты с ним поругался?

— Наоборот, — отвечает.

— Как это?

— Он меня прогнал.

— Когда это случилось?

— Месяц назад, — говорит, и вид у него такой, словно его сейчас стошнит.

На всякий случай отодвигаю стул подальше, а затем дожимаю из парня последнюю порцию информации.

— Он застукал нас с Басей-Бейлой, это его дочка, ей примерно столько же, сколько мне, у нее темные волосы, и она повернута на математике; мы болтали возле еврейского гастронома на Каннинг-стрит.

— Это не дело, — говорит. — Наши девочки с парнями, даже с нашими, не общаются. Если увидят, что моя дочь разговаривает с незнакомцем, ее никто потом замуж не возьмет. Прости, но тебе придется уйти.

— Клянусь, мистер Симмондс, между нами, ей и мной, ничего не было. Боже упаси, мы просто трепались о школе. А старик сажает меня на карантин, словно взбесившегося пса.

— Уходи, — говорит. — Так будет лучше.

Он не сердится. Просто как бы отстраняется и захлопывается. Больше газет у мистера Амина он не покупает. Потом я узнаю, что он перешел к другому газетчику. А все лишь бы только от меня избавиться.

— Уверен, когда-нибудь он с радостью примет тебя снова, — фальшиво заверяю я, увлекая парня от чайного столика к фырчащему снаружи «ягу-

ару». — Пойдем, Питер, пора тебе домой. Мама будет волноваться.

— Вы ей не расскажете, нет? — упирается он.

— Не волнуйся, — отвечаю; он с облегчением переводит дух, — но, вероятно, вечером я нанесу визит мистеру Каценбергу, чтобы обсудить твои успехи.

— Не уверен, что он по вечерам бывает дома, — возражает Питер, — и незнакомцев он недолюбливает.

Смущенный, вымотанный, весь небольшой отрезок пути до дома Питер обгрызает ногти. Живут они в типовом микрорайоне, воспрянувшем к жизни после разрешения Маргарет Тэтчер приобретать жилье съемщикам. Миссис Стемп подглядывает за нами из-за тюлевых занавесок. С радостью больше бы не видел ни ее, ни мелкотравчатого ее предателя, но, чтобы не оскорбить их чувств, нужно довести игру до конца. Не стоит плескать горючее на их сухостойный расизм.

— Олдбридж, — объявляю водителю. — Каннинг-стрит.

— Каннинг-стрит? Вы не ошиблись? — спрашивает Альфред, корнетист-любитель и шофер-полупенсионер: ради постоянных клиентов он еще выезжает, но молодую тэтчеровскую поросль

антрепренеров обслуживать отказывается.

— А что не так с Каннинг-стрит? — интересуюсь.

— Там чокнутые живут. — И он выразительно покашливает.

— Чокнутые?

— Сдвинутые, трехнутые, мужчины в халатах, женщины в париках.

— Ты их знаешь?

— Вот еще! — рычит Альфред, и его шея над форменным воротничком багровеет. — Я такое не ем, если вы понимаете, о чем я.

— А я все же попробую это переварить; сообщу тебе потом о результатах, — спокойно отвечаю я, когда он открывает мне заднюю дверцу. — Подожди здесь, я, возможно, задержусь.

Часы на церкви отбивают шесть, когда я останавливаюсь в желтом свете уличного фонаря перед домом номер тридцать два и, глубоко дыша, пытаюсь уловить подтверждающие звуки. Улица пуста, и все равно я чувствую: за мной наблюдают. Дом — украшенная галькой штамповка в ряду двойников, два повыше, два пониже; такими радетельные шахтовладельцы награждали отличившихся горняков. Дом и так-то невеличка, а на нем еще два звонка — признак многонасе-

ленности. На правом почтовом ящике, который не мешало бы покрасить, красуется мезуза сантиметров тридцать длиной. В ней, я знаю, лежат четыре отрывка из Писания — напоминание всем, кто входит в дом и выходит из него, о связи человека с Богом. Священный черенок, который всяк проходящий мимо обязан целовать.

Протягиваю руку к нижнему звонку, помеченному фамилией Каценберг. И слышу звук настраиваемой скрипки; работает мастер: каждую струну проверяет и смычком, и ногтем. Жду, когда он заиграет.

Словно из другого мира, раздается *нигун* — душевынимающий плач на иврите, написанный зверски замученной Ханной Сенеш[74], которая с отрядом парашютистов была заброшена в оккупированную нацистами Венгрию, там схвачена, подвергнута пыткам и казнена. «*Эли, Эли, ше-ло игамер ле'олам*», — молится она. «О Бог, мой Бог… Пускай не исчезнет…»[75] А я стою и думаю, четким размером: «Эли, Эли, ты так и не пришел

---

[74] Примечания: 74

Ханна Сенеш (1921–1944) — венгерская и еврейская поэтесса, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. Многие ее стихи стали частью еврейского фольклора.

[75] Примечания: 75

Начало стихотворения Ханны Сенеш «Дорога на Кейсарию» (пер. И. Зора).

домой с концерта…»

Резко давлю на кнопку звонка, и мелодия обрывается на полуноте. Доносятся тяжелые шаги. Дверь открывается. Человек стоит против света, падающего из коридора, и лица его не разглядеть. На нем большая кипа и *капота*, пальто из черного габардина с поясом. Ошеломленно бормочу:

— Добрый вечер.

— Чем могу служить? — спрашивает он; это его фирменный отзыв.

— Довидл? — решаюсь я.

— Мотл, — отвечает он как ни в чем не бывало. — Я тебя ждал.

7
Живой!

Дом, как Питер Стемп и описывал, темный и узкий, с тыльными пристройками под новые спальни. При всей скученности он отнюдь не выглядит тесным, коридор с лестницей не захламлены. Ароматы сложносочиненные; среди мириад человеческих эманаций учуять, что готовится на кухне, невозможно, но в целом результат не отталкивающий. Дому явно уютно и хорошо.

Мы с его хозяином делаем три шажка и оказываемся в перенаселенной мебелью гостиной, в углу которой стоит пианино, а две стены занимают тесно уставленные, застекленные книжные полки. Библиотека, навскидку, состоит сплошь из талмудических томов и комментариев к ним. На всех корешках — надписи на иврите, за исключением одной музыкальной полки, где в кожаных переплетах теснятся сборники его любимых произведений. Настоящий кабинет для религиозных штудий, и я чувствую себя хищником, который ввалился к Будде.

Довидл усаживает меня на высокоспинчатый

стул возле того самого газового камина, который Питер разжигал по субботам. Зовет кого-то, предположительно жену: «Мамуля!» Все как всегда: он перехватил инициативу, а я болтаюсь сзади, в спутной струе.

— Что значит — ты меня ждал? — ледяным тоном интересуюсь я.

Он берет газету с несуразно огромного обеденного стола.

— Видишь, вот тут, в «Телеграф». — Показывает. — Моему бывшему *шабес-гою*, Питеру, вручена Симмондская премия. Я догадался, что ты узнал *рубато* и что Питер не сможет не проболтаться. Ты когда-нибудь видел подростка, который бы умел хранить секрет?

— Я умел, — буркаю я.

— Ты был другим, — соглашается Довидл. — Мы были другими… В общем, я понял, что ты поблизости, и подумал, что ты захочешь зайти, поэтому постарался сегодня быть дома. Обычно-то я допоздна веду занятия в ешиве.

Он произносит это так обыденно, словно других объяснений и не требуется.

В комнату входит женщина сильно за сорок, она лет на десять моложе Довидла, но не по возрасту согбенная, видимо, от многочисленных бере-

менностей. Щеки в морщинах, губы в трещинах. Остального не разглядеть: лоб по брови упрятан, а глаза благочестиво отказываются вступать в контакт с моими. Муж ее, однако же, выглядит поразительно, неподдельно счастливым.

— Мамуля, — говорит Довидл, — это мистер Мартин Симмондс, его родители приютили меня в Лондоне во время войны.

— Рад познакомиться, миссис Рапо… Каценберг, — говорю я и протягиваю руку.

Мамуля стоит руки по швам. А, точно, ультраортодоксальные женщины избегают прикосновений к мужчинам и даже, в определенный период месяца, к собственным мужьям. Мое присутствие отмечается кивком самодельного чепца.

— Мы с мистером Симмондсом в детстве очень дружили, — искусно плетет ей Довидл. — Вместе росли, но потом потеряли друг друга из виду. Нам столько нужно наверстать. Принесешь нам выпить? Спасибо, мамуля.

Интересно, почему он не называет ее по имени? Ах да, ортодоксы приберегают имена для частного пользования, яростно ограждая свою любовь от любопытных ушей.

— Откуда эта фамилия, Каценберг? — спрашиваю я, когда его жена выходит.

— Криминальная кличка, — склабится Довидл. — А вообще, это фамилия мужа одной из моих двоюродных сестер, которая погибла в Майданеке. Ты ведь помнишь, мы чтим память мертвых, нарекая новорожденных их именами. Гитлер отнял у меня тридцать девять человек ближайшей родни — родителей, родных братьев и сестер, теть, дядьев, двоюродных. Господь благословил меня одиннадцатью ребятишками. Каждому я дал по три имени, но шесть родных все равно остались непоименованными: моя двоюродная сестра Фейге, ее муж Хаим Каценберг и четверо их детей. Случайно, словно по воле Божьей, я, когда сюда перебрался и должен был сменить имя, наобум назвался фамилией своей мужней сестры. Так что все обернулось к лучшему, ни одно имя не осталось неприкаянным.

— Разве что Рапопорт, — вворачиваю я.

Он невозмутимо пожимает плечами:

— Фамилия — это ерунда, — рассуждает он, нечаянно сам себе противореча. — Эта мерзость появилась только в восемнадцатом веке, когда гоям понадобилось отличать нас одного от другого, чтобы собирать налоги. Для евреев важны лишь имена. Они вместилище души.

Ладная девчушка лет шестнадцати или около

того — черные волосы до плеч, черная юбка в пол — стучится и вносит поднос с кофе, печеньем, ликерами и сухофруктами.

— Моя дочь Бася-Бейла, — представляет ее Довидл. — Названа в честь моей малютки-сестры, которую я так и не увидел.

Девушка, недосягаемая возлюбленная Питера, застенчиво мне улыбается и, выхватив у отца из руки инжиринку, с хихиканьем убегает. Довидл наливает нам обоим кофе с коньяком и, прежде чем отхлебнуть, бормочет благодарственную молитву. Я, с непокрытой головой, бормочу «аминь».

— С технической точки зрения, — рассуждает он, — полагается сначала взять съестного, прочесть молитву, а потом уж пить, но мне так хотелось глотнуть коньяку и сказать лехаим в честь нашей встречи. Давненько мы не виделись. Ну, рассказывай: у тебя есть дети? Внуки? А фото с собой? Так славно видеть тебя снова после стольких лет.

Ну вот, он снова всем заправляет, не дает даже мне заслуженно возмутиться.

— Ради всего святого, — осаживаю его я, — нам есть что обсудить и поважнее.

— Не сегодня, — отвечает спокойно Довидл. —

Всему свое время, по велению Господню. Сегодня мы снова будем братьями, будем радоваться успехам друг друга. А завтра я все тебе объясню.

— Откуда мне знать, вдруг тебя завтра здесь не окажется? — возражаю я.

— Посмотри на меня, — усмехается он, — мне шестьдесят один год, я грузный старый дед, у меня дюжина ртов и машина, которая разваливается каждые сто километров. И куда я, по-твоему, денусь?

Он не утратил ни грана своей неотразимости и убедительности. Поверить я ему больше никогда не поверю, но доводы и впрямь железные, так что ничего не попишешь: я уступаю. И следующие несколько часов мы мило, избегая острых углов, обмениваемся семейным вздором, а в комнату то и дело вторгаются дети и внуки: то поставят на поднос новое угощение, то заберут пустую посуду. Молодые люди щеголяют подкрученными пейсами и блестящими *капотами*. На женщинах домашние халаты и платки. Тарарам беспрерывный: двери хлопают, дети орут, то воду спустят, то кто-нибудь запоет — и все равно над домом, в отличие от моего, витает покой, дух всеобщего довольства и житейской деловитости.

Верхний этаж, объясняет Довидл, он отделил и

отдал под квартиру своей старшей дочери Песе и ее мужу, студенту ешивы, которому обязался помогать в течение пяти лет. У них уже трое детей — «последние три из моих имен», улыбается он, — и на подходе четвертый.

Его отпрыски осторожно обо мне любопытничают.

— *Из дер хошувдике гаст э ид?* — подает голос один из малышей, то есть на обиходном идише: «Этот важный гость — еврей?»

С нашей с Питером Стемпом точки зрения, бесспорно. Но здесь, в доме ревностных иудеев, простоволосый я, наверное, кажусь всему этому выводку каким-нибудь заезжим мормоном. Довидл успокаивает их, объясняя, что в душе я еврей и что моя семья в страшные годы войны спасла ему жизнь. Они снова на меня вытаращиваются, уже как на музейный экспонат, и шепчутся друг с другом, прикрывая рты ладошками. Паренек из старших заводит на зачаточном английском со мной вежливую светскую беседу: «Как добрались?», «Где остановились?», «Довольны ли гостиницей?».

Довидл с улыбкой любуется потомством.

— Праведник, — говорю я, чтобы сделать ему приятное, — цветет как пальма, возвышается

подобно кедру на Ливане[76].

— Plantati in domo Domini, — отвечает он на почти-что-Вульгате, памятной со времен уроков у отца Джеффри, — in atriis Dei nostril florebunt. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего.

— Они и в старости плодовиты, — подхватываю я, кивая на его обильное потомство, — сочны и свежи.

— *Лехагид ки йошор Адоной*, — на ешивном иврите вклинивается сын-подросток. — *Цури велой авлосо бой*.

— А перевод? — требует Довидл.

— Чтобы говорить, — робко отвечает парень по-английски, — что праведен Господь наш, Хашем, твердыня моя, и нет… нечестности в Нем.

— Они играют на каком-нибудь инструменте? — спрашиваю у патриарха.

Качает косматой бородой:

— Они изучают Тору, на другое времени не остается.

— *Тате зол шпилен эпес?* — пищит внук у него на коленях.

Он снова расплывается в улыбке: как же,

---

[76] Примечания: 76
Псалом 91:13–16.

взращенный на идише малыш уловил смысл английской речи! Нет, бурчит, сегодня он не будет играть, сегодня день встречи старых друзей.

В десять я встаю и собираюсь уйти.

— Во сколько завтра приезжать? — спрашиваю.

— Я заеду за тобой в гостиницу в одиннадцать, — отвечает Довидл на полпаузы быстрее обычного.

— У меня машина с водителем, давай я сам сюда приеду, — предлагаю я.

— Нет, лучше обсудим все где-нибудь в тихом, уединенном месте, — упирается он. — А то здесь не дом, а площадь Пикадилли.

— Или рынок Ковент-Гарден, — бормочу я тихо, но доходчиво.

Испепеляет меня взглядом. Прекрасно. Видимо, прошлое для мистера Каценберга — удаленная, но отнюдь не нейтральная территория. И способно, через меня, добраться до него, невзирая на маску безмятежности и монохромное одеяние. Снаряды и грешки из нашего общего с ним шкафа по-прежнему его ранят. До входной двери он провожает меня с почти неприличной поспешностью. Прошу его попрощаться за меня с женой и ухожу, не оглянувшись.

Альфред ворчит всю дорогу до «Рояла» — как я мог заставить его столько ждать, да еще в месте, где ни чашки чая не выпить, ни человечьей речи не услыхать? Пропускаю мимо ушей его причитания и обещаю завтра отпустить его на целое утро; поиск мой завершен, загадки вот-вот будут разгаданы.

В сердце ни восторга, ни легкости — просто чувство, что вступил наконец в законные полномочия. Просто сдержанная радость оттого, что Довидл, которого я долго считал сгинувшим, жив. А вот что — помимо гармонии нашего воссоединения, — меня будоражит, так это захватывающая дух перспектива разоблачения и имеющееся у меня в руках оружие против него. То же самое, должно быть, чувствовал Альберт Эйнштейн в ночь перед открытием теории относительности. Совсем скоро я обрету всесильную правду, а с ее помощью — способность разрушить мир.

Наконец-то его судьба в моих руках. Стоит только мне захотеть, и я смогу отмстить за себя, открыв его нечестивое прошлое чистым душам, которые он воспитал. Вряд ли ему захочется, чтобы они узнали о рыночных потаскухах и игорных притонах, а еще того пуще о нарушенных обязательствах перед семьей, которая дала

ему кров и любила как сына. Не считая первых приветствий, мое присутствие заставило его понервничать. Нынешней ночью он вряд ли будет спать спокойно. Вот он, первый взнос. Но мой душевный подъем вызван не только галочками напротив взысканных долгов. Впервые за всю нашу историю музыку заказываю я. В первый раз за сорок лет я больше не позволяю обстоятельствам играть собой, а сам диктую развитие темы. Начиная с завтрашнего дня.

На телефоне в моем люксе мигает сигнал «новые сообщения», но мне сейчас не до них. Включаю телетекст с мировыми новостями и бегло просеиваю пустые дипломатические отвалы завершившейся войны в Персидском заливе. В Израиле люди танцуют на улицах: угроза ракетного удара со стороны Ирака снята. Я разделяю их радость: небеса мои очистились от туч, и я могу спать без страха перед грядущей катастрофой.

На прикроватном столике выстроился пластмассовый парад гомеопатических и химических слабительных и снотворных — бери да принимай. Сметаю все махом в горсть, топаю в ванную и опустошаю пузырьки в унитаз, после чего раз за разом жму на слив, пока не исчезает последняя таблетка. Долой «костыли». Пусть жизнь идет как

ей заблагорассудится, а когда настанет пора уйти на покой, я буду к этому готов.

Наутро в восемь трезвонит телефон. Это Мертл со своими обычными обвинениями.

— Где ты был вчера вечером, дорогой? Почему не перезвонил? Я волновалась.

— Все в порядке, дорогая, просто поздно лег, непрерывные встречи плюс затянувшийся ужин.

— Ладно, неважно. Мне нужно, чтобы ты вернулся не в пятницу, а завтра. К нам на обед придут Бренты, тебе надо будет кое-что купить и подобрать вина.

Бренты — ее гордость: лорд и леди Брент, бывшие Саймон и Джойс Уайтхилл (Вайсберг), пара проходимцев из Финчли, титул они получили за денежные вливания в партию Маргарет Тэтчер, а свое высокородное имя позаимствовали у местного торгового центра. Саймон — пустоголовый финансист, а Джойс помешана на бридже. Мертл суетится вокруг них, словно судомойка эдвардианских времен, только что не в реверансах приседает, а случись им уронить бокал или *bons mots* — тут же подхватывает. Я подливаю им напитки, бормочу: «Как интересно» — и, откинувшись на спинку дивана, тускло размышляю

об Англии. Бренты вызывают у меня желание эмигрировать.

— Прости, дорогая, но не получится. — Вздыхаю как можно искреннее. — Тут еще столько дел, всплывают всякие интересные возможности. Приеду — расскажу.

— Ерунда, Мартин, — не сдается она. — Ты никогда не заработаешь денег на этих тощих карстовых почвах, да и стар ты пускаться в новые авантюры. Нужно было отойти от дел еще два года назад, когда тебе доктор сказал. Ты обещал мне, что больше не будешь надрываться на работе, а сам, когда мне единственный раз потребовалась твоя помощь, делаешь вид, что какая-то мелочь по бизнесу тебе важнее. Очень эгоистично с твоей стороны. Порой я сама поражаюсь, почему до сих пор тебя терплю.

Эта волынка теперь надолго, поэтому пристраиваю трубку на подушку и начинаю одеваться, не забывая мимоходом бормотать в нее приличествующие случаю умягчительные слова. Когда ее раздражение иссякает, беру телефон и заверяю Мертл, что важнее нее в моей жизни никого нет. Кажется, срабатывает.

— Ты должен быть дома в пятницу не позднее четырех.

— Обещаю, дорогая.

— И хотя бы раз в жизни меня послушать и отойти от дел.

— Мы обсудим это, когда я вернусь.

— Береги себя.

— Ты тоже, дорогая.

О том, чтобы удалиться от дел, теперь не может быть и речи: я начинаю все заново. Пальцы ног уже покалывал грядущий сон, а в моей голове начал складываться план действий — сладкое искупление впустую прожитых лет и радостное сведение старых счетов. Теперь я буду вертеть Довидлом по своему хотению, и это будет совсем другой коленкор: наконец-то золотой ключик у меня в кармане.

Среда — мой любимый день, середина недели, перевал от работы к предвкушаемому безделью. Сидя с подносом в номере и попивая сок и кофе, звоню Сандре Адамс — она явно рада меня слышать. Условливаемся позавтракать следующим утром, и она обещает прислушаться к моему деловому совету. Мне предстоит сыграть роль доброго дядюшки, если не больше.

До прибытия Довидла все равно остается целый час, и я провожу его, покрывая листы мраморной бумаги неистовыми подсчетами.

Он появляется минута в минуту, на видавшем виды синем «фольксвагене»-фургоне со стационарным столом и скамейками в кузове.

— Удобно для вылазок всей семьей, — поясняет он. — Ну что, промчимся с ветерком по побережью?

— Время года не самое подходящее.

— Верно, — соглашается он, — зато никто не помешает.

Не хочет, чтобы *фрумские* увидели его со мной. Я гость из покрытого мраком прошлого. Нужно — силой ли, лаской — меня изолировать и снова вернуться к прежней личине — благонравной, набожной, фальшивой.

Мы выезжаем из Тобурна по шоссе A529, подныриваем под железнодорожный мост и вскоре уже громыхаем вдоль кромки бушующего Северного моря. Ветер еще не штормовой, но волнам многого и не надо: они легко перехлестывают через береговую защиту и обрушиваются на эспланаду.

— Испытываешь веру на прочность? — подначиваю я.

— Я здесь и похуже когда ездил, — как всегда, невозмутимо отвечает Довидл.

Подавшись вперед, он вглядывается в просветы

посеченного дождем ветрового стекла.

Неожиданно до меня доходит, куда ведет эта дорога. Она обрывается на самом известном в этих краях суицидальном пятачке, мысе по прозванию Мертвая голова, с которого за год в среднем сигает с десяток отчаявшихся душ — на верную гибель. Утес высится над морем на шестьдесят метров, а снизу понатыканы острые скалы.

Раньше там по краю стоял забор, но его так часто сбивали парочки смертников с зашкаливающим спидометром, что совет свернул попытки их остановить. Единственным предупреждением служат официальный знак «Опасно, не приближаться» да стенд со спасательным кругом — явное издевательство над исконным его предназначением. За этим указателем всяк входящий может смело оставить надежду.

За тридцать метров от обрыва Довидл останавливается, но зажигание не выключает.

— А то замерзнем, — поясняет он.

— Глуши, — говорю, — от греха подальше.

Примостившись в кузове фургона, он извлекает термос с обжигающе горячим чаем, две пластиковые кружки, пакет с домашней выпечкой и методично расставляет все это на клетчатой скатерти, которой он покрыл фанерную столеш-

ницу.

— Моя жена убеждена: «Господь запрещает умирать голодным», — с явным расчетом на мужскую солидарность усмехается он.

— Хорошо она о тебе заботится, — говорю.

— Мне не мешало бы сбросить пару килограммов, — отмахивается он, — хотя тебе тоже.

Мы не виделись сорок лет, но нам нечего сказать друг другу.

— С тебя причитаются объяснения, — предъявляю свою страховку.

— Знаю, знаю, — отвечает он; очки его запотели от чая, спрятав глаза от вопросов.

Мы заперты в тишине его жестяного фургона и не сдвинемся с места, покуда не прозвучит признание и не будут возмещены убытки.

— С меня причитается гораздо больше, чем объяснения, — помолчав, говорит он, в голосе его, звучном, как у Гваданьини, зимняя хрипотца. — Вопрос только в том, с чего начать?

8
Время рассказывать

История, которую приходится ему рассказывать — и рассказ причиняет ему боль, — блистает типично довидловскими остротой восприятия, эмоциональностью и самоиронией. Порой, словно извлекая из капсулы времени, он употребляет обороты прошлого века, но в его повести нет ни грамма нафталина. Это не тяжеловесные каденции религиозного старейшины, а захлебывающаяся речь молодого горячего парня, для которого любой жизненный опыт — зазывно полуоткрытая дверь. Некоторые из его историй звучат заученно, словно он много лет провел под стражей в ожидании суда. Другие — свежо, как будто-то он ежедневно наново переживает то откровение, что выдернуло его из действительности.

— Не могу тебе передать, — говорит он, — как давно мне хотелось хоть с кем-нибудь этим поделиться.

— А жена знает?

— Ни в коем разе.

— А дети?

— Может, когда-нибудь я им скажу.

Стоит ли ему верить? Предателям, как известно, доверия нет, поэтому каждую его фразу я окружаю подозрением и в расспросы не кидаюсь. Зная наперед исход событий, я нетерпением не томлюсь и вгрызаюсь в детали, выискивая неувязки и недомолвки. Но пылкий его отчет настолько меня пронимает, что я, за нехваткой контраргументов, понемногу проникаюсь его импульсивной логикой. В конце концов, ему почти нечего скрывать, зато есть много чего бояться. Обмани он меня — и лишится последней возможности обратиться к правде. Слукавь он — и я, как он прекрасно знает, порушу его благостную жизнь и перед лицом его набожных товарищей ославлю его распутником и вором. Прежней любви между нами нет. Правда — единственное, что нас связывает.

И вот он крошит своими щупами печенье и начинает рассказ за двадцать четыре часа до своего исчезновения. Второго мая, выйдя после генеральной репетиции из подвальной студии в Кингсвей-холле в Холборне — «играть там — плевое дело, музыка сама от стен отлетает», — он решил развеяться. Заскочил с дирижером в кон-

тору, взял под расписку денег, а заодно, не отходя от кассы, пофлиртовал с Розалин, девушкой из моей альма-матер, которую я приберегал для себя. Розалин после обеда была свободна, денек стоял солнечный, и она приняла его приглашение съесть по сандвичу и прогуляться в Риджент-парке. Они обнаружили общую склонность к высшей математике и единодушное отвращение к западному либерализму. И раз уж они так славно проводили время, решил Довидл, то отчего бы не продолжить беседу за чашкой чая у нас дома, все равно во второй половине дня там точно никого не будет. По части соблазнения он был ас, и она, простодушно ли, осознанно ли, уступила.

— Ты знал, что я с ней встречаюсь? — невольно вырывается у меня ревнивый рык.

— Догадывался, — буркает он. — Кажется, она упоминала что-то насчет вашего свидания.

— И?

— Что и? Ты был студент. Я — взрослый артист. У меня имелись потребности определенного физического и эмоционального толка. Гордиться нечем, но что было, то было. Ну что, едем дальше?

— Ты обманул меня, увел мою девушку…

— Мог и не уводить, — едко парирует он, — сто-

ило мне попросить — ты бы сам ее уступил.

Подмечено настолько ювелирно, что я предпочитаю промолчать.

— Она того стоила? — спрашиваю.

— Да как тебе сказать? — пожимает он плечами.

После того как Розалин оделась и ушла, он слонялся по дому в посткоитальной тоске.

— Не в твоем она была вкусе, да? — не унимаюсь я.

— Да я и сам выступил не очень.

— Ты предпочитал эдаких мамочек…

При воспоминании о проститутках заросший косматой бородой рот его кривится. Мстительно наддаю, поведав о загубленной судьбе Флорри, его домашней утешительницы. Ноль эмоций.

— Она была к нам так добра, — обобщающе бормочет он, словно ставя нас на одну доску. — Ну что, едем дальше?

Тем вечером он наведался в свои излюбленные тайные норы, но толком развеяться не удалось. В кои-то веки соблюдя наказ моего отца, еще до полуночи он был в постели, но до самого рассвета ворочался, метался. А когда наконец уснул, ему приснился мимолетный сон о маме, и, разбуженный дверным звонком, он проснулся с

ощущением, что она его благословила. Пока такси ожидало внизу, он принял душ и прикончил половинку грейпфрута, а потом схватил тост, скрипку и ссыпался вниз.

— Никогда в жизни у меня не было так покойно на душе, — тихо говорит он. — Словно мама сказала мне во сне: «Все будет хорошо».

Акустическая репетиция заняла пятнадцать минут. Концерт они отшлифовали в Кингсвей-Холле еще накануне; оставалось лишь подстроить звучание под каверну Роял-Альберт-Холла. Довидл сыграл с оркестром короткий пассаж, чтобы дирижер мог проверить звук из зала. Потом одну из тем исполнял глава оркестра, а Довидл становился в зале то тут, то там и слушал. В промежутках они обменивались добродушными колкостями.

— Не забыл надеть свои счастливые носки, Раппо?

— Я играю босиком, забыл? Я ведь беженец без гроша в кармане.

— Смотри, чтоб музыкантам заплатили.

— Присмотрю, но сначала вы, парни, сбросьтесь и поднесите мне приличную охапку цветов.

— Вот нахал!

Дирижер настаивал на еще одной перепро-

верке, но Довидл уже паковал инструмент, и его тесной кучкой, в расчете на приглашение, обступили музыканты. Среди британских скрипачей ему не было равных, и каждый горел желанием закинуть удочку насчет грядущих концертов.

— Заскочим через дорогу, дернем по одной? — предложил первая скрипка.

Довидл покачал головой: ему не терпелось выбраться на солнышко. Но когда за ним захлопнулась служебная дверь в конце зала, солнце скрылось, и со стороны гайд-парковой тундры тянуло холодком.

Дрожа в легком пиджаке, он на мгновение растерялся: мимо громыхали красные автобусы, стайка учениц частной школы в черных шапочках цокотала на лошадках в парк. Проверив карман, он обнаружил, что выскочил без денег на такси. Дирижер после его побега куксился, а никого своих, чтобы на халяву добросили до конторы, не было. Поэтому он перешел на ту сторону и встал на автобусной остановке, припоминая со времен мальчишеских вылазок, что семьдесят третий идет до Оксфорд-стрит, а там можно пересесть на тринадцатый или пятьдесят девятый — и уже до дома.

На остановке стоял мужчина в кепке, судя по

комбинезону и ящику с инструментами, водопроводчик или вроде того. Он чиркнул спичкой о фонарный столб и закурил «Вудбайн». Похлопав себя по карманам, Довидл понял, что вместе с бумажником оставил дома и портсигар.

— Угостить? — спросил водопроводчик.

— Не откажусь.

В те тощие годы дешевый бычок и дым военных воспоминаний стирали многие барьеры. Водопроводчик некогда служил обезвреживателем бомб; Довидл вспомнил, как мастерски и храбро они обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы.

— Ты ж ведь не англичанин, да? — дотошничал мужчина.

— Скоро буду, — ответил Довидл.

— А что у тебя в ящике с инструментами?

— Вся моя жизнь, — ответил мой друг, чувствуя себя словно под микроскопом.

Караваном пригромыхали три автобуса. А вот у немцев, подумалось Довидлу, автобусы в Лондоне ходили бы строго по часам. Водопроводчик сел в первый автобус, он вскочил во второй и, вскарабкавшись на площадку для курящих, расположился на переднем сиденье, чтобы в полной мере насладиться, вероятно, последней,

как он выспренно ее обозвал, поездкой инкогнито. Уже завтра он вряд ли сможет позволить себе проехаться в общественном транспорте неузнанным.

Дороги были запружены, и автобус еле тащился. Заезжий арабский властелин в сопровождении полицейского конвоя катил из Букингемского дворца по важному делу — отовариваться в «Харродзе», и над Найтсбриджем курилось облако выхлопных газов. Довидл не спешил. За окном туманилась Веллингтонская арка, солнце вновь выглянуло из-за туч, и смурной город разом повеселел. Он чувствовал, что сам, как Лондон, находится сейчас в подвешенном состоянии между блистательным прошлым и неизведанным будущим. Уже не имперская махина, еще не оплот космополитизма. В шрамах и щербинах после недавней трагедии и, может, так и не сумеет перенять мастерски выстраиваемого великолепия Парижа — или Крейслера. Он — в последний раз в жизни — ощутил себя слитым с Лондоном воедино.

Оглядевшись и увидев, что остался на площадке один, он закинул ноги на сиденье. Надежно упокоив скрипку под спиной, с удовлетворением закрыл глаза — на минуту, рассчитывая тут же

проснуться, когда автобус наберет скорость.

Пробудившись, он обнаружил, что автобус недвижим, мотор заглушен. Он сидел один-одинешенек на верхней площадке, глядя сверху на загаженный пустырек, усиженный по краям одноликими тусклыми викторианскими домишками. Лихорадочно схватился за запястье: час дня, ничего страшного. Где это он? Наверное, продрых весь путь и докатился до конца семьдесят третьего маршрута — кажется, это задрипанный районч ик на севере Лондона, аккурат между Арсеналом и футбольным стадионом «Сперз». Ничего страшного. Нужно просто дождаться обратного рейса, и уже к двум он будет дома, времени навалом.

Он подхватил скрипку, спустился по витой лесенке и обратился к хмурому диспетчеру в железной будке, который сообщил ему, что «западный в город» на час десять отменен «в связи с болезнью сотрудника», но в час двадцать два будет следующий. Ни книги, ни партитуры у него с собой не было, и он решил пройтись в молочной солнечной дымке, насладиться безобидным приключением. Свернул на Стоук-Ньюингтон-Хай-стрит и угодил в полóн знакомого запаха. Соленые огурчики, с Варшавы их не ел.

В окошке, где торговали яйцами, продавались еще и огурцы, прямо из бочки на тротуаре. Он купил один за пенни и сжевал прямо на улице, упиваясь брызжущим ядреным рассолом, хрусткой кожурой и мягкой плотью под нею. Он был счастлив: «Самое то!» В соседней лавке, у Берковица, предлагались отварная *гефилте* рыба, студень из телячьих ножек, *гедемпте*[77] капуста, рубленая печень.

— Что будете пробовать? — спросил Берковиц.

— Я вышел без бумажника, — ответил Довидл.

— Пробуйте сегодня, — сказал хозяин деликатесов, — завтра купите свежее на *шабат*.

Вкус был дурманящий; он перенес Довидла к прабабушке, на пятничный ужин, где белоснежная скатерть без единого пятнышка, мерцающие подсвечники и бесконечная вереница вкуснейших блюд. Жгучий студень, *пча*, ударил в голову, словно доза героина (да, он пробовал в клубе), и он выскочил на улицу; от вкусовых переживаний и спазмов памяти закружилась голова. Он снова глянул на часы. Ближайший автобус можно и пропустить, поехать на следующем, тем более что он уже перекусил.

---

[77] Примечания: 77
Соленая (*идиш*).

Он оставил в стороне оживленную цепочку лавок и свернул налево, а может, направо, потом опять налево и уткнулся в тупик: железнодорожное полотно там обрывалось, а вокруг не было ни души. После обеда день сделался теплым и тихим. Он двинулся вперед, свернул за угол, за другой, ища обратную дорогу. На проезжей части — ни единого авто, на тротуаре — ни одного пешехода. Если не знать, что это Лондон, можно было подумать, что это Санта-Крус в час сиесты.

Убыстрив шаг, он заметил на углу впереди магазинчик — продуктовый Фрумкина. Зашел спросить дорогу. На мраморном прилавке грудились куски сыра и масла, прикрытые от мух липкой бумагой. Полки зияли проплешинами, и отсутствовал цивилизационный гул холодильника; сквозь щели в полу пробивался свет из подвала. Фрумкин, сухонький мужчина в замызганном фартуке и с курчавыми пейсами, обслуживал покупателя, чернобородого великана в обтерханном пальто, обметающего полами его пыльные туфли. Из их картавого идиша Довидл сумел разобрать, что они не снедь продавали-покупали, а обсуждали один непростой пункт из коммен-

тария к Торе, толкование некоего тосафиста[78] одиннадцатого века о еженедельном чтении.

— Прошу прощения, — кашлянул он.

На него не отреагировали. Он бросил взгляд через закоптелое окно, но прохожих не наблюдалось, на улице было тропически пустынно.

— Неловко вас беспокоить, — он немного возвысил голос, — но не могли бы вы подсказать, как пройти до остановки семьдесят третьего? Я заплутал.

Мужчины даже голов не повернули. Может, глухие, может, просто невежи, а может, так поглощены беседой, что проскачи тут сам пророк Илия на белой ослице, и то бы не заметили. Что оставалось делать? Довидл был артистом. Он знал, как завладевать вниманием публики.

— *Шолом алейхем!* — провозгласил он.

Еврейское приветствие сработало, хоть и исходило от щеголеватого юнца в костюме-тройке, шелковом галстуке и вычурной шляпе — веригах благополучности враждебного, гойского мира.

Высокий резко повернулся и смерил его взглядом черных глаз. Довидл, не моргнув, — гордостью на гордость — выдержал его взор.

---

[78] Примечания: 78
Тосафисты — авторитетные комментаторы Торы.

— *Фин вонен кимт а ид?* — довольно старомодно поинтересовался лавочник: «И откуда еврей родом?»

— *Фин Варше*, — назвал Довидл место своего рождения.

— *Ун вос мит ди мишпохе?* — последовало неизбежное продолжение: «А что с твоими близкими?» Близкие — это те, кого ты потерял там, на той стороне.

Довидл развел руки ладонями вверх, говоря этим жестом: их постигла общая участь. Здоровяк вздохнул и спросил, как его зовут.

— Возможно, я смогу тебе помочь, — сказал он.

— Как-нибудь в другой раз, — уклонился Довидл. — А прямо сейчас мне нужно отыскать семьдесят третий автобус. Меня ждут в городе.

— Тебе не хочется узнать, вдруг кто-нибудь из твоих родных выжил?

Удар был точен, прямо под дых. Сердце бешено заколотилось.

— Что вы имеете в виду?

— У нас здесь есть люди, которые были в варшавском гетто, потом в лагерях. У них превосходная память.

— Вы тоже? — спросил Довидл.

— Я тоже, — подтвердил великан и предста-

вился: — Хаим-Иосеф Шпильман, из Медзыни, побывал в Варшаве, Треблинке, Аушвице, лагере для перемещенных лиц, Антверпене, Стэмфорд-хилле, *шолом алейхем*. Мир тебе.

В каком оранжерейном мире я жил, подумалось Довидлу. Этот человек переходил из свободы в рабство, из ада к спасению, а я только и перешел что из Сент-Джонс-Вуда в кембриджский Тринити-колледж. Шпильман был первый выживший варшавянин, которого он повстречал. Он совершенно не походил на ходячие трупы из кинохроники. Он был большой и крепкий, держался холодно, почти высокомерно. Он затмевал Довидла своей самоуверенностью так же, как Довидл затмевал меня. И Довидл, сам себе удивляясь, почувствовал, как из вожака стаи превращается в послушного ведомого.

— К половине пятого мне нужно быть дома, — предупредил он, указав самый крайний срок.

— Не беспокойся, — ответил Шпильман по-английски, выговаривая слова с небрежным акцентом, — поможем еврею отыскать близких и сразу отпустим домой.

Они двинулись по лабиринту улочек, вдоль которых тянулась железнодорожная насыпь. Шаг за шагом Шпильман с помощью сжатых, безлич-

ных вопросов выведывал его историю. Когда он уехал? Сколько там оставалось? Двоюродных? Троюродных? Все в Варшаве? В Америке никого? Опрос проводился по отработанной, пугающе будничной схеме.

Они остановились у открытой двери обшарпанного жилого дома и вошли. Первый этаж оказался удивительно большим. Перегородки, сообразил он, специально убрали, и получился молельный зал с низким потолком. Выходящие на улицу окна были забелены, от любопытных, и освещение имелось только искусственное — две неоновые трубки и пара оловянных подсвечников. Вдоль стен стояли разрозненные пюпитры и сидели — раскачиваясь и бормоча — десятка два мужчин и мальчиков. Шпильман прошагал на середину, хлопнул ладонью по столу для Торы — *биме*, и объявил:

— Я привел Рапопорта из Варшавы.

Бормотание стихло, лица посуровели. Еще не обзаведшийся растительностью на лице мальчик выскользнул за порог и через мгновение вернулся с худым, сутулым человеком с клочковатой бородой и в ослепительно-чистой шелковой *капоте*. Он был старше Довидла на год, от силы на два. Все встали.

— Ребе, это Довид-Эли Рапопорт из Варшавы, — сказал Шпильман, почтительно наклоняя голову.

— Садись, — сказал тот, кого назвали ребе, и указал на стул.

Довидл беззастенчиво на него уставился, пытаясь понять, в чем его сила, почему перед ним с такой покорностью склоняется могучий Шпильман.

— *Шолом алейхем*, — сказал ребе и пожал Довидлу руку.

— Это Медзыньский ребе, — непонятно пояснил Шпильман.

— Я зовусь Молодым Ребе, — чуть улыбнулся духовный глава, перейдя на гортанный английский. — Отцом моим, мир ему, был Алтер ребе, но ему не суждено было состариться. Он умер в Треблинке, от — упаси нас, Господи, — тифа незадолго до освобождения. Перед кончиной он дал мне наказ беречь книгу душ, в которой мы сохраняли имена тех, кто умер с именем Господа на устах. В ней мы и поищем возлюбленных ваших родных, мистер Рапопорт.

Довидл огляделся. Вдоль стен теснились фолианты, но ребе не стал брать ни одного из них. Источник его знания, как и его авторитет, был

недоступен взору. Он снова взял руку Довидла и держал ее в своих прохладных ладонях.

Алтер ребе — Старый ребе, объяснил Шпильман, нашел свой способ противостоять гонениям. Не в силах сопротивляться с оружием в руках, он призвал паству вести записи о каждом известном им умершем начиная с того дня, как в их обреченную деревню вошли фашисты. Первыми убили прихожан из его собственного молельного дома. На шестой из десяти Дней Покаяния три солдата застрелили шамеса, служку ребе, а потом отобрали двенадцать мужчин, отвели их в лес, велели копать яму, а когда сочли, что она достаточна глубока, теми же лопатами их зарубили. Одного из них, старшего брата Шпильмана, оставили в живых — закапывать могилу и сеять панику. На следующий день его тоже расстреляли. Когда поступил приказ: «Час на сборы в Варшаву», — скованная ужасом община не способна была уже ни бежать, ни драться.

Согнанных в гетто медзыньских хасидов насчитывалась всего сотня семей из сотни тысяч, однако ребе поручил им миссию. Каждого мужчину, женщину и ребенка, умерших от истязаний, голода или естественных причин, каждый лежащий на улице труп, каждый верный случай

смерти надлежало опознать, описать и внести в списки, которые медзыньцы зашивали в подкладку своих одеяний.

— Раз уж мы не имеем возможности исполнить свой долг — омыть и предать земле каждого усопшего, — постановил Алтер ребе, — мы обязаны сохранить память о нем до того дня, пока не отыщется родственник, который почтит его память и прочтет по нему кадиш. Такова наша особая *мицва*.

Опасаясь, что провшивевшую одежду с зашитыми в ней списками отберет так называемый санитарный патруль, Алтер ребе велел хасидам выучить имена наизусть, повторяя их перед сном, после вечерних молитв. Дабы укрепить их память, он прибегнул к методам Бааль-Шем-Това, Обладателя доброго имени, основателя хасидского движения. Собирая евреев из самых низов, подпасков да попрошаек, отродясь не сидевших за партой, Бааль-Шем (сокращенно, по первым буквам имени, его называли Бешт) провозглашал, что грамотность не является обязательным условием для святости. Не ученость, а искренность имеет в глазах Господа наибольшую ценность. «Не умеете читать молитвы из книги, — проповедовал Бешт, — слагайте Господу новую песнь».

Он затягивал свой, придуманный мотив и, то благоговейно, то исступленно, выводил мелодию за мелодией, и глухие сердца обращались к небесам.

Медзыньский ребе, в более тягостных обстоятельствах, воспользовался тем же способом. Он сложил для имен *нигун*, торжественный, но легко запоминающийся. По мере того, как список удлинялся, он вплетал в исходную тему новые вариации. Потом контрапунктом добавил еще одну мелодию — более живую и динамичную, в такт ей так и хотелось притоптывать. Из той мелодии выросла третья, за ней четвертая. Ею завершался каждый вечерний молебен. В душных вагонах для скота на пути в Треблинку, в карьерах и бараках Алтер ребе ежевечерне, *in sotte voce*, вел своих хасидов сквозь бессмертную Песню имен.

— Как звали твоих родителей? — тихо спросил Молодой ребе.

— Отца — Зигмунт, — ответил Довидл, — мать — Эстер.

Ребе улыбнулся и закрыл глаза. Затянул без слов, потом запел приятным низким тенором.

— Рапопорт, *ай* Рапопорт, *ай* Рапопорт, — повел он рапсодию, отбивая такт ладонью по ручке кресла. — *Мир хобен* Рапопорт, Авром, Рапопорт,

Берл *ун* Хая-Сора, *мит киндер* Йосл, Йехиэл ун Лея.

Мужчины и мальчики в молельне вступили, словно хор призраков:

— Рапопорт, Хаим-Довид, Рапопорт, Шуа-Хаим, Рапопорт, Йерахмиэль *ун* Соро *мит* Йехиэль, Шлоймо, Шнейер-Залмен *ун* Ривке, Рапопорт, *ай* Рапопорт, *ай* Рапопорт, *йехи зихром борух*, да будет благословенна память о них.

Довидл раскачивался в такт мелодии и раздумывал, не взять ли скрипку и не подыграть ли. Веки ребе были спокойно опущены, лицо безмятежно. Он пел и пел, *а капелла*, поочередно перебирая всех Рапопортов по еврейскому *алфавет*. Фамилия эта не из редких. Довидл знал, что Рапопорт — искаженное Рав д'Опорто, так звали раввина из Португалии, откуда тысячи евреев в 1497 году бежали от инквизиции. Рапопорты расселились по всей Польше и странам Балтии, и связывали их только бывшая родина и общая судьба.

Второй *нигун* был посильнее. Довидл обнаружил, что начинает дышать в такт, подстраиваясь под его каденции. Музыка, и эти раввины абсолютно точно знали это, впивается в мозг, как клещ. Восприимчивость к этому виду искусств

сохраняется до последнего, невзирая на возраст и деменцию. Для жертв, от которых осталось только имя, музыка — мемориал, неподвластный времени, отрицанию, вандализму. Через песню вилась и вилась цепочка имен. Когда Молодой ребе подобрался к «…Рапопорт Шимон-Зелиг *унд* Эстер *мит киндер* Песя, Малка, Бася-Бейла», Довидл, узнав своих, вздрогнул. Ребе повесил фермату, и хор вывел: «Рапопорт, *ай* Рапопорт, *ай* Рапопорт, *йехи зихром борух*».

— Зигмунта по-еврейски звали Шимон-Зелиг? — спросил ребе.

Довидл кивнул, из глаз брызнули слезы.

— Благодарение праведному Судии, — сказал ребе. — Мой отец его знал. Он вместе с нами ехал в Треблинку, в августе 1942-го, — продолжая раскачиваться, сообщил он. — Когда мы приехали, женщин и детей отвели налево и отправили в газовые камеры. Дата смерти твоей матери и сестер, когда ты будешь читать *кадиш*, *ай* Рапопорт, семнадцатый день месяца ава, запомни это, семнадцатое ава, *ай* Рапопорт. Некоторых мужчин оставили для лагерных работ. Твой отец, Шимон-Зелиг, он же Зигмунт, был в одном бараке с Алтер ребе, на тех же работах, шел в одном этапе с ним, когда лагерь закрыли. Его святая душа отошла

на двенадцатый день месяца швата, в месяце швате, на двенадцатый день, ты будешь читать *кадиш*, *ай* Рапопорт. А еще одна из Рапопортов, твоя двоюродная сестра Хая-Ривке, спаслась из этой мясорубки. *Ай* что с ней было, Рапопорт. Ее освободили русские, и она двинулась на юг, и шла на юг, пока не пришла в порт и не пробралась тайком на корабль, который направлялся в Страну наших отцов. Там она повстречала мужчину по фамилии Штейнберг, который сменил чуждое имя на еврейское Хар-Эвен и трудился на ферме рядом со святым городом Цфат, *ай* Рапопорт. И она вышла за него, *ай* Рапопорт, и родила, благодаренье Господу, ребенка, *ай* Рапопорт. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь[79].

Молодой ребе умолк, открыл глаза. Лицо его, казалось, никогда не знало солнечного света — как и эта молельня. «Их бин дер вельт абханден гекоммен», пришло в голову Довидлу; так называлась прелестная *Lied*[80] австрийского еврея Густава Малера: «Я потерян для мира». Этот

---

[79] Примечания: 79
Исайя, 25:8.

[80] Примечания: 80
Песня (*нем.*).

отрешенный от мирской суеты раввин, едва ли старше него самого, претерпел все зло на свете, каким-то чудом сохранив свою надмирность и, как щитом, отгораживаясь от небытия отцовской песнью. Он, говоря словами пророка, «был выхвачен, как головня из огня»[81].

Однако цитировать Писание и песни не ко времени, понимал Довидл. Наверное, он должен был чувствовать себя, как приговоренный, узнавший о помиловании. Его родители и сестры, как он и боялся, погибли, но в Галилее жила первопоселенка, частичка его плоти и крови, двоюродная сестра. Он не безродный одиночка. В песне смерти открылась жизнь. Он мог найти утешение, скинуть бремя неприкаянности, начать все заново. Но неподъемным, сковывающим было облегчение. Хоть и не тяжким ярмом, но великим грузом легло оно ему на плечи, отчего руки налились свинцом и бессильно повисли. Как я буду играть, если даже смычка поднять не могу, мелькнуло у него.

В правой руке Молодого ребе скупо блеснуло лезвие бритвы.

— Что это? — безучастно спросил Довидл.

---

[81] Примечания: 81
Амос, 4:11.

— Я сделаю надрез на твоем пиджаке и еще один на твоей рубашке, — сказал ребе. — В знак постигшей тебя утраты.

Пока одежду резали, затем рвали, Шпильман успокаивающе и властно держал его за плечи, после чего прочел над ним: «Да умиротворит тебя Его присутствие среди плакальщиков Сиона и Иерусалима». Мужчины и мальчики вторили ему благословляющим эхом; выстроившись в ряд, они по очереди пожимали ему руку и отводили глаза.

— У кого будет он сидеть *шиву*? — спросил ребе на идише.

— *Бай мир*, — предложил Шпильман.

— Но я должен идти, — возразил Довидл.

— Сначала отскорбишь, — не допускающим возражений тоном сказал ребе.

С этими словами жизнь Довидла переменилась.

На смену сотрясавшему фургон шквалистому ветру приходит дробный град, залпами осыпающий его жестяные стены. Каценберг встает, разминает ноги, наливает новую чашку чая и учтиво протягивает мне печенье (молча отказываюсь).

— Не сочти, что я оправдываюсь, — подчерки-

вает он. — Не надо думать, будто я действовал по принуждению, физическому или моральному. Я прекрасно сознавал, что происходит, и мог бы в любой момент воспротивиться, встать и уйти. Никто меня в клетке не держал. Но меня покорил Молодой ребе с его страшной песней, а рядом с Хаимом-Йосефом Шпильманом, таким огромным, ласковым и полным достоинства, я был словно под надежным крылом. Когда я увидел, как этот человек-глыба без рассуждений повинуется Молодому ребе, а сам ребе следует заветам своего покойного отца, чей авторитет через сотни поколений раввинов и ученых восходит к составителям Талмуда, я почувствовал себя пешкой на поле битвы, шестеренкой в осадной машине, влекомой вперед высшими силами. Всю бытность музыкантом меня приучали быть яркой индивидуальностью, иметь уникальный голос. И вдруг меня от этой ответственности освободили. Больше не требовалось ничего доказывать. Я стал просто евреем, покорным тем же обычаям и обязанностям, и вместе с другими евреями разделял все наши тяготы и невзгоды — начиная с исхода из Египта, Святой земли, Испании и Португалии и заканчивая нынешними, из Польши и Германии. У меня больше не было личных устремлений,

ведь я уже не страдал от одиночества. Вот что неотступно пленяет и притягивает меня. Вот почему я остался. Ты понимаешь, о чем я, Мартин?

Воздерживаюсь от кивка, хотя все, конечно, понимаю. Типичная для конца двадцатого столетия епифания. Мой впечатлительный друг угодил в секту фанатиков, где утратил свое «я» и превратился в зомби. Нет, поправляю я себя, не совсем так. У него и по сей день слишком живой ум и отменная самокритичность, чтобы вот так разом, за здорово живешь, отринуть иронию и сунуть голову в петлю нерассуждающей веры. Скорее всего, его полонение — результат нескольких напластований: детской травмы из-за гибели родных, харизмы Молодого ребе и зловредного вмешательства этого Шпильмана, который, по-видимому, решил, что способен лучше, чем я, провести его по минному полю жизни. От этого добавочного предательства нутро мое сводит ревностью.

— Когда ты вышел из того молельного дома, — делаю попытку его прищучить, — ты что, не мог мимоходом глянуть на часы и озадачиться мыслью: меня ждут в другом месте, у меня вечером выступление, люди на меня полагаются? О реальности ты вообще больше не вспоминал?

— Едва я вышел от ребе, — спокойно ответил он, — я ни на миг не оставался один, без присмотра.

Его усадили на пол в гостиной в тесной квартирке Шпильмана на последнем этаже, в доме без горячей воды и центрального отопления — здоровяк жил в нем вместе с четырьмя другими семьями из Медзыни. На Шпильмана, его глубоко беременную жену и двух маленьких сыновей приходилось три комнаты и кухня; удобства располагались двумя этажами ниже. Миссис Шпильман — муж звал ее Хавале — без единого слова подавала напитки и еду всю неделю, пока шла *шива*. Довидл извинился за причиненные неудобства, и она устало улыбнулась.

— Это *мицва*, — отрывисто бросила она. — Пусть это горе станет для вас последним.

Трижды в день, утром, в обед и вечером, с десяток мужчин приходили читать молитвы, в конце которых он запинающимся голосом произносил *кадиш*, а они выводили неистовые «аминь». В остальное время он сидел на полу и принимал посетителей — незнакомых мужчин, которые делились с ним собственными историями и расспрашивали о его потере. Когда никого не было, с ним оставался Шпильман. Рассказывал

о туристическом агентстве, которое создавал, о том, как продает билеты до Израиля и Америки. Ни жизненными обстоятельствами Довидла, ни лежащей возле него зачехленной скрипкой он не интересовался. Его волновало лишь, есть ли у его подшефного все необходимое для отправления вековечного долга скорби.

Строго и проникновенно Шпильман объяснил правила *шивы*. Скорбящий не должен предаваться развлечениям, в том числе утешаться супружескими обязанностями. Ему не дозволяется обуваться, менять одежду, бриться и принимать душ, работать и готовить еду. Читать разрешено лишь книгу Иова и Эйха[82]. Из дома разрешается выходить только в шабат, когда, как принято считать, горе и страдания прекращаются даже в печах преисподней. Неделя скорби, объяснил Шпильман, это туннель душевных терзаний, в конце которого горит свет. Ритуальный ингибитор смертности и суицидальных настроений, определил рациональный Довидл.

Когда Довидл попросил Шпильмана рассказать о себе, здоровяк от ответа уклонился.

— Свое прошлое я оплакал, — сказал он. — Те-

---

[82] Примечания: 82
То же самое, что Плач Иеремии.

перь смотрю в будущее и жду, когда настанут дни воздаяния, когда придет Мессия.

— И ты был тверд в вере своей даже в лагерях?

— В Аушвице, — ответил Шпильман, — один человек, коммунист, как-то сказал мне: «Какой злой у тебя Бог, какие страдания Он причиняет неповинным детям». Я ответил: «Злой не Бог, а человек, и страдания причиняет человек. Бог непостижим. Умей мы Его постичь, Он не был бы Богом».

— И Он всегда отвечает на твои молитвы? — спросил Довидл.

— Всегда, — подмигнул Шпильман. — Преимущественно отказом.

На седьмой день в полдень пришел Молодой ребе. Взял Довидла за руку, поднял с табурета и повел в столовую, где стояли блюдо с холодной рыбой и картофельный салат. Когда отзвучали молитвы, ребе процитировал отрывки из писаний мудрецов о конце света и обещанном воздаянии. Была пропета Песня имен — от начала до конца. Довидл прочел *кадиш*, и все собрались уходить.

— А что теперь? — спросил он Шпильмана, тот перевел взгляд на ребе.

— Это решать гостю, — ответил ребе. — Он

полностью исполнил долг, предписанный нам заповедью, отдал дань памяти родителей. Теперь он может остаться с нами, изучать Тору и стать *эрлихе ид*, настоящим евреем, а может с миром вернуться туда, откуда пришел.

Двенадцать пар глаз медзыньцев следили за первым за неделю волеизъявлением Довидла — он взвешивал все варианты течения своей жизни до самого ее конца. Он потер подбородок и наткнулся на колючую щетину. Попытался найти подсказку у ребе, но тот отводил глаза. Довидл заметил, что ребе старается не использовать личных местоимений. Обратиться к человеку напрямую значило проявить неучтивость, нарушить четыре локтя его личного пространства. Особо приставучим ребе давал в лучшем случае направление, но ни в коем случае не пошаговые инструкции. Сделать жизненный выбор за других — немыслимо. Решения — дело самого индивида, его разума. Тут духовные пастыри указаний не дают.

С мертвой точки их сдвинул Шпильман.

— Прошу прощения, ребе, — сказал великан, — но вернуться нашему гостю уже не получится. Его разыскивает полиция.

При слове «полиция» ребе вздрогнул. Довидл

не удивился. К тому моменту он уже знал, что некоторые, с его точки зрения безобидные, существительные для медзыньцев звучат зловеще. К примеру, галстук. Хасиды галстуков не носили, даже в шабат. На его вопрос почему, Шпильман объяснил, что, завязывая галстук, человек как бы крестится, а этого любой ценой нужно избегать.

Когда однажды утром Довидл после благодарственной молитвы невзначай произнес псалом на латыни, Шпильман подавился бутербродом.

— *Вус ис дус?* — рявкнул он.

— Классический язык, — ответил Довидл.

— Классический? — загремел хозяин. — Это наречие варвара, сровнявшего с землей наш Храм. Да сгниет его тело и память о нем забудется, аминь.

Довидл не стал острить по поводу этого предрассудка: его, он понимал, питала свежая память о прокуренных ладаном церквях, с кафедр которых священники благословляли зверские погромы мирных соседей. Шпильман был сельским евреем старой закалки: классическое образование не коснулось его своим просветляющим крылом. Между современностью и его представлениями о ней лежала неодолимая пропасть. Была понятна и настороженность Молодого ребе по

отношению к столичным полицейским. Для него слово «полиция» означало не «бобби» навытяжку и не инспекторов в кепке блинчиком на государственном жаловании. Для него оно значило преследователя, тирана, носителя враждебной власти. При упоминании полиции его лицо сделалось трупно-серым, глаза сузились.

Шпильман выложил на стол большую газету с портретом Довидла на первой полосе. Прочел подробности: вся страна ищет пропавшего скрипача, награда в тысячу фунтов за любую информацию, которая поможет вернуть его живым и невредимым. Ребе слушал молча, только водил пальцем по полям газетного листа, словно надеясь обнаружить там вспомогательные комментарии тосафистов.

— Верните меня и потребуйте вознаграждение, — в шутку предложил Довидл, улыбаясь перепуганным медзыньцам.

С его точки зрения, ничто не мешало ему как ни в чем не бывало вернуться в наш дом. Он мог бы объяснить свое отсутствие временной амнезией, вроде той, что постигла детективщицу Агату Кристи в 1926 году, когда затрещал по швам ее брак. Подобные выходки, которые время от времени приключаются с художниками в состоянии стрес-

са, охотно им прощаются. Можно было просто заявиться на порог и сказать, что неделю спал на улице. Изрезанная, вся в копоти одежда, щетина на лице были бы тому наглядным подтверждением, а мы бы испытали такое облегчение, что ни о чем расспрашивать не стали. Возвращение блудного сына не самая, возможно, удачная метафора для упоминания в компании ветхозаветников. В присутствии медзыньцев он счел за лучшее воздержаться от апокрифических аллюзий.

— Я могу это уладить, — сказал он Шпильману. — Полиция будет рада замять дело, и никто не узнает, где я был.

Шпильман посмотрел на ребе, тот покачал головой.

— Это опасно. Полиция может избить его дубинками или посадить на всю ночь в бочку с ледяной водой, чтобы выудить признания.

— Но здесь не Польша, ребе, здесь Англия, — запротестовал Довидл.

— Англия, — припечатал ребе, — тоже христианская страна.

На плечо легла тяжелая лапища.

— Не огорчай ребе, — произнес Шпильман. — Ребе лучше знает, как нам поступать.

Неделю назад такая безропотность Довидла

просто бы насмешила. Теперь он воспринял ее как освобождение. Он больше не принадлежит классу, который «определяет ход событий». Можно расслабиться и пустить все на самотек, Хаим-Иосеф Шпильман и мудрый медзыньский ребе обо всем позаботятся. Они совместными усилиями сняли с него бремя невыносимой ответственности за талант и ввели в мир, где все равны перед Богом и равно подчинены его предвечным законам, которые раввины толкуют и передают из поколения в поколение.

— Он мог бы, наверное, остаться, пока шумиха не уляжется, — пробормотал ребе, который, как подметил Довидл, был по своему воспитанию не способен отдавать приказания.

При всем своем громадном авторитете ребе предпочитал действовать с помощью предположений. Его идиш был начисто лишен приказных слов.

— Оставайся с нами, — напирал Шпильман, — будешь стоять на одной ноге, а мы будем учить тебя всей-всей Торе, так мудрец Гилель всегда поступал со скептиками. Ты узнаешь пути твоих отцов…

— Мой отец не был *фрум*, — возразил Довидл.

— Зато, прости, твой дедушка был, и его предки

тоже. Разве не передавали они легенды и вымыслы от отца к сыну, поколение за поколением? Твой отец, мир его праху, отступил от этой традиции, как отступили многие евреи в городах и в двадцатом веке. Они уклонились от праведного пути. Из тех, кто выжил после Гитлера, многие снова обратились к Торе. Это единственная наша истина. Давай, поучись немного, а потом иди. Что тебе терять?

«Ничего, — подумал Довидл. — Ничего особенного, разве что всемирную славу да столько денег, что хватило бы на шесть жизней».

— Почти ничего, — ответил он Шпильману.

— Вероятно, будет лучше, если он пересидит здесь еще неделю, — сказал ребе, — тогда у него отрастет густая черная борода, и ни один полицейский, ни один соглядатай на улице его не узнают.

«Еще через неделю, — подумал Довидл, — я и сам себя в зеркале не узнаю».

Ребе, как ему потом потихоньку признался Шпильман, беспокоился не столько о безопасности беглеца, сколько о благополучии некоторых хасидов, чьи паспорта и источники дохода не были, как он выразился, «строго кошерными». Многие приехали в Британию по поддельным

документам. Они зарабатывали на жизнь переброской незадекларированных алмазов из крупнейших огранoчных центров в центры торговые — в Антверпене, Йоханнесбурге, Тель-Авиве и Манхэттене, на 47-й улице. Пережившие войну, они довольствовались самым минимумом. От отчаяния могли словкачить или своровать, оправдываясь тем, что лишнего не берут и обходятся без насилия. Костей не ломают; крадут в рамках прожиточного минимума; работают ровно столько, чтобы обеспечить своим семьям кусок хлеба, одежду и крышу над головой.

Работа в жизни медзыньцев не была самоцелью. Эти традиционалисты жили от шабата до шабата: утром в пятницу спешили на рынок, затем на ритуальное омовение в микве и наконец шли домой, где облачались в золотую *капоту* и меховую шапку, *штраймл*. Всю неделю они во всем себя обделяли и ограничивали. А в пятницу вечером стол ломился от деликатесов, столовое серебро сияло в огоньках свечей, звучала Песнь Песней, глаза мерцали и супруги освежали свой брачный союз в эротическом согласии со святой субботой. Отряхнув гнет повседневности, они сливались во взаимной гармонии и всепоглощающем единении.

С момента пятничного заката и до появления трех звезд на вечернем субботнем небосклоне все бытовые хлопоты исключались. Медзыньцы не кипятили на кухне чайник, не щелкали выключателями, не распечатывали писем, не реагировали на телефонные и дверные звонки; выносить что-либо из дома, даже в кармане, запрещалось; ничто не должно было нарушать возвышенное течение шабата. А когда, уже вечером, в серебряную чашу — *кидуш* — наливалось сладкое красное вино, в знак прощания с возлюбленной субботой возносилась благодарственная молитва, мужчинам и женщинам предлагалась коробочка со специями — вдохнуть, взбодриться и вернуться к реальности.

В таком трансцедентальном трансе Довидл провел с медзыньцами месяц, постепенно перенимая их архаичный жизненный ритм. Ему это напоминало знакомство с средневековым манускриптом: вместо нот — абракадабра, инструменты грубы и терзают неподготовленное ухо — «словно Гваданьини на дудочку променял». Прежние представления о том, что есть прекрасное и что есть музыка, пришлось пересмотреть. Лишь очистившись от предубеждений, сумел он оценить прелесть иной системы ценностей.

Хасиды, которые посещали его в дни скорби, теперь ежедневно приходили, чтобы изучать с ним Тору в толкованиях Раши, а после полудня читать сочинение святого пророка шестнадцатого века Йосефа Каро «Накрытый стол» — свод законов и обычаев верующих евреев. Четкостью замысла и нестареющей актуальностью оно напомнило ему «Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха, сборник прелюдий и фуг на любые случаи жизни — во всех мажорных ключах и во всех минорных. Делиться своей аллюзией он не стал, имя Баха хасидам едва ли что-то говорило, однако созвучие между религиозной и музыкальной практиками больше не казалось ему случайным. В обоих случаях требовались каждодневные многочасовые упражнения и отрешенная погруженность в предмет. На какое-то время он даже засомневался, не сменял ли он одни галеры на другие.

Для передышки хасиды рассказывали баснословные легенды о раввинах прежних времен, и порой их распевное бормотание складывалось в настоящую песнь — их музыкальное наследие. А не мог ли Бааль-Шем-Тов (1696–1760), вдруг пришло ему в голову, где-нибудь пересечься с И. С. Бахом (1685–1750)? Они были почти абсо-

лютными современниками, каких-то десять лет разницы. Оба много путешествовали: почему бы им, Баху и Бешту, не столкнуться в каком-нибудь придорожном трактире? И почему пианисты именуют «Хорошо темперированный клавир» «Ветхим Заветом для клавишных»? Бах ни на йоту не был евреем, но разве не еврею, Феликсу Мендельсону, довелось возродить исполнение его музыки спустя сто лет забвения? Своими домыслами Довидл не делился, молча глотал свою межкультурную мешанину. Со временем противоречия в голове улеглись, и он пришел к выводу, что формы служения не так уж сильно разнятся между собой и что ни одно из них не обладает монополией на божественное откровение.

Хотя во время бар мицвы еврей в Довидле крепко спал, сейчас он, будучи постоянно востребован, поднял голову и пустился в рост. Оказалось, что идиш, с младенчества забытый, никуда не делся. Довидл поглощал знания с волчьим аппетитом и превзошел некоторых своих учителей. Его вопросы, отчасти еретические, они переадресовывали Молодому ребе, который всегда знал ответы, но не всегда ими удостаивал. Ребе был вместилищем всех знаний, однако, подобно Иосифу в Египте, регулярно их пополнял, подкапливая в

закромах запасы на случай бесхлебицы. Довидл был убежден: обратись он к ребе с каким-нибудь музыкальным затруднением, тот, хоть и не умея прочесть партитуру, но обладая прекрасным слухом и блестящим умом, решил бы его с помощью одной только логики. А если бы при этом понадобилось расшифровать значки на листе, он бы за какой-нибудь час выучился читать ноты по самоучителю. Ни один из известных Довидлу музыкантов не смог бы разрешить теологический парадокс и со знанием дела порассуждать о происхождении Вселенной. Ребе же обладал такими залежами информации и такими аналитическими способностями, что ему под силу было все, с чем бы он ни столкнулся. Эти качества всегда восхищали его во мне, но ребе меня затмил.

Однажды утром, когда они со Шпильманом изучали арамейский, язык мистической каббалы, к их пюпитру в синагоге поднялся Молодой ребе. Они встали.

— Прошу прощения, — сказал ребе, — но, вероятно, придется переправить нашего гостя в более надежное место.

В дрожавшей руке он сжимал письмо от президента Совета депутатов британских евреев, в котором медзыньскую общину извещали о

пропаже скрипача польско-еврейского происхождения и просили при возникновении любой информации известить, через Совет, столичную полицию. В письме не было ни единого намека на то, что исчезнувший музыкант находится у медзыньцев, и все же письмо на официальном бланке, с тисненой шапкой смутило ребе, а упоминание о полиции обострило его страхи.

— Из Лондона надо уезжать, — сказать ребе. — На севере недавно открыта ешива на сорок студентов. Там все носят темные бороды и длинные *капоты*. Новый человек не будет бросаться в глаза.

— А надолго мне туда? — спросил Довидл, поражаясь собственной покорности.

— На месяц, на год, как захочется, — успокоил его Шпильман. — Вернешься *талмид хохем*, ученым человеком, и мы подыщем тебе *шидух*, милую невесту.

— Когда ехать? — спросил Довидл.

— Машина у ворот, — ответил Молодой ребе, протягивая ему худую — кожа да кости — руку.

Довидл наклонился и поцеловал эту руку, в венах которой, казалось, не было ни кровинки. Он чувствовал: это еще одно расставание навсегда, он больше не увидит этого человека.

На то, чтобы взять скрипку, принадлежности для молитвы и смену одежды из дома Шпильмана, потребовалось всего несколько минут. На обратном пути в молельный дом он на той стороне улицы увидел рабочего в синем комбинезоне и кепке — ростом и комплекцией точь-в-точь тот водопроводчик на автобусной остановке. Прикрывая лицо сумкой с *талитом*, Довидл юркнул в поджидавшее авто и попросил сидевшего за рулем Шпильмана немедленно трогать. Неужели за ним следят? Это уже не имело значения, и все-таки ему хотелось поскорее уехать и сменить атмосферу.

Они проскочили разросшиеся лондонские пригороды, миновали Эдмонтон, где в одинокой могиле покоится доктор Штейнер. На магистрали A1 можно было напороться на полицейскую проверку, и они предпочли просочиться на индустриальный северо-восток через равнинную Восточную Англию, сделав по пути три остановки — заправиться, помолиться и полюбоваться желтеющей красотой раннего сельского лета. Двое чернявых мужчин в длинных черных пальто, раскачивающиеся средь луговых злаков, могли возбудить у местных подозрение, но под защитой благой цели своего путешествия наши друзья

ощущали себя в безопасности и напропалую распевали в машине попурри из медзыньских мелодий.

Уже в темноте их «воксхолл» докатил до ворот Олдбриджской ешивы, преуспевающего учебного заведения, спрятанного за фасадами трех типовых жилых домов. В нем имелись зал для молитв, комнаты для занятий, кухня и спальни. Довидлу отвели койку в клетушке с тремя соседями. Там было так тесно, что вставать и одеваться приходилось по очереди, но новые товарищи приняли новичка учтиво, и обошлось без трений.

Официальное его обучение началось наутро, после молитв и щедрого завтрака, с талмудической сессии — и она вышибла почву у него из-под ног. Сначала два человека ухватились за покрывало для молитв, *талит*, и каждый, насколько он понял, заявлял на него права. Но рассуждения их то и дело сворачивали в посторонние закоулки: срок действия обета, смысл денег, природа жертвенности, пророк Илия — и все это без пауз и знаков препинания, зато с обилием противоречащих друг другу цитат из раввинов разных времен и стран. К концу второго часа Довидл чувствовал себя раздавленным, уничтоженным, отщепенцем.

После кофе учащиеся разбились на пары в зале для молитв и проверяли только что выученные полстраницы. Довидлу попался Йоэль из Вильнюса, и он поделился с ним своим потрясением.

— Так в этом и состоит прелесть Талмуда, — ответил Йоэль. — Как правило, одновременно обсуждаются сразу три разных вопроса, связанных одним, двумя и так далее из тринадцати признанных методов толкования. У каждого вопроса две стороны, и относительно каждой существуют противоборствующие мнения. Для каждого мнения наберется по пятнадцать, считая до сегодняшнего дня, веков заслуживающих внимания комментариев. Штука в том, чтобы, удерживая в голове главный вопрос, последовательно, один за другим, отметать второстепенные аргументы. Когда этому научаешься, это ни с чем не сравнимо.

Так, в парном спаринге и перекрестной пикировке, студенты разбирали текст на послушные пряди. Довидлу это отчасти напомнило, как он учился музыке у доктора Штейнера: вслушиваясь в его игру, с помощью опыта и интуиции проникал в глубинную суть нот. Однако еще ни разу, ни в одном произведении, он не встречал столько свободных нотных линеек, столько возможно-

стей для интерпретации. Это так его захватило, что когда пришло время прерваться на дневную молитву, он сокрушенно взвыл.

— Потом продолжим? — спросил он у Йоэля.

— Сегодня уже нет, — ответил литовец. — После обеда дадут трактат намного сложнее — о ритуальной чистоте. У тебя будет другой напарник.

В семь штудии завершились, но многие студенты вернулись после ужина в комнату для самостоятельных занятий и раскачивались над толстенными томами кто до полуночи, кто еще дольше. Вновь встретившись наутро с Йоэлем, Довидл решился опробовать на нем кембриджский парадокс о сотворении мира: «Что было до самого начала, когда Бог создал небо и землю?»

Йоэль легко расщелкал задачку. В основе вопроса, вздохнул он, лежит неверный греческий перевод ивритского словосочетания *берешит бара*, которое означает не «Вначале сотворил Бог», а «В начале сотворения Божьего». Сотворение — акт непрерывный, пояснил он, это процесс, в котором человечеству посчастливилось принимать участие. До начала мира был Бог. Не станет мира — Он все равно пребудет вовек.

Но как же тогда, настаивал Довидл, идея, выдвинутая рядом христианских теологов, что все

созданное Богом суть упорядоченные элементы вроде огня и воды, которые существовали и до Сотворения, — что порядок есть, как выразился поэт Александр Поуп[83], «первый закон небес»? Это нелогично, сказал Йоэль. Если эти элементы существовали до Бога, как тогда он смог ими оперировать? «Организационная» гипотеза о Сотворении противоречит фундаментальному иудео-христианскому верованию в *creation ab nihilo*, тому, что у евреев называется *йеш ме'аин* — сущее из ничего.

— Можно я еще тебя поспрашиваю? — сказал Довидл.

— Спрашивай, о чем хочешь, — ответил Йоэль. — В поисках знания дозволяется все. Тебя интересует, сколько лет миру — сто миллионов или же, согласно нашим подсчетам, пять тысяч семьсот десять? Для нас этот вопрос не является насущным. В Торе сказано, что мир был создан за шесть дней, но дни эти не есть буквальные единицы времени, по двадцать четыре часа в каждой. Еврейское слово «дни» — *ямим* — и слово «моря» совпадают: они неизмеримы по протяженности и глубине. День может длиться столько, сколько

[83] Примечания: 83

Александр Поуп (1688–1744) — крупнейший поэт британского классицизма.

пожелаешь. Время в Торе относительно, это прекрасно знал Эйнштейн.

— Разве не должны мы верить в некую непреложность?

— Наши раввины извечно пытались и пытаются постичь, как происходило Сотворение мира. Некоторые из них своевольно вынимали из текста второе и третье слова, и получалось: «В начале Он сотворил Бога». И это тоже не ставит нас в тупик. Бог — это *sui generis*[84]. Он был, есть и будет. А теперь давай вернемся к вопросу о том, кому именно принадлежит это спорное покрывало для молитв. Рабби Йоси утверждает…

Довидл был потрясен. Этот литвак, студент ешивы, не сведущий ни в естествознании, ни в математике с философией, только что разделался с загадкой, над которой в Тринити неотрывно чахли ученые-теологи. С таким жаром отстаивать креационизм можно только при укоренившейся, железобетонной вере, при этом достаточно гибкой, чтобы давать отпор современным идеям. Но откуда у его напарника такой аналитический инструментарий?

— В Вильнюсе, — усмехнулся Йоэль, — ло-

---

[84] Примечания: 84
Единственный в своем роде (*лат.*).

гически мыслить учатся раньше, чем ходить. Виленский гаон ни в грош не ставил экстатический путь Бааль-Шем-Това, он считал, что вера должна базироваться на железных доводах. Музыку, мистицизм и прочие чувственные допинги на дух не переносил. Путь к истине у нас был вымощен знаниями.

Тут Довидл попался окончательно. Интеллектуальное удовольствие от Талмуда — жаркие многофигурные диспуты вплоть до наступления последней ясности — захватило его ум так властно, как никогда не удавалось музыке. Когда получалось расколоть какой-нибудь крепкий орешек, его охватывало почти экстатическое состояние: ему чудилось, что от убожества смертной мысли он уносится в высшие сферы понимания. Это затягивало. Чем больше он изучал Талмуд, тем в больших дозах его нуждался. В посты и дни скорби, когда заниматься запрещалось, он испытывал настоящую ломку.

Вскоре он уже числился первейшим кандидатом на *смиху* — рукоположение, после которого он стал бы раввином и учителем и влился в беспрерывный, начинающийся с Моисея, процесс интерпретации текстов. Его первый *ворт*, устное научное выступление перед всей ешивой, был

встречен одобрительным гулом и дождем стрел блистательных опровержений. Довидла с его выпестованным в Кембридже умом поражало, что никто не спрашивал, верует ли он. Вера в Бога воспринималась как данность. Главное — соблюдать Его заповеди. Веровал ли Довидл? На том этапе — не слишком. По мне, так просто сказались последствия пережитого стресса, и, попав в закрытое сообщество, он легко поддался на утешения и увещевания.

Через полгода его навестил Шпильман, привез новости о медзыньцах и постигшей их оглушительной трагедии. Молодой ребе, новоиспеченный муж, умер от кровоизлияния в мозг в возрасте двадцати четырех лет — сказались последствия геноцида. Его хасиды были парализованы горем и ужасом. У ребе не осталось ребенка, наследника династии. А община слишком мала, чтобы выжить без главы. Чтобы сохранить свои мелодии, свою Песню имен замученных людей, придется примкнуть к какому-нибудь более крупному хасидскому двору, лишиться автономии и самобытности. Нет больше дома, сокрушался Шпильман, некуда Довидлу возвращаться.

Он воспринял свою бездомность спокойно.

Телом и душой его завладела ешива. Сгладила его острые углы, усмирила низменные порывы. В ее стенах, в замкнутом мужском мире, он расцветал и ощущал себя в такой безопасности, какой не испытывал нигде с тех пор, как покинул отчий кров. Он был слишком колким, чтобы сделаться всеобщим любимцем, слишком скрытным, чтобы стать любимцем наставника. Но он являлся на свадебные торжества со скрипкой и жарил традиционные мелодии, с вариациями, в своей, необычной трактовке, вознося эти отгородившиеся души на недопустимую для них высоту, и о нем заговорили как о *йенука*, юном гении, чье дарование надлежало беречь и лелеять.

До принятия *смихи* оставалось всего несколько дней, как вдруг *рош ешива* призвал его к себе и без обиняков предложил руку своей дочери, семнадцатилетней Брохи. Довидл был изумлен.

— Но вы же ничего не знаете обо мне, о моей семье, о том, откуда я родом… — забормотал он.

Первоочередное значение в раввинистических союзах имело ученое происхождение, за ним следовали религиозное рвение и благосостояние. В качестве жениха Довидл проигрывал по всем статьям.

— Знаю я достаточно, — ответил *Рош*, ученый

аскет из приморского города на Балтике, истребившего всех своих евреев, — а чего не знаю, то почерпнул из внимательных наблюдений. Тебе суждено стать великим раввином, светочем, который воссияет в нашей ешиве.

— Он ошибся, — усмехается Довидл (буря над Северным морем замирает в последних содроганиях). — Я никогда не стремился отличиться в священных штудиях. Не горел желанием публиковать респонсы[85] и комментарии петитом; лучшим стимулом для меня было вселять во все новых моих учеников радость познания. Больше всего мне нравилось наблюдать, как в юноше, в его уме и сердце, пробуждается любовь к Торе.

После кончины тестя главой ешивы предлагали стать мне, но лезть в административную петлю и брать на себя ответственность за всю ешиву мне не хотелось. Он думал, я стану для общины светочем, превзойду его самого. Зная мои коммуникативные способности, он не мог взять в толк, почему они у меня распространя-

[85] Примечания: 85

Респонсы — один из жанров ѓалахической литературы (с VII века), «вопросы и ответы», отражающие решения авторитетных раввинов в тех или иных жизненных ситуациях.

ются только на четыре локтя[86]. Мне пришлось горько его разочаровать, как и всех других своих наставников. У его смертного одра я отказал ему в последней просьбе.

Повесть близится к концу. Счет предъявлен, бухгалтерские книги сведены. Остается лишь пробежаться по графам и подвести итог. Он неохотно описывает, как после смерти *Роша* вспыхнула борьба за власть, как *машгиах рухони*, духовный наставник и декан, предложил сделать из ешивы более современное, открытое учебное учреждение. *Машгиах* хотел устроить приют для еврейских выпускников школ, чтобы они проводили здесь тот год, что остается им до зачисления в университет. Довидл яростно воспротивился этому плану: вместе с приятелями-бунтарями сколотил группу и выдвинул в президиум Йоэля, своего сокурсника-литвака. Это было совсем не то, с грустной усмешкой признался он, что выборы главы колледжа в Тринити, — ожесточенное, по всем правилам, столкновение принципов, личностей и грубой прозы жизни. Девятью голосами против шести на раввинском совете Йоэля избрали *Рошем*, а Довидл занял освободившую-

[86] Примечания: 86

«Четыре локтя Ґалахи» — Тора и основанный на ней еврейский закон, радость, которая всегда остается с евреем и которую у него не отнять.

ся должность *машгиаха*, главным образом для того, чтобы укреплять Йоэля в его намерении сохранить ешиву для тех, кто готов посвятить изучению Торы всю жизнь. В интро-экстроспективном расколе, который случается в каждой системе верований, Довидл отстоял интересы созерцающих свой пуп.

— Сделайся здесь проходной двор — толпы снующих родителей, их чада из классических школ, — я бы не выдержал, — признается он. — Мне не хотелось иметь никаких сношений с внешним миром. Отводить глаза, опасаясь, как бы кто из докучливых родителей не узнал меня прежнего и не полез с расспросами, — я бы этого не вынес. До сих пор, идя в магазин, я то и дело озираюсь через плечо, не следят ли за мной. Кто? Понятия не имею. И все равно, стоит мне завидеть рабочего, околачивающегося на углу, или подростка, глазеющего на мое необычное одеяние, как мне сразу вспоминается тот пытливый водопроводчик на остановке семьдесят третьего, и я прибавляю ходу или подзываю такси. За внешним благополучием, Мартин, скрывается загнанный человек, терзаемый чувством вины. Не так-то легко мне все это далось, как может показаться, и порой я молился о том, чтобы все

это закончилось.

Мой тесть, мир его праху, хотел сделать из меня знаменитого ученого, но какое бы имя я ни принял, это был бы не я. Я и сам не знаю, кто я. Хаим-Иосеф Шпильман выправил для меня поддельные документы — он их часто делал для своих туристов. Женился я под фамилией Каценберг. Так меня знают мои дети и так было указано в паспорте, когда я как-то раз выбрался в поездку на Святую землю. Хотел повидаться с единственной двоюродной сестрой, Хаей-Ривке Хар-Эвен, да в последний момент побоялся, что меня рассекретят. В итоге Шпильман, когда ездил на паломничество в Цфат, посетил ее от моего имени. Она оказалась воинствующей сионисткой и безбожницей: подавала молоко вместе с мясом и насмехалась над нашей святой верой. У нас с ней не было бы ничего общего, даже имени: оба сменили его, подлаживаясь к жизни после катастрофы.

Больше, в общем-то, и рассказывать нечего. Я прожил здесь сорок лет, вырастил детей, заслужил некоторое уважение, может, даже и любовь. Старшая дочь вышла за сына Шпильмана, он стал раввином и преподает в семинарии в Нью-Джерси. Остальные дети, слава Богу, тоже пошли

по моим стопам, вплоть до меньшого, который учится у нас в ешиве. Вот и вся история. Я стал тем, кем захотел сам, а не тем, кем меня хотели видеть другие.

Он с явным облегчением раскрывает лежащие на столе руки — дескать, вот он я весь, как на ладони, выложил все, как на духу. Верю ли я ему? В общем и целом да, но вопрос доверия теперь меня не слишком занимает, не более чем его дружков-раввинов. Происходящее в потаенных глубинах сердца сокрыто от человеческих глаз, ибо нематериально. В расчет надо брать лишь поступки, лишь то, что человек содеял со своей жизнью. Счет был выставлен своевременно. Теперь настало время начислить пени и выбрать способ его погашения. В голове моей зреет план действий. Поджав губы, я молчу; в салоне повисает гнетущая тишина. Вперяюсь взглядом ему в глаза: сдавайся. Довидл на эту детскую подначку не ведется. Молчание затягивается. Он трубно, прерывисто вздыхает: *уфу-фу-фу-фу-фух*. У меня свербит в носу, и я ныряю в карман за платком.

Внезапно он встает и объявляет, что хочет отойти по естественной надобности. Хлопает дверца прицепа, он устремляется прочь в своем мятущемся на ветру черном пальто и замирает

на самом краю обрыва, в шестидесяти метрах над оловянным морем. Стоя спиной ко мне, он поднимает голову, смотрит на несущиеся по небу тучи, а потом слегка приседает — так делают люди, когда хотят сбросить бремя.

9
Время расплаты

В ожидании Довидла расчехляю ручку и на обороте самодельного бланка для подсчета очков с конкурса молодых музыкантов Тосайда — кажется, с тех пор прошло уже лет сто — наскоро набрасываю план. Предстоят звонки, сметы, наем и обучение персонала. Малой кровью не обойтись, но я сдюжу. Во мне уже давно дремлют все необходимые навыки. Мне не терпится приступить к делу.

Когда через несколько минут я поднимаю голову, на том месте, где стоял Довидл, зияет пустота — небеса и море. В панике выскакиваю наружу, оглядываюсь. Вихрь заметно стих, но все равно чуть не сшибает с ног. Окрест ни одной живой души, только чайки орут да ветер завывает. Припоминаю: он, кажется, говорил что-то насчет «помолиться напоследок» — и по спине бежит холодок. Разгоняюсь было к обрыву, но с хорошим запасом до края притормаживаю. Разворачиваюсь и иду за фургон, а там, с подветренной стороны, он — совершает дневную службу: рас-

качивается, читает молитву — девятнадцать бенедикций. Указывает себе на губы, я отвечаю кивком: понимаю, не буду мешать.

— Скоро пора будет ехать, — говорит он, провозгласив напоследок, что Бог един, поцеловав захватанный молитвенник и убрав его во внутренний карман. — В шесть уже темно, надо заехать за младшим в ешиву.

Он возвращается в фургон, упаковывает термос.

— Времени еще предостаточно, — непререкаемым тоном заявляю я.

Он разводит руками, демонстрируя вынужденное смирение.

— У меня есть вопросы, — говорю.

— Спрашивай.

— Когда именно ты принял это обличие? — вопрошаю я, обводя рукой его бороду, одеяния, их гетто. — Я не про внешние путы, а про настоящую веру. Когда твой здоровый скептицизм дал слабину и ты переродился?

— Кто знает? — Он пожимает плечами. — Наверное, отчасти в Лондоне, отчасти, видимо, уже здесь — я перестал задаваться подобными вопросами. Проще было приобрести все скопом, не глядя, и не вдаваться в детали. Снял обертку — и

дальше уже никаких проблем. А если что необъяснимое — значит, то промысел Господень. Что лежит за пределами человеческого понимания, то боли не причиняет.

— Все равно как резать аппендицит под гипнозом?

— Например. Или лечить рак гомеопатией. Если веришь в бабушкино лечение травками, это может сработать не хуже скальпеля. А не поможет — результат все одно будет тот же.

— А тебе легче, когда за твое лечение отвечает кто-то другой?

— Если угодно продолжить эту метафору, то да. Его руке отдаю душу мою, как говорится в наших молитвах. Неожиданным сюрпризом стала сопутствующая поддержка. Коллеги и вообще вся ешива своим молчаливым участием выходили меня, вернули в ряды человеческих существ, способных испытывать чувства, ну или хотя бы их микроскопическую часть.

— А когда ты играл, ты не чувствовал единения с окружающими?

— Случалось, — признается он, — только это все равно был протез, пристегнутый культурой.

Игра в больничку раздражающе затянулась; вероятно, со своими суровыми товарищами с

книжными шорами на глазах он не может позволить себе невинный полет вольных ассоциаций. Ловко возвращаю его к сути дела, настойчиво переспрашивая:

— То есть надо понимать, что в музыке ты не находил душевного прибежища?

Он гладит бороду, словно хочет под ней спрятаться, потом со вздохом отвечает.

— Что Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен могут дать Довидлу из Варшавы? — заводит он свой талмудистский напев. — Когда Довидлу надо выплакать горе, что он будет делать — читать *кадиш* или распевать *Dies irae*?[87] В беде нас тянет к своим. Я люблю музыку, конечно, люблю, только Бах и Бетховен не залечат моих ран. А Раши и Маймонид оставили мне в наследство целую традицию переживания горя и ироничный ход мыслей. У нас с ними во многом схожий подход к жизни, пусть даже я далеко не всегда их понимаю. Я думал, я умный, пока не столкнулся с талмудическими экзегезами, когда весь мир умещается на булавочной головке. Как у средневековых ученых возникали подобные озарения? Прочти Фрейда, что он пишет о горе и

[87] Примечания: 87

«День гнева» (*лат.*) — песнопение в католическом богослужении, описывающее Судный день.

чувстве вины; затем прочти у Раши о раскаянии Яакова после смерти Рахили. Та же мысль, только высказанная восемьсот лет назад и в одной-единственной сокрушительной фразе.

Теперь уже я вынужден тянуть время: роюсь в карманах в поисках конфетки и размышляю, то ли броситься на защиту современности, то ли снова шарахнуть ниже пояса. Предложив ему фруктовую жвачку (он отказывается — недостаточно кошерная), решаю вдарить сразу по обоим фронтам.

— Радости научного познания известны, — соглашаюсь холодно. — Однако ты действовал не под влиянием мистической епифании, мгновенного озарения. Это было сознательное замещение одной жизни на другую, современной на архаичную. Ты шагнул назад во времени, тебе там понравилось, и ты решил остаться.

— Не совсем, — возражает он. — Я не отгородился наглухо от прежнего мира. Я видел определенные параллели между Брамсом и Раши, Виленским гаоном и Стриндбергом. Лично для меня все они были подлинными искателями истины, братьями-первопроходцами в борьбе за признание права на страдания. Поделиться этой мыслью со своими товарищами-раввинами я,

конечно, не мог, они бы сочли меня еретиком. Но для меня спокойное приятие факта, что существует много путей, ведущих к познанию, стало стрелкой, на которой мое прежнее «я» уступило дорогу «я» новому, ответом на твой исходный вопрос.

— Послушать тебя — так прямо тянет уверовать, — хмыкаю я. — Но посмотри правде в глаза: у тебя что-то вроде слепой паники или срыва, ты бежишь и ныряешь в первую распахнутую дверь. Просто скажи мне, я имею право знать. Он чего ты главным образом хотел убежать? От карточных долгов, бремени таланта или же непомерных ожиданий тех, кто тебя любил, — моих родителей, меня, твоих покойных родителей?

Морщится, но отвечает.

— Мои наставники, — говорит он, — превращались в моих мучителей. Они меня идеализировали, требовали больше того, на что я был способен. Но, уверяю тебя, ни от одного из них я не убегал. У меня ни разу даже мысли такой не возникло. Действительно, меня немного беспокоили долги, которые росли…

— Когда ты исчез, с Блейнхейм-Террас приходили несколько средиземноморских типчиков интересной наружности.

— Надеюсь, вы их выставили. Эти негодяи меня надули. Я выяснил: они владели двумя из тех клубов, где я проигрался, и просто-напросто использовали меня, чтобы проверять свои методы борьбы с шулерами. То есть деньги, которые они мне одолжили, я им же и проиграл — так какой смысл был их возвращать? Я сделал вид, что дрожу перед ними, но на самом деле друзья меня прикрывали… В общем, большой опасности не было. Что касается таланта, за него я не боялся; он для меня как почка, я с ним родился. Тут я даже не раздумывал. Больше всего меня огорчало, что я причиню боль тебе и твоим родителям, ведь я от них не видел ничего, кроме доброты и любви, — того, что у нас зовется *хесед*[88], это одно из качеств Бога. Оглядываясь назад, я понимаю, что иного выбора у меня не было. Случилось то, что случилось. В конце концов, прошлого не вернуть. Провалив свой дебют, я вряд ли когда-нибудь отважился бы вновь показаться вам на глаза. Со сменой образа жизни смысл поддерживать с вами общение просто отпал. Посмотри на нас, Мартин: мы с тобой из разных миров, и нам не о чем говорить. Мне жаль, искренне жаль, но мы

[88] Примечания: 88
Доброта, бескорыстная забота о ближнем (*иврит*).

с тобой люди крепкие, и, думаю, со временем ты сумел это пережить.

Пришло время поставить его в известность о том ущербе, который он причинил, и выставить счет. Вкратце выкладываю, как мать сошла с ума, отец умер, а «Симмондс лимитед» оказался на грани банкротства. Он слушает молча, стиснув руки домиком.

— Прости меня, — выдавливает он, когда я завершаю рассказ.

— За тобой должок, — парирую я.

— Знаю, — вздыхает.

— Придется сделать доброе дело.

— В смысле?

Тут мне снова требуется пауза. Набираю полные легкие воздуха, отхожу в сторону — подготовиться к следующему выходу. Прочь вкрадчивые отцовские увещевания; я разыграю сцену с завидной прямотой тети Мейбл, чьи отдельные гены так удачно во мне сохранились. Я — в образном смысле — пригвожу его к двери и возьму за горло недрогнувшей рукой.

— В твоем распоряжении, — напоминаю ему, тщательно прикрывая дверцу фургона, — находится ценная скрипка Гваданьини, предоставленная тебе моим отцом. В пересчете на

сегодняшние деньги ее стоимость составляет около трех миллионов долларов.

— Правда? — он, кажется, удивлен. — Сегодня же вечером ее верну. Она принадлежит тебе. Может, посоветуешь тогда подходящий инструмент из нынешних, чтобы мне и дальше играть на наших празднествах?

— Мне не скрипка нужна, — фыркаю.

— Но тогда что?

— Чтобы ты на ней играл.

Он сидит ошалевший — другого слова не подберу, слушая, как я излагаю тот план, что набросал на оборотной стороне конкурсного бланка.

— За тобой неоплаченный долг, назначенное мероприятие, — начинаю. — Некогда ты удрал и уничтожил мою семью. Пусть и с опозданием, но ты дашь дебютный концерт, а также многие другие, сколько их потребуется для того, чтобы возместить ущерб. *Wiedergutmachung* — так у немцев называются выплаты жертвам Холокоста: возмещение добром.

— Ты хочешь, чтобы я выступал? В таком виде? — уточняет он, указывая на свой лапсердак и косматую бороду.

— На твое усмотрение, — отвечаю вымораживающим тоном. — Это определенно повысит

интерес публики.

— Будет тебе, — одергивает он, — кто захочет платить за то, чтобы слушать раввина шестидесяти одного года от роду, продирающегося сквозь этюд Баха, не игранный им с лучших времен?

— Именно за это и станут платить, — отвечаю. — Когда я объявлю, что легендарный Рапопорт восстал из мертвых, все ценители скрипичной игры в мире кинутся за билетами, а все охотники за сенсациями — за тобой. От последних мы тебя оградим. Остальное — за тобой. Меломаны повалят валом, потому что так, как играешь ты, не играет больше ни одна живая душа. А когда они тебя услышат, они повалят снова — слушать еще и еще, потому как невозможно поверить, что такое исполнение еще доступно в наши дни. В тебе есть свобода самовыражения, теперь совершенно утраченная.

И я принимаюсь его просвещать: рассказываю о скрипачах нынешнего века высоких скоростей, которые дают по сто двадцать концертов в год и, глядя на переполненный зал, сами не знают, в Бостоне они или в Брюсселе. Большинство из них мультимиллионеры, их портфолио лопается от вложений капитала. Они играют, как зомби, не слыша музыки, мертвецы от пояса до макушки.

Даже молодая поросль — и те к тридцати годам перегорают.

— Когда я объявлю, что Рапопорт вернулся, — продолжаю я, — у людей сразу возникнет ассоциация: Крейслер, иной, лучший мир. Отец создал тебе имя и ауру вокруг тебя. Не важно, заржавел ты или нет — люди будут часами стоять в очередях, лишь бы прикоснуться к чистому прошлому, к своей юности, к оставшейся позади счастливой эпохе искусства. Ты станешь сенсацией — надолго ли, накоротко ли, решать тебе. Твоя игра будет отличаться от всех ныне здравствующих исполнителей. Это как пойти в театр на «Гамлета» с Кеннетом Браной, а вместо него узреть Лоуренса Оливье[89].

Пришлось растолковать ему, кто такой Кеннет Брана; Оливье он помнит со времен «Генриха V» военной поры.

Его возвращение, извещаю я, состоится через три месяца в Роял-Альберт-Холле — 3 мая, сорок лет спустя с момента его исчезновения.

---

[89] Примечания: 89

Кеннет Чарльз Брана (р. 1960) — британский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер театра и кино, прославившийся многочисленными экранизациями и сценическими постановками шекспировских пьес. Лоуренс Керр Оливье (1907–1989) — один из крупнейших актеров XX в. «Оскар» за роль Гамлета и многочисленные награды за другие роли в пьесах Шекспира.

По счастью, зал на тот вечер был еще не занят; сегодня утром я позвонил и забронировал его. Исполнять можно, что душа пожелает, — захочет, будет сольное выступление, захочет — концерт с оркестром.

— Даже если ты будешь играть «Жил-был у бабушки серенький козлик», публика все равно будет на тебя ломиться, — заливаю я.

Платить ему стану по десять тысяч долларов за концерт. Кроме того, подпишем двухгодичный контракт на сорок выступлений в Европе, Соединенных Штатах и Японии. Пятнадцать процентов от заграничных гонораров, авторских отчислений за записи и трансляции будут отходить мне, это стандартные правила индустрии. К 1993 году, прикидываю я, он заработает свой первый миллион, и я прощу ему остальной долг — передо мной, моими родными и его собственной судьбой.

— Кто знает? — говорю я. — Может, к тому моменту ты так войдешь во вкус, что не захочешь останавливаться. Так что в контракте на всякий случай предусмотрим возможность продления.

Его реакция приводит меня в восторг. Этого самоуверенейшего мужчину колотит, словно забывшего домашние задания мальчишку. Он

нервно чертит пальцами круги вокруг брошенного мной на столешнице пакетика с некошерной жвачкой. Он даже не в шоке — в отключке, его всепроникающий, как лазер, ум с очевидностью наткнулся на непреодолимое препятствие. Выкручивается и так и сяк, пытаясь найти запасной выход. Прикрываю запертую дверь спиной.

— Неужели ты всерьез хочешь, чтобы я выступил перед аудиторией? — в голосе его мольба.

— И не перед одной. Перед многими. По всему миру.

— Но разве ты не понимаешь, что это совершенно не возможно… для человека с моим образом жизни?

— Не вижу никаких проблем. На время шабата, праздников и постов переезды и выступления будем отменять. На всех площадках обеспечим кошерную еду. Никаких раздетых девиц на сцене. Будем внимательно соблюдать все религиозные предписания. А о тебе сообщим лишь голый факт — что ты сорок лет провел в безымянной уединенной общине. Больше тебе ничего не придется объяснять, и, ручаюсь, на твоих близких это никак не отразится. Пусть раввин Давид Каценберг существует отдельно, а Эли Рапопорт — отдельно, незачем их соединять.

— Что мне сказать жене, детям, товарищам?

— Скажи им правду, для разнообразия. Когда ты принесешь в дом миллион долларов, вряд ли они станут меньше тебя любить.

— А если я откажусь?

— Не думаю, что ты можешь позволить себе эту роскошь. У тебя есть юридические обязательства перед моей фирмой, не говоря уж о моральном долге перед моей семьей. А если у тебя хватит глупости попытаться свалить во второй раз, я позабочусь о том, чтобы жена и дети узнали о твоем увлекательном прошлом: клубы, шлюхи, предательство, кража скрипки. По случаю сорокалетия твоего исчезновения в «Джуиш кроникл» появится на удивление осведомленная статья. На пороге твоего дома возникнет репортер из «Дейли мейл». Мне продолжать? Будет жуткий *хилул Хашем*, оскорбление имени Божьего. Ешива этого точно не переживет. С другой стороны, когда ты предстанешь перед публикой — пропавший раввин-виртуоз на подмостках Карнеги-холла, амстердамского Концертгебау и венского Музикферайна — и примешься бесстрашно покорять вершины европейской культуры, не поддаваясь при этом ее порче, это будет настоящий *кидуш Хашем*, прославление Святого Имени посред-

ством слитых воедино религии и искусства. Ты прославишь свою веру и заодно исполнишь завещание своего последнего наставника, *рош ешива*. В общем, альтернатив всего две — выбрать не сложно, не так ли?

Протиснувшись мимо меня, он, ни слова ни говоря, вскарабкивается на водительское сиденье и, стиснув зубы, с ревом мчит нас обратно в город. Высаживая меня за углом гостиницы, уточняет:

— Сколько у меня времени?

— До утра пятницы, — отвечаю, — ответ мне нужен до отъезда в Лондон. Поезд в девять семнадцать.

— Подъеду завтра к обеду, — обещает он.

— Спасибо, Довидл, — отвечаю приторным тоном. — Уверен, мы славно сработаемся.

В приподнятом настроении марширую через вестибюль, спрашиваю ключ от номера (посланий нет) и взлетаю по лестнице, перемахивая через ступеньку и насвистывая тему из концерта Бруха. Столько дел, а времени в обрез. Перед самым концом рабочего дня успеваю позвонить в Альберт-Холл и подтвердить бронь. Дозваниваюсь коллеге, уточняю текущие расценки на сессионные оркестры. Уведомляю печатника о грядущем большом заказе на афиши и программки и заодно

заручаюсь выгодными предложениями от двух его конкурентов. Быстрые подсчеты в прикроватном телефонном блокноте сообщают мне, что при вместимости в пять тысяч зрителей за один только первый концерт я выручу сотню «штук». Потом пойдут отчисления за радиотрансляции, записи, а может, и телевидение, — предела нет. Разобравшись со всеми делами, плещу в стакан двойного виски из мини-бара и до краев наливаю ванну — полежать, помечтать о великом будущем.

Не успеваю погрузить в воду заледеневшие конечности, раздается звонок. Не стал бы отвечать, да второй аппарат — прямо на стене над ванной, не трудно протянуть облепленную пеной руку.

— Извините, сэр, — хрюкает в трубке Альфред, мой шофер, — я привез даму, которую вы пригласили на ужин.

Ах ты ж черт. Та мослатая Стемп. Будет трещать о своем драгоценном Питере ночь напролет, а мне сейчас совсем не до этого. Хотя вряд ли она станет засиживаться, когда парнишка там дома сам себе предоставлен, да и, пожалуй, им с меня малость причитается за то, что навели на верный след.

— Проводите даму в бар, Альфред, и закажите

для нее бокал лучшего шампанского. Передайте, что я буду через пятнадцать минут.

Ужин с миссис Стемп — «зовите меня Элинор» — далеко не так ужасен, как я опасался. Без прыщавого отпрыска на прицепе, в строгом темном костюме и белой шелковой блузке, Элинор Стемп вполне способна и с тонкостью побеседовать, и всласть посмеяться над собой. Под спаленного тунца с голландским соусом и резковатое «Пуйи-Фюиссе», она рассказывает, как очертя голову выскочила замуж за во всех отношениях «подходящего» мужчину, лишь бы только отлепиться от обколотого наркотой рок-гитариста, которого до безумия любила. Подходящий муж был ей абсолютно до лампочки, и она нисколько не расстроилась, когда, однажды вечером придя домой, обнаружила, что он ушел, оставив возле телефона в коридоре письмо: он хочет жениться на Хелен, официантке-школьнице из «Хэппи бургерз». Питер к тому времени проявил незаурядные музыкальные способности и больше часа в день упражнялся на своей детской скрипочке. Она решила помочь пареньку раскрыть талант. Окружение и работа у нее неинтересные, зато радостно видеть, как Питер творчески растет, а для полета фантазии есть современная европейская

литература; в ней, надо сказать, она обнаруживает на удивление продвинутый вкус.

За крем-карамелью (ее, похоже, сваяли из остатков голландского соуса) мы говорим о Хорхе Семпруне, Патрике Зюскинде, Томасе Бернхарде и Иване Клима. А недавно она открыла для себя Чеслава Милоша. Упоминаю о своем давнем визите в Польшу, и она так и засыпает меня вопросами, и глаза горят статической энергией. С похвалой отзываюсь о варшавских еврейских романах Исаака Башевиса Зингера и наблюдаю за ее реакцией. Каким бы отвращением ни пылала миссис Стемп к *фрумерам* из Олдбриджа, на книги с прикроватной тумбочки ее расовая ненависть не распространяется. Пока нам угрюмо наливают кофе, она бросает взгляд на часы и восклицает:

— Десять часов? Мне надо идти. Питер будет волноваться.

— Мы ни словом не обмолвились о его будущем, — напоминаю мягко.

— О Боже, — стонет она, делаясь пришибленной и бесцветной.

— На данный момент обсуждать особо нечего, — успокаиваю ее. — Я подыщу поблизости первоклассного учителя, который подготовит его

к публичному дебюту, и через ближайшие два года мы сможем трезво оценить его перспективы.

— Он станет великим исполнителем? — спрашивает она (все всегда спрашивают).

— Пока еще рано судить. Это, как и многое другое, зависит от того, что исторгнет разваливающийся Советский Союз. Классическая музыка — скукоживающийся рынок с жесточайшей конкуренцией, число концертов и сольных выступлений сильно ограничено. Если за следующие десять лет объявятся полдюжины Хейфецов, они сметут Питера, как, впрочем, и весь остальной Запад. Терпение. Через год-другой все прояснится. Будем стараться.

— Хотелось бы мне дать ему старт, а самой заняться своей жизнью, — к вящему моему удивлению, заявляет она. — Не собираюсь быть одной из тех мамочек-удавочек, что с поводком мотаются за своими вундеркиндами по всему земному шару. Я читала о таких в биографиях, и мне такая роль не по нутру. Я отдала Питеру лучшие годы. Остальное пусть останется мне.

Хм-хм, да в Элинор Стемп еще есть запал. Она порывается встать. Элегантно огибаю столик и отодвигаю ей стул.

— Спасибо за чудесный вечер, мистер Сим-

мондс…

— Мартин, прошу вас. Позвольте, я вызову такси.

— Лучше я позвоню Питеру, чтобы укладывался, а сама загляну в дамскую комнату попудрить носик.

— Может, позвоните из моего номера? — предлагаю. — Тогда вам не придется пользоваться местными допотопными уборными, до которых к тому же, как вам, наверное, помнится со времен вчерашнего обеда, далеко идти.

Забираю ее пальто у заспанного гардеробщика и веду в «люкс» на втором этаже, где много лет назад я кувыркался с одной хохотуньей, которая звала меня «ворчливым мишкой», а теперь сыграет, а может, и не сыграет определенную роль в моих далеко идущих планах. Пока Элинор звонит Питеру, вешаю ее пальто в шкаф и включаю новости — заглушить звуки писсуара из просторной викторианской ванной. Номер огромен — в современных оборотистых гостиницах из такого накромсали бы целых три.

Элинор появляется разрумянившаяся, с подновленной помадой на губах, ловкий пиджачок наполовину расстегнут и видна белопенная блузка. Она полнее, чем мне показалось, но ей это к

лицу. Берусь за трубку, чтобы вызвать такси.

— Мартин, спасибо вам за все, — снова говорит она и кладет ладонь на мою протянутую руку.

Поворачиваюсь и целую ее, взасос. Она поддается и, закрыв глаза, неспешно отвечает. Без долгих церемоний опрокидываю ее на огромную семейную кровать, задираю юбку до талии и с ходу засаживаю ей по самую рукоятку прямо на застеленном покрывале — ритмично, технично, результативно.

Часом позже провожаю вниз до такси, чмокаю в раскрасневшуюся щеку и машу на прощание. Взлетаю по лестнице теперь уже через две ступеньки и, минуя душ, с самодовольной улыбкой забираюсь в кровать. Все механизмы, оказывается, в прекрасном рабочем состоянии, представляете? Я получил, как и советовал мой отец, «чуток грубого удовольствия, чисто для себя». Интересно, это про такое он говорил? Размышляю над этим и засыпаю сном насытившегося человека. Неважно. Это знак грядущих событий. Симмондсы возвращаются на музыкальный рынок, возвращаются, чтобы брать свое.

10
Время действовать

Звонок телефона у изголовья вспарывает мое самодовольное забытье.

— Мартин, ужасное несчастье, срочно возвращайся.

— Мертл, который час?

— Половина восьмого. Мне необходимо было застать тебя, пока ты не ушел. Дело в том, что лорда Брента завтра вечером не будет. Джойс говорит, ангина. Сама она придет, что очень мило с ее стороны, но за столом тогда окажутся две дамы без мужчин. Что нам делать? Мартин, ты что, спишь?

— Просто думаю, Мертл.

— Некогда думать. Действуй.

— Хорошо. Позвони доктору Родригесу. На выходных он обычно с удовольствием ходит на ужины и вполне приятен в общении, если не давать ему распространяться о гольфе. Да и не обжора к тому же. Потом есть еще тот адвокат из Южной Америки, с которым мы познакомились

на концерте Шолти[90]. Его визитка в стопке справа на моем столе. Он точно без пары, наверное, гей. Жаль. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь подкатил к жеманнице Джойс в отсутствие ее напыщенного лордюка.

— Мартин, это непростительно. Само собой, никто из влиятельных лиц мое приглашение не примет.

— Позови Дока Верди и Королеву Боэр, Мертл, только не в такой неприличный час, если хочешь, чтобы они согласились.

— Что с тобой такое? — настораживается жена, трубка так и сочится подозрением. — Уж больно ты бодрый на четвертый-то день деловой поездки. Утром в понедельник первым делом запишу тебя на осмотр к Родригесу.

— Чудесно, дорогая. До завтра.

Кладу трубку, а от пальцев в трепещущие ноздри струится бодрящий аромат черствого секса, секса с незнакомкой. Смакую эту победу и предвкушаю новые. Вскочив, бросаюсь в душ, бреюсь, выбираю живенький зеленый галстук и, пока не настало время спускаться, пролистываю подсунутый под дверь «Телеграф». Сандра Адамс

---

[90] Примечания: 90

Сэр Георг Шолти (настоящие имя Дьёрдь Штерн, 1912–1997) — венгерский и английский дирижер.

должна явиться к завтраку в восемь тридцать, и я истекаю слюной.

— Мистер Сим, я ведь не опоздала? — жизнерадостно здоровается она; на ней шикарный розовый костюм-двойка, чуть уже необходимого для ее объемов.

— Миссис Адамс, — протестую я. — По-моему, был уговор перейти на имена.

— Хорошо, зовите меня Сэнди, а я все равно останусь верна «мистеру Сим». Мартин — имя тусклое и совсем вам не идет.

«Роял» расстарался: нам подали почти полноценный английский завтрак. Во вторник, помнится, Сандра едва клевала, но сегодня послала диету куда подальше и налегает на жареный белок и мучное. Я довольствуюсь апельсиновым соком и мюсли плюс делаю рейд к буфету за вторым запрещенным дэнишем — сплошь сахар и крахмал. Если я собираюсь продолжить в том же духе, нужно восполнить силы.

— Мы встретились, чтобы обсудить ваши перспективы, — напоминаю я. — Обойдемся без долгих вступлений. Я предлагаю вам работу.

— Почему вы думаете, что я соглашусь? — тоже в лоб спрашивает она.

— Слово за вами.

— Ну, я занимаю бесперспективную должность, ее придумали специально для меня в Комитете бытового хозяйства, чтобы я могла всегда быть под рукой у Олли на его вечерних приемах и при этом не слишком надрываться. Мой младший сын как раз перешел в среднюю школу, а муж хочет пройти в парламент, но не пройдет. Да, видимо, в самом деле пора подыскать рентабельную альтернативу. Так что вы предлагаете?

— Сколько вам платят в Совете?

— Четырнадцать четыреста, — отвечает она, то есть четырнадцать тысяч четыреста фунтов в год, без вычета подоходного налога, государственной страховки и обязательных пенсионных отчислений, — скажем, в неделю чистыми остается фунтов сто сорок. Попросту говоря, гроши.

— Вас прилично недооценивают, — заявляю.

— А сколько бы вы мне дали? — кокетничает она.

— Оклад двадцать плюс процент от прибыли.

Румянец у нее, как столбик термометра: то ползет вверх, то опускается. Не слишком ли она прозрачна для такого рода работы? Мои сомнения перехватывает стартовая ракета ее накопившихся амбиций.

— Что делать-то? — интересуется она. — Наде-

юсь, никаких проблем в плане закона?

— Уж если проблемы и будут, то, скорее, в плане нравственности, — ухмыляюсь я. — Мы ведь говорим о музыкальном бизнесе.

В общих чертах излагаю ей свой грандиозный план. Я основываю новую дочернюю компанию, «Симмондс артистс», а она возглавит контору в Тобурне и будет опекать наших первых контрактников, Ольшевскую и Стемпа, а также еще одного исполнителя, с которым я ее в свой срок познакомлю. Кроме того, она будет обеспечивать приток денежных средств, контролируя на Севере продажи наших нот и инструментов. Плюс поддерживать связи с музыкальными школами, выискивать новые таланты и еженедельно приезжать ко мне в Лондон для отчета и обсуждения.

Сверх оклада ей будут отчисляться двадцать процентов от чистой прибыли всех ее подопечных. Если дело пойдет хорошо, через два года я сделаю ее партнером с правом выкупить мою долю, когда я отправлюсь на покой.

— Когда приступать? — расплывается она в улыбке.

— Сколько дней вы должны будете отработать на старом месте после заявления об уходе?

— По закону месяц, но у меня не отгуляны шесть недель отпуска. Можно сделать так: беру сегодня отгул по болезни, затем иду в администрацию, пишу заявление — и ровно через два часа могу приступать к работе в «Симмондс».

— А ваш муж?

— Олли знает, что я сыта по горло этим дурацким Советом.

— Он не будет против того, что вам время от времени придется оставаться на ночь в Лондоне?

— Ничего, привыкнет, — улыбается она. — Или нет, как повезет.

Поздравляю ее с принятым решением. Сандра будет ценным кадром, она проворна, как гончая, и умеет себя поставить. Жду не дождусь познакомить ее с Мертл, вот ту перекорежит, когда она увидит такую явственную представительницу низов, откровенную провинциалку с пробивной силой — все свои ночные кошмары разом, да еще в сексапильной розовой упаковке.

— Еще кофе? — взывает официант.

— Мне не надо, — говорит Сандра. — Впереди насыщенный денек. Пришлите мне типовые контракты для молодых исполнителей, мистер Сим, и еще до вашего отъезда я их распечатаю, подпишу у родителей и верну. Также я напечатаю

письмо о найме согласно обговоренным условиям, и мы обоюдно его подпишем. Мистер Сим, у меня от восторга грудь распирает, того и гляди, лифчик лопнет.

— Ну не в общественном же ресторане, — пугаюсь я.

— Вы понимаете, о чем я. Мы здесь люди прямые. Знаете, в детстве, в этом захолустном городишке, я мечтала работать на подпевках или стать диск-жокеем. Я была без ума от шоу-бизнеса, но ваш мир даже лучше — респектабельнее. Может, и с королевой доведется встретиться?

— Разве что с принцем Чарльзом, полагаю.

— Сойдет. И последнее, мистер Сим, а потом я побегу. У меня странное чувство. Сама знаю, мы познакомились три дня назад, но такое ощущение, что мы друг друга знаем давным-давно. У меня кошмарная память на лица. Мистер Сим, вы не помните, мы с вами раньше не встречались?

— Возможно, — честно отвечаю я, — в предыдущей жизни.

Был некогда в Ливерпуле парень по имени Уильям Робертс, который, когда его вышвырнули с госслужбы Индии, поступил в банк, но мечтал стать музыкальным критиком. В 1904 году он получил работу в «Манчестер гардиан» и взял

псевдоним Эрнест Ньюман[91], желая подчеркнуть, что действительно, честное-благородное, стал новым человеком. Я познакомился с Ньюманом, когда он, уже в летах, был старейшиной британских критиков, всемирно известным специалистом по Вагнеру, гонителем всего современного, забронзовевшим от собственных заслуг. Кажется, я тоже добрался до пределов метаморфоз. Довидл сменил имя, место жительства, образ жизни и все равно не смог отмежеваться от прошлого. Я ничего в себе не поменял, лишь забальзамировался на сорок лет. Теперь, заставив Довидла вернуться к его истинному «я», я воскрес. Ощущаю себя новым человеком — нет, не новым, а наконец-то целым. И, как и Сандре, мне не терпится себя проявить.

Возвращаюсь в номер и занимаюсь бумагами, факсами и телефонными звонками, пока за бланками для контрактов не приходит Сандра. Вместе мы набираем взбудораженных Ольшевских, обещаем крошке Марии представлять ее интересы во всем мире и договариваемся о том, что Сандра им позвонит. Переговоры с Элинор Стемп я беру на себя: сообщаю ей, что персональным

---

[91] Примечания: 91
Earnest New Man — Честный Новый Человек (*англ.*).

менеджером ее сына отныне будет Сандра; это ее не обрадует, но оно и к лучшему. Отодвинет шалости прошлой ночи на более пристойное расстояние.

— Что это, батарея? — спрашивает Сандра, сногсшибательная в своем обтягивающем розовом свитере. — Что-то гудит.

— Это я, — признаюсь. — Я часто напеваю себе под нос, когда работаю.

— Как хорошо, когда человек обожает свою работу! — Она расплывается в улыбке.

«Как хорошо, что у меня снова легко на душе», — думаю я.

Спасибо Довидлу.

Заказываем для Сандры отдельную телефонную линию для работы (аппарат она поставит у себя в гостевой спальне), заскакиваем в ближайший банк, открываем там общий счет и снимаем деньги, чтобы купить ей в магазине по соседству персональный компьютер. Надо от лица «Симмондс» внести небольшой вклад в процветание местных предпринимателей — пригодятся потом в качестве спонсоров для тутошних артистов. Взгляд привлекает свежая серия японских технонновинок: одну такую, для кухни, покупаю Мертл, будет чем загладить свою вину.

Не успеваю вернуться из магазинов, как звонят со стойки администрации: мистер Каценберг ждет меня на автомобильной парковке.

— Ну что? — вопрошаю я, забираясь в фургон.

— А какой у меня выбор? — вздыхает он.

— Превосходно, значит, решено. Теперь признайся, когда ты последний раз был на симфоническом концерте?

— Сам догадайся.

— Это хорошо, потому что мы едем в Манчестер, у них там в середине недели проводятся дневные концерты. По скоростной трассе в это время суток за час доберемся.

Он готовился к дальней дороге и прихватил с собой сандвичи и чай, и всю поездку мы с аппетитом их уминаем. Разговор ведется нейтральный, обо всем подряд: погоде, недавней войне, судьбе Израиля, экономическом спаде, проблемах с подрастающим поколением, дефиците талантов, водителях, которых теперь выпускают на дорогу, ты только посмотри на этот «воксхолл», — говорим обо всем, кроме прошлого; это неприятельская территория, не стоит снова на нее заходить.

Замечаю у него под бородой, снизу подбородка, натертость. Превосходно, говорю я себе. Видать,

часами репетировал.

Паркуемся за квартал от Зала свободной торговли, этой пародии на викторианскую усыпальницу, в которой никому и в голову не придет признать развлекательное учреждение. Покупаю два билета в партер на дневной концерт «Играем Моцарта» Манчестерского камерного общества. Основная часть аудитории уже на местах — несколько автобусов пенсионеров, которых выудили из домов престарелых и центров дневного пребывания с благим намерением — не дать превратиться в клеклые кульки. Среди женщин есть те, кто по такому случаю извлек допотопные наряды; мужчины даже не потрудились вылезти из шлепанцев.

— Во сколько тут начинается? — дребезжащим голосом осведомляется какой-то хмырь, бывший военный, в синем блейзере и заляпанных серых брюках. — Мы поспеем домой к началу «Улицы Коронации»? Сегодня вечером же будет «Кори»?[92]

Забесплатно запустили стайку студентов, но их веселость меркнет под натиском гериатрической безжизненности и изначальной мрачности зала.

---

[92] Примечания: 92

«Улица Коронации» (сокращенно — «Кори») — популярный британский телесериал. Выходил с 1960 по 2013 г.

Музыканты оркестра, прошествовав на сцену с типичным для англичан видом «плевать-на-всех-с-высокой-вышки» и мельком взглянув на слушателей, тяжко опускаются на свои места. Концерт — и оттого он так дешев — играется без дирижера и до зевоты предсказуем. За «Eine Kleine Nachtmusik»[93] следует концерт для кларнета; перерыв на чай, за ним Симфония соль минор. Сижу сокрушаюсь, что притащил Довидла на такое удручающее мероприятие, а он, едва раздается эта заезженная музыка, уже ловит, балансируя на самом краешке кресла, звуки всеми фибрами души, с головой погружаясь в исполнение. Во время концерта для кларнета я на один кошмарный миг перепугался: почудилось, что сейчас он как вскочит, как пойдет дирижировать, настолько вразнобой играл ансамбль. Когда все закончилось и шелестят аплодисменты, на лице его проступает блаженство, словно он только что вкушал изысканное яство или ласкал женщину.

— Можно уходить, — говорит он с усмешкой, — лучше уже не будет.

Извиняюсь, что так неказисто все вышло.

— Наоборот, — восклицает он, — это был чрез-

---

[93] Примечания: 93

«Маленькая ночная серенада» В. А. Моцарта.

вычайно ценный опыт. Во-первых, я избавился от искушения снова подступиться к Моцарту — играть его можно только с абсолютным чувством своей правоты, иначе он от тебя ускользает. Во-вторых, у меня нет желания играть с оркестром.

— Можно нанять составы гораздо лучше, — протестую я, — и превосходных дирижеров.

— Побереги денежки. — Смеется. — В первом отделении, нравится тебе это или нет, я планирую сыграть Баха соло. После антракта попробую выдать несколько собственных композиций, вариаций и разных тем из хасидских мастеров. Будет что-то новенькое, согласен?

— Прекрасно, межкультурные опыты неплохо продаются. Тебе точно не нужно никого в пару — певца какого-нибудь, пианиста?

— Нет уж, хотят Рапопорта — его и получат в чистом виде, без приправ.

— Да у тебя, похоже, чуть прибавилось энтузиазма, — осторожно замечаю я.

— Почему нет? — по-еврейски вопросом на вопрос отвечает он. — Часто ли имена людей моего возраста красуются крупными буквами на афишах Роял-Альберт-Холла?

Называю Фрэнка Синатру, Диззи Гиллеспи, Пабло Казальса — все мимо. Смотрит пустыми

глазами, словно слыхом о таких не слыхивал.

— А в царской ложе будут представители королевской семьи? — интересуется он. — При твоем отце были.

— Времени маловато, но какого-нибудь герцога постараемся залучить.

— И мне что, надо будет делать книксен?

— Прекрати, а?..

Охватившее его веселье почти переносит нас в прошлое с его мальчишескими перепалками. Осторожно закидываю удочку насчет еще одной программы, дескать, целый вечер неразбавленной скрипки для многих ушей может оказаться не под силу. А не подготовить ли ему одно из тех двух мендельсоновских трио, которые, как говаривал доктор Штейнер, он чувствовал глубже всякого иного скрипача? Камерная музыка в первом отделении убережет его от неустанного внимания критиков и подогреет зрительский интерес к дуэту скрипки с роялем или скрипичному соло во втором. В этом регионе у меня найдется пара-тройка незаурядных пианистов, можно попробовать; хороших виолончелистов здесь вообще пучок за грош.

— Тебе будет хоть немного полегче, — уговариваю я.

— Я подумаю, — начинает поддаваться он.

— Ведь так же лучше, — напираю я.

Через такие уговоры он уже проходил — с моим отцом.

— Кому лучше — мне или тебе? — вскидывается он.

— Какая разница, — отвечаю. — Мы с тобой оба исполнители, мы на одной стороне. Потому-то нам и надо обсудить и согласовать программу — твое чутье плюс мой опыт.

— «Должно делать то, что велит тебе менеджер твой», — цитирует этот кривляка.

— Мендельсон в первом отделении, Бах и Бешт после антракта? — не отступаюсь я.

— Посмотрим.

А когда мы уже подходим к фургону, он замечает на той стороне улицы трех бородатых евреев в черных пальто и шляпах, поспешающих по своим священным или каким-то иным делам. В Манчестере несколько еврейских районов, на севере и на юге, и некоторые из них сплошь ортодоксальные.

— Тебе нужно на вечернюю службу? — спрашиваю участливо.

Он качает головой, но в голосе больше не

звенит *élan*[94], и наше возвращение в Тобурн проходит в бесцветной тишине. Его ждет тяжкая ноша, одергиваю я себя. Непросто будет найти равновесие между самоуглубленной жизнью, творчеством и публичностью. А поскольку эту ношу, в числе прочих, взвалил на него я, придется незаметно отслеживать каждый его шаг на этой стезе. Возни с ним, конечно, будет много, зато выхлоп — и творческий, и финансовый — оправдает все труды и траты. Мир обретет утраченное чудо, скрипка вернет себе былую славу, а фамилия Симмондс вновь сделается приоритетной для каждого музыкального таланта.

— У тебя есть записи твоих сочинений? — спрашиваю я, когда автомост в Тобурн остается позади.

Опять качает головой, стучит пальцем по лбу.

— Все тут, — отвечает он, и мне становится не по себе, — но прежде, чем выйти с этим к публике, я сыграю тебе. Помнишь, Крейслер любил писать нечто в стиле композиторов эпохи барокко? Это в общем и целом надувательство, но что-то в таком роде я делаю с хасидскими мастерами.

— В смысле?

---

[94] Примечания: 94
Воодушевление (*нем.*).

— Я придумываю мелодии, но приписываю их великим раввинам прошлого, благодаря чему их в ешиве почитают и любят.

— Ты пишешь их заранее или импровизируешь?

— Когда как. Могу на какую-нибудь свадебную тему зарядить импровизацию минут на двадцать.

Мамочки родные, ахаю про себя. Такого чуда концертные залы не слыхали уже лет сто; так умел разве что какой-нибудь Паганини и один джазмен из Нового Орлеана, он свою музыку прямо с ходу и придумывал. Да стоит хоть раз выпустить его перед знающей аудиторией, и я сделаю для возрождения музыкального искусства больше, чем любой кукловод со времен Дягилева.

— Послушаю с превеликим удовольствием, — говорю. — Утром мне надо ехать в Лондон, но я быстро вернусь и сразу вызову к тебе на прослушивание всех достойных пианистов и виолончелистов. И сниму для тебя рядом с домом помещение для репетиций. Как раз нанял себе помощницу. Если тебе что-нибудь срочно понадобится — новые струны, партитуры, бумага, — позвони по этому номеру Сандре Адамс, и

она тебе мигом все доставит.

Вижу его опрокинутое лицо, и до меня сразу доходит, какую грубейшую ошибку я совершил.

— Прости, — обрываю себя. — Тебе, наверное, нельзя общаться с нееврейкой, твои тебя осудят? Вот я сглупил. Забудь о том, что я сказал. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони мне в Лондон, и я передам тебе все это через стойку администратора в «Рояле». Он оказывает мне мелкие услуги, я у него в подвале храню свои вещи между приездами, чтобы не таскать с собой туда-обратно по железной дороге. Я ему опишу, как ты выглядишь, и предупрежу, что ты можешь к нему обратиться. В любом случае не беспокойся. Мы все проделаем так, что твоей веры и твоих близких это не коснется. Не для того мы с тобой все это затеяли, чтобы облажаться.

Смотрит поспокойнее, но все равно еще потрясен. Он что, решил, что я хочу его подставить? Или у него с незнакомой женщиной автоматически ассоциируется секс? А как насчет чувства меры?

— Послушай, — говорю, — никто и никогда не делал того, что собираемся сделать мы. Ни один артист не возрождался после сорока лет простоя, ни один ортодоксальный еврей не удостаивался концерта в знаменитом зале, ни один импреса-

рио не прозакладывал последнюю рубаху ради престарелого дебютанта. Нам обоим многому предстоит научиться. Давай будем двигаться постепенно, шаг за шагом. Доверься мне, я знаю, как надо. Я помогу тебе заслужить прощение.

— Значит, ты не отступишься?

— Отступлюсь? Всего несколько минут назад у тебя горели глаза. Ты хотел играть. А еще ты хотел выполнить обещание, перестать озираться, делать то, для чего был рожден. Ради чего стоит жить, как не ради того, чтобы выполнять свое предназначение? Бог дал тебе дар. Пользуйся им.

Мы снова на разных полюсах, но атмосфера разряжается. Его каменное, обтесанное ученостью лицо чуть смягчается — в самых уголках губ.

— Тогда на сегодня мы с тобой прощаемся, — тихо говорит он, тормозя в нескольких метрах от гостиницы, — и спасибо за концерт.

— Впереди будут другие — больше и лучше.

— Дай Бог.

— Ловлю на слове.

Просматриваю факсы, слушаю голосовые сообщения и успокаиваю нервишки виски из минибара, последней бутылочкой-крохотулей. Мертл залучила недостающих особей мужского пола и теперь радостно пережевывает вскрывшийся

досадный факт, что тот зануда из Кейптауна — строгий вегетарианец. Сандра подписала контракты с Ольшевской и Стемпом и спрашивает, не нанять ли нам Фреда Берроуза, у него нюх на таланты. Идея хорошая: соборный органист в этом деле дока. Напоминает, что пора запланировать сольники Марии Ольшевской в Манчестере, Лидсе и Ньюкасле — пусть девочка набирается опыта перед международным дебютом в Лондоне. Из нас с Сэнди получится отличная команда.

Я, утомившись, чураюсь общества и вместо ужина, по старой традиции, решаю просто выпить и перекусить в баре. Разгружу мозг перед сном кроссвордом из «Телеграф». Когда я спускаюсь вниз, уже девятый час, и бар почти пуст.

— Четверг, день не из лучших, — говорит бармен, — народ бережет денежки для выходных.

И прекрасно, думаю я, грызя арахис в ожидании сырного салата, призванного разбавить мою диету из чистого виски. Вдруг рядом со мной плюхается какая-то женщина и чмокает меня в щеку.

— А я тут мимо проходила, — врет Элинор.

— Какой приятный сюрприз, — вру в ответ. — Чем вас угостить?

— Мне просто апельсиновый сок, — воспитан-

но отвечает она.

— Как Питер?

— О нем-то я и хотела с вами поговорить, — отвечает она с неприкрытым волнением. — Почему вы поставили вместо себя эту Адамс?

— Потому что мне не с руки заниматься этим лично. Сандра — агент внимательный и ответственный. Она проследит за исполнением всех наших договоренностей касательно Питера.

— Но я думала, мы с вами нашли общий язык, вы и я…

— Конечно, моя дорогая, и язык, с вашего позволения, очень даже проникновенный. Но будучи главой фирмы, я вынужден быть выше личных интересов своих артистов, дабы при случае иметь возможность решить любой возникший конфликт. Понимаете? Если возникнет что-то, с чем Сандра не справится, обратитесь напрямую ко мне, и я все улажу. Однако я не могу день за днем пестовать столь, я надеюсь, многообещающую карьеру. Вы разделяете мою позицию, не правда ли?

Всецело разделяет, зачуханная серая мышка, ведь крыть ей нечем. Как мужчина я не прочь ее утешить, но это повредит делу. Так что я потягиваю свое питье, а она, залпом прикончив

свое, наспех прощается и растворяется в ночи, преисполненная негодования, избавившего меня от еще одного поцелуя. Мне, в общем-то, жаль Элинор, но таков музыкальный бизнес. То кнут, то пряник, по обстоятельствам. А кто в прибытке — только дураки да артисты.

11
Время вышло

В вечном страхе опоздать на транспорт я провел немало ночей, ожидая, когда зазвонит будильник, и не решаясь принять снотворное, чтобы не разоспаться. И хоть я, конечно, преобразился, но все равно пока недостаточно крепок, чтобы выдержать гнев Мертл, который она обрушит на меня, если я не приеду первым поездом. Поэтому я ставлю будильник у кровати на шесть сорок пять, а на семь программирую в телевизоре новостную зорьку по Би-би-си-1. Тогда у меня будет масса времени, чтобы принять душ, упаковать вещи, позавтракать и в девять семнадцать отбыть с вокзала напротив в направлении Кингз-Кросс.

Встаю отдохнувшим, в новостях — никаких сюрпризов. Подсчитывают расходы на войну в Заливе и обличают тамошние зверства. Свергнутый иракский лидер клянется взять реванш. Американцы грозят отобрать у него оружие массового поражения. Борец за права человека предостерегает, что в бомбежках против иракских властей незаслуженно пострадают миллионы невинных

граждан.

Возвращаюсь из ванной с полотенцем на бедрах, растираю торс, а на канале — включение из Тобурнской студии: трехминутный выпуск местных новостей, который озвучивает девушка с вороньим гнездом на голове и жуткими аденоидами, хотя, может, это у нее такой едкий субрегиональный акцент.

— Полиция в Олдбридже, — начинает она, и по моей распаренной коже бежит холодок, — расследует инцидент, произошедший сегодня рано утром: на въезде в город с шоссе A821 в реку упал фургон. Полицейские водолазы ищут водителя, мужчину средних лет, который ехал в автомобиле один. С места событий передает Роджер Миддлтон. Роджер?

На экране встает рассвет над сверкающей инеем То. Стажер в чудовищных размеров дафлкоте накопал кое-какие подробности.

— В общем, Тэмсин, полиция не может взять в толк, как на таком хорошо освещенном, оживленном участке шоссе мог произойти подобный инцидент. Очевидно, автомобиль сошел с трассы за пятьдесят метров до моста, там, где отсутствует ограждение. После чего он скатился по откосу в реку и затонул еще до того, как на помощь по-

доспели другие водители. Из машины никто не эвакуировался, и, учитывая минусовую температуру, полиция почти не рассчитывает найти кого-либо в живых. Личность водителя уже установлена, но будет обнародована лишь после того, как оповестят родственников.

— Роджер, так это несчастный случай или полиция рассматривает и другие варианты?

— Следствие волнует вопрос, как это произошло: водитель потерял управление, например, заснул за рулем, или же он вынужденно уходил от встречного столкновения. Надеемся, что через час что-то прояснится. Больше всего не повезло автомобилистам. Боюсь, весь день на A821 будет работать всего одна полоса. Будьте готовы к долгому ожиданию на въезде и на выезде из Тобурна. Слово тебе, Тэмсин.

Услышанного более чем достаточно. Быстро затолкав вещи в сумку, буквально через пару минут вылетаю из номера и мчусь выписываться. За стойкой администрации царит Вудворд, администратор. Прошу доставить мой чемодан к поезду на девять семнадцать, называю вагон и место, жму на прощание руку и незаметно вкладываю ему в ладонь двадцатифунтовую банкноту — за эту и за прочие услуги.

— Всегда рады видеть вас, мистер Симмондс, — мурлычет он, — надеюсь, вам у нас понравилось.

Пропустить завтрак в гостинице я только рад. Портье у вращающихся дверей подзывает такси. Даже в час пик до Олдбриджа езды всего минут десять, маловато, чтобы прокрутить в голове все возможные варианты.

— Подождите здесь, — говорю шоферу, а сам поспешно спускаюсь на берег.

Территория огорожена полосатой пластиковой лентой, но я уверенно через нее перешагиваю, козырнув пресс-картой столичной полиции, — ее мне некогда преподнес один комиссар-меломан.

— Что нового? — спрашиваю у бибисишника Роджера Миддлтона, дескать, я его мимоходный коллега.

— Почти ничего. Собрали команду водолазов, будут искать и поднимать машину. Может на весь день затянуться. У водителя нет шансов.

— О нем что-нибудь известно?

Миддлтон кивает на горстку мужчин в черных шляпах и пальто — они стоят на мосту, раскачиваются и нестройно причитают.

— Видимо, один из этих. — Он пожимает плечами. — С этими парнями толком не поговоришь, знай себе трясутся. Хотя они, наверное, вообще

по-английски не понимают.

Там, где съехал автомобиль, осталась борозда. Высота здесь метров двадцать, уклон градусов десять, вполне можно успеть вдарить по тормозам, а если отказали, сигануть наружу, пока водой не захлестнуло. Однако на топком берегу не видно тормозного следа. Колея везде ровная. Если водитель и жал на педаль, то не на тормоз, а на газ. В общем, здесь явно не авария. Кое-что позаковыристее.

— Можете дать адрес пострадавшего? — спрашиваю у сержанта, который тут главный.

— Пока нет, сэр. Сначала мы обязаны оповестить близких родственников.

— Кошмар какой…

— На этом участке еще никто никогда не падал.

Подозрения мои нарастают, но подкрепить их здесь больше особо нечем. Глаза мои фиксируют место событий, а уши и все до единого гены предков тянутся к евреям на мосту — так и хочется покрыть голову и читать псалмы то ли во спасение, то ли за упокой души канувшего тут человека.

— «Возвожу очи мои к горам, откуда придет

помощь моя»[95], — доносится голос их главного; каждое Давидово слово он выпевает до упора, до точки разрыва.

— «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю»[96], — подхватывают остальные, и последний слог длится, настоятельно требуя ответа на их мольбу.

Потом поется Песнь восхождения, горестная и покаянная:

— «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих»[97].

А из глубин памяти насмешливым эхом раздается затверженный латинский стих: «De profundis clamavi ad te Domine. Domine exaudi vocem meam, fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae…»

— «И Он избавит Израиля, — выводит главный из еврейской кучки, — от всех беззаконий

---

[95] Примечания: 95
Псалом 120:1.

[96] Примечания: 96
Псалом 120:2.

[97] Примечания: 97
Псалом 129:1–2.

его»[98].

Как хочется мне встать рядом с ними, раствориться в знакомых рифмах, разделить горе с братьями. Но нельзя. Потому что я и есть причина их горя. Это я столкнул ту машину в реку, загнав водителя в тупик, из которого он не смог дать задний ход. Всегда держи для артиста комнату, чтобы ему было куда уйти, говаривал мой отец. Тогда он сможет потихонечку вернуться. В погоне за быстрым успехом я заглушил в себе отцовский голос. Я поспешил; потешить себя иллюзией, будто я повелитель времени, не удалось.

Какой смысл молиться и плакать? Во мне понемногу проклевывается жалость, но раскаяние меня не терзает. Все когда-нибудь кончается. На этот раз хотя бы не пострадали интересы моей семьи. «Все кончено, — говорю я себе, — наконец-то».

— Каннинг-стрит, — бросаю продрогшему таксисту, — в центре Олдбриджа.

Тротуар перед домом тридцать два запружен женщинами в черном, но катафалка не видно. Иного подтверждения мне не требуется.

— Будьте добры, на вокзал, — кидаю я шоферу.

---

[98] Примечания: 98
Псалом 129:8.

У меня есть полчаса, чтобы приобрести кофе, круассан, «Спектейтор» и поразмышлять, не купить ли Мертл цветов. Нет, в паре с той кухонной техноновинкой будет перебор; да и потом, она все равно уже что-то заподозрила. К платформе номер четыре подают поезд. На багажной полке над нужным местом лежит мой чемодан. Старый добрый Вудворд, вот кто никогда меня не подводит.

Первый глоток кофе обжигает — аж слезы выступают на глазах. Снимаю очки и, протирая их белым носовым платком, прислушиваюсь к воображаемому эмоциональному пульсу, пытаясь понять: горюю я или нет. Пока еще нет, голова занята совсем другим.

Версий несколько, и все нужно тщательно обмозговать. Авария или самоубийство? Определенно это не авария. Такой разгон под откос — явно неспроста. Да еще машина сходит с трассы на том единственном отрезке, где отсутствует ограждение. Выходит, водитель проделал это нарочно.

Значит, самоубийство. Не смог вынести публичности, ни под каким видом. Другого выхода не видел. Может, он оставил записку? Об этом мы в скором времени узнаем.

Однако согласно Торе самоубийство — смертный грех, равносильный убийству. Перед тем как погружаться в пучину, Довидлу бы пришлось отречься от веры. Неужели вера для него так мало значила? Но почему сейчас? До того момента, как я вернулся бы и повлек его под огни рампы, у него оставалось несколько недель, масса времени, чтобы привести дела в порядок. Довидл отнюдь не импульсивен; он никогда и ничего не делает впопыхах. И все же совсем эту версию отметать не стоит. Мы имеем дело с далеко не посредственным умом.

Убийство? Существует слабая вероятность, что какой-нибудь чокнутый расист с воплями: «За старую добрую Англию!» — бортанул его с дороги, и бородатый еврей скрылся в реке, молотя кулаками в задраенное стекло. Не исключено, однако в феврале, часов эдак в шесть утра, не часто попадаются пьяные изуверы. И куда Довидл спешил спозаранок, если утренняя молитва — самое ранее в семь тридцать?

Почему это раввины с учениками примчались рыдать на мосту почти сразу после «аварии»? Уже в семь тридцать они голосили на заднем плане в новостях Би-би-си, а ведь в это время должны были поспешать на утреннюю службу.

Его отсутствие они должны были заметить лишь после восьми, после того, как Довидл не явился бы на молитву. Что-то тут отовсюду попахивает фальшивкой.

А вдруг это его жена? Повернулась после шести на другой бок, а мужа нет, вот и вызвала поисковый отряд? Исключено. В общинах ультраортодоксов супруги не делят общее ложе. Они спят на одноместных кроватях, между которыми стоит тумбочка, на случаи жениной телесной скверны. Так что шансы, что миссис Каценберг спохватилась и подняла тревогу, ничтожны.

Но тогда как? В памяти всплывает неприглядный прецедент. «Йоселе!» — восклицаю я. Был такой израильский мальчик, Йоселе Шумахер, которого в 1960 году удрученный родной дед и жена раввина, Рут Блой, похитили у не соблюдавших шабат родителей, дабы воспитать в сугубо религиозном духе. Два года его прятали в разных гетто — то в Бней-Браке, то в Бруклине, то еще Бог знает где, но потом здравый смысл и угроза наказания вынудили фанатичных похитителей отпустить мальчика, правда, потребовав, чтобы он продолжил религиозное образование.

Долгие месяцы, пока Интерпол тщетно вел поиски, а государство Израиль корчилось от сму-

щения, студенты ешивы в Иерусалиме плясали на улицах и на мотивчик праздничной пуримской мелодии орали: «Где Йоселе?» — приводя в бешенство полицию. Невзирая на мощь современного государства и международного законодательства, средневековые стены раввинистической ортодоксии благополучно укрывали похищенного ребенка столько, сколько требовалось их обитателям, покуда они не смилостивились и не возвратили мальчика на своих условиях.

Не приходится долго копаться в памяти, чтобы припомнить: когда Довидла разыскивала британская полиция, хасиды его успешно укрыли и перевезли в другое место. А если они снова это провернули? Могла ли ешива, когда убедилась, что за ним гонится пришелец из прошлого — я, — повторно разыграть его исчезновение? Или же он дал деру самостоятельно, никому, даже жене, не сказавшись?

А легко: подъехать на фургоне к краю набережной, в такую рань точно никто не увидит. Переодеться, сбрить бороду. Одну ногу выставить наружу. На педаль газа положить деревяшку. Отпустить тормоз. Отскочить. А потом прогуляться с километр до вокзала, а там на автобус или на поезд — и куда глаза глядят. Член совета

министров, лейборист Джон Стоунхаус, свалил свои вещички на пустынном берегу, исчез и лишь спустя годы вынырнул в Майами. Лорд Лукан, аристократ-картежник, пришил нянюшку, смылся из своего особняка в Белгрейвии, и только его и видели. Недели не проходит без того, чтобы какой-нибудь травоядный фермер или банковский служащий не бросил жену, семью и не растворился без следа. Чтобы исчезнуть и спрятаться, ни особо выдающих талантов, ни большого богатства не нужно. А Довидл — он же гений — мог легко проделать это дважды, причем безо всякой помощи.

Итак, что дальше? Ждем ключей к разгадке. Поезд на девять семнадцать тяжко вздыхает и понемногу отчаливает от Тобурнского вокзала. За считанные секунды пересекает реку, откуда открывается вид на место происшествия. Кран тянет со дна синий фургон, с него льется вода. Да, это Довидл. Так и есть.

Пока я, прильнув к окну, выворачиваю шею, в купе первого класса входит молодой человек, весь такой чинный, и осведомляется, здесь ли вагон Д. При нем футляр от скрипки. Все внутри меня так и настораживается. Что Довидл сделал с Гваданьини за три миллиона долларов? Если он,

как я начинаю подозревать, скрылся, он бы ее не бросил. Ее обнаружат в оставленном имуществе, продадут на аукционе, чтобы выручить денег на жизнь или оплатить налог на наследство, а еще она могла стать наводкой для полиции, если бы я захотел уличить беглеца в воровстве и лжи, опозорив его детей. На такое бы он не пошел.

Скрипка значилась в розыскных списках Интерпола. Честным путем ее не продашь. Если он ее забрал, она ничего не стоит. Если нет, она вскоре всплывет.

— Старинный инструмент? — спрашиваю у рассевшегося паренька, указывая на футляр, бережно уложенный им на сиденье.

— О, я бы сказал, что да, — растягивая слова, отвечает он на уверенном итонско-оксфордском. — Италия, восемнадцатый век. Везу на Сотбис, пусть слегка освежат и отполируют перед продажей.

— Можно я взгляну? Я немного в этом разбираюсь. У меня самого дома Тестини. От дедушки досталась, — тараторю я.

— В руки дать я ее не могу, — отвечает покладистый парнишка. — На Бонд-стрит меня убьют. Но я открою футляр, а вы взгляните, раз уж так хочется.

Сердце вдруг принимается бухать, сильно, как прежде, до этой последней, возродившей меня недели. Неужели я нашел прореху в его посмертном плане? Хлопаю по карману с таблетками, пусто, значит, придется выкарабкиваться самому.

— Вот, — говорит мой аукционный гонец. — Что вы о ней думаете?

Ничего особенного, честно говоря. На мой наметанный взгляд, это французская копия девятнадцатого века с Кремонского оригинала, абсолютно заурядная, красная цена ей максимум тысяч сто. Уф!

— Роскошная, — объявляю клерку. — Вы пробовали на ней сыграть?

— О, нет, я на таких вещах не играю, только продаю.

— Откуда она у вас?

— Обычная история. Загородное поместье, древнее, с незапамятных времен. Старый глава семьи немного музицировал, теперь скончался. А детям нужны деньги.

— Никакого уважения к традиции…

— Конечно, им стыдно, но, видать, необходима наличность.

А меня так и распирает от восторга. Слишком

было бы небрежно, слишком не похоже на того Довидла, которого я знал, попытаться так сразу, по горячим следам, вывезти из города главный предмет, который может его выдать. Для этого клейменого инструмента он придумает ход поинтереснее. Терпение, уговариваю я себя. Потерпи, и все прояснится, всему свое время.

12
Всему мое время

Ничего лучше, чем повторная его потеря, со мной в жизни не было. Осознал я это лишь спустя четыре года, но так оно и есть. Его второе исчезновение принесло мне больше, чем отняло первое. Мой законный пенсионный возраст далеко позади, а я полон амбициозных замыслов. Бизнес растет как на дрожжах, личная жизнь бурлит, плюс до меня дошел достоверный слушок, что в честь дня рождения Ее королевского величества мне вручат орден Британской империи за «вклад в британскую культуру» — вклад, внесенный мной преимущественно за те четыре года, что миновали с момента второй пропажи моего друга.

Не стану делиться своим открытием с женой, с которой у нас теперь, кстати, гораздо более доверительные отношения, чем раньше. Как и полагается хорошей супруге, после моего возвращения из Тобурна Мертл полностью подстроилась под нового меня. Говорите что угодно, но у Мертл локаторы, как у спутника-разведчика, и гроссмейстерское умение просчитывать ходы.

Она ни разу ни о чем не спросила — ни о том, что случилось в ту неделю на Севере, ни почему я выпотрошил шкафчик с шарлатанскими снадобьями, отказался ходить к остеопату и при этом невероятно взбодрился. А я не стал распространяться о причинах моего возрождения. Она просто замечает искорки в моих глазах и начинает искрить в ответ.

Приезд Сандры Адамс подвергает ее выдержку серьезному испытанию. Сэнди обуревают нетерпение и жажда деятельности. Она утверждает стол в углу моей конторы и вскоре уже проводит в Лондоне, в арендованной для нее квартирке, по четыре дня в неделю. Она самовольно отправляет Марию Ольшевскую на европейского «Молодого музыканта года», где девочка с блеском побеждает на континентальных телеэкранах, и ее заваливают предложениями о концертах и записях. Марии еще год учиться в школе, а все уже жаждут ее выступлений. С интересным предложением обращается Ганс Деркс, агент из Голландии. Он готов передать нам всемирные права на энергичного русского пианиста в обмен на Марию в странах Бенилюкса. Это и на бумаге смотрится привлекательно, а вскоре вообще выливается в лучшую сделку с тех времен, как

Иаков выменял чечевичную похлебку на право первородства.

В Маастрихте Мария для нас, конечно, состояния не сколотит, зато русский, Анатолий Гадзинский, — просто бомба. Играет он точь-в-точь как неистовая легенда былых времен, буйновласый Падеревский[99], и баламут Пахман[100], допуская помарки в технике и вольности в обращении с публикой, и дает нам беспрецедентные сборы. На сцену он выходит, жуя жвачку, а садясь, демонстративно прилепляет ее к днищу полированного табурета. В перерывах между частями отхаркивается и сплевывает, как футболист. На описания его широченного шелкового розового галстука и воротничков, злостно украшенных изображениями дамских гениталий, популярные издания некогда отводили пару абзацев, теперь строчат километры. Ни такт, ни стыд ему неведомы. На овации он отвечает экспромтами, как правило, оскорбительными и богохульными, а на Уимблдоне заводит интрижку с розовощекой

[99] Примечания: 99

Игнаций Ян Падеревский (1860–1941) — польский пианист, композитор, дипломат, общественный и государственный деятель.

[100] Примечания: 100

Владимир (де) Пахман (1848–1933) — уроженец Одессы, один из корифеев пианизма конца XIX — начала XX в., прославившийся исполнением Шопена и эксцентричным поведением на публике.

красоткой, продувшей на последнем турнире во Всеанглийском клубе[101], — тут щелк, там щелк, а в итоге ноль-пятнадцать, — и таблоиды наперебой пускают слюни. «Софи в нем души не чаяла, — вопит „Сан“, — а Крысеныш Гадзи тем временем упражнялся в постели с ее напарницей». «Миррор» дает ему прозвище Гадзилла и трезвонит о «горячей ночке», которую он провел в раздевалке с двумя шведками из начального раунда. Что здесь правда, что нет, мне до лампочки. На Гадзинском, этом отъявленном ходоке, мое дело в основном и зиждется: он загоняет писакам свою антикуртуазную биографию за звонкий доллар, десять центов из которого капает мне — отчисления за организаторские хлопоты, на рост и развитие «Симмондс».

Голландец Деркс проворачивает с русскими непонятные делишки и бесперебойно сплавляет нам многообещающих граждан бывшего Союза — кого из них ни возьми, западные оркестранты и в подметки им не годятся. Мы с Сэнди отбираем шесть превосходных экземпляров — трех пианистов, двух скрипачей и смазливую виолончелистку-казашку, которая неотразимо

[101] Примечания: 101

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета проводится большинство матчей Уимблдонского турнира.

действует на дирижеров определенного возраста. Наш порог обивают лучшие оркестры. Сэнди с таким энтузиазмом продвигает восточных уникумов через Хук-ван-Холланд, что я вынужден поинтересоваться, сугубо ли профессиональные отношения связывают их с мистером Дерксом.

— Сейчас да, — обезоруживающе ухмыляется она, — но, было дело, мы проводили в Амстердаме славные ночки в духе квартала красных фонарей. Вы когда-нибудь пробовали заниматься этим под гашишем, мистер Сим?

Мямлю что-то насчет разницы поколений и старательно избегаю расспросов про Олли. Сэнди сама весело докладывает, что ему без нее лучше. Покормив детей ужином, он, радуясь, что над ним не свищет хлыст жениного осуждения, почти каждый вечер отчаливает в Тобурнский парк королевы Виктории тискать мужскую плоть. Ради собственного ублажения Олли забросил свои политические идеалы. Сэнди все устраивает, и когда Деркс таинственно исчезает, а потом всплывает в лейденском канале в расчлененном виде, она бросает учить русский и больше не ищет близких союзов, ни плотских, ни деловых. Успех, заключаю я, для нее предпочтительнее либидо, — и это лишь увеличивает трещину их

неравного брака.

Едва Мария получает диплом, Сэнди сплавляет Ольшевских в Швейцарию «из-за налогов», а сыновей пристраивает в лондонскую школу Корпус-Кристи, отряхнув с себя Олли и провинциальное происхождение — так сбрасывает кожу гремучая змея. Когда я мягко осведомляюсь, почему она хочет порвать с прошлым, Сэнди с терпеливой улыбочкой бормочет что-то из Пушкина про «прошлогодний снег». Она быстро приобретает космополитический лоск. Дважды в год летает в Милан обновлять гардероб у самого Джанни Версачи. Сандра Адамс идет в гору.

Встревоженная ее неукротимым подъемом, Мертл решает бросить бридж и пойти ко мне финансовым директором.

— Кто-то должен присматривать за приходами, уходами, а главное, расходами, — безапелляционно заявляет она.

Она настойчиво обращает мое внимание на то, что в коридорах отцовской конторы уже не протолкнешься, и, пользуясь просевшим рынком недвижимости, я выдавливаю захиревших соседей и выкупаю здание целиком.

Отныне Мертл держит наш легкомысленный полет в узде здравомыслия. Ее бюджетное вето

крепко и нерушимо, и Сэнди приходится отказаться от кое-каких эффектных приобретений. Однако Мертл вовсе не ретроградка и не трусиха. Ей тоже не чужд экспансионистский задор. Унаследованный ею беглый испанский открывает перед нами богатые заморские рынки. Она проводит с Гадзиллой громкий тур по Латинской Америке и умудряется за это время подписать для нас пятерых сочинителей танго. Мои горячие поздравления разжигают в ней прежний любовный пыл и раздувают тягу к, кхм, ролевым играм. Бизнес сближает нас сильнее, чем все годы брака, — к удивлению, если не сказать, конфузу, наших взрослых сыновей.

Старший, Мортимер, переживает кризис средних лет: бросает жену и детей, покупает гинекологическую практику в Беверли-Хиллз и принимает (так я представляю) посетителей в цветастой рубахе. Эдгар, судебный адвокат, после того как Роберт Максвелл, издатель, сутяга и шельмец, утопился в море, питает все растущее отвращение к тяжбам. Впервые с самого детства он приходит ко мне за советом, и в памяти встают воспоминания, как Мертл ночами приводила меня к нему в комнатку и я, слушая его нежное дыхание, исцелялся от своей утраты.

Почему бы ему не обратить свой замечательно натренированный на криминалистике мозг на сферу развлечений, предлагаю я, особенно на заключение контрактов и защиту авторских прав в новых медийных технологиях и зарождающемся Интернете?

Он набрасывается на виртуальную музыку, как акула на затонувшее судно, и тщательнейше препарирует стандартные авторские договоры, лет сто как как не менявшиеся. Глазом-алмазом подмечает, что у нас не охвачены права на электронное распространение — целый подводный сундук с сокровищами. На неиспользуемых музыкальных наработках можно прилично подняться. Экономно возвращаю в свой актив обозримое будущее всех композиторов, которых раньше распродал за ненадобностью. Эдгар составляет беспрецедентный контракт и предлагает «Рассвет над Днепром» одному книжному интернет-торговцу в качестве музыкальной заставки к сайту. Мы пускаемся по неизведанному морю и плывем по звездам. Даль безбрежна и непредсказуема.

«Симмондс» — первая музыкальная компания, которая вышла на интернет-рынок, на миллиард лет обогнав всю отрасль. Конкуренты обвиняют меня в закулисных интригах и всевозможных

махинациях. Их страх мне льстит. Из уважаемого старейшины нашего ремесла я превратился в необузданного застрельщика, лидера рынка. Публики на моих похоронах, о которых думать мне сейчас особо недосуг, сильно поубавится, и надгробные речи много потеряют в задушевности. Тем лучше. Эдгар по дешевке покупает этаж подо мной и переносит туда из «Грейз инн» свою адвокатскую контору. Теперь в выходных данных фирмы он юридический директор «Симмондс» плюс хорошая страховка от ненасытных аппетитов Сэнди.

А внимание миссис Адамс приковано к западу, самому большому мировому рынку. Дебют Марии Ольшевской в Карнеги-Холл она готовит с скрупулезной выверенностью и таким рекламным размахом, который только можно купить за деньги. В шоу «Сегодня» на канале Эн-би-си Мария появляется в белом платье — хоть сейчас на конфирмацию — и под финальные титры исполняет «Аве Мария». В программе «Доброе утро, Америка» на Эй-би-си выступает с признанием, что в восемь лет ей явилась Дева Мария, которая вышла из вод Северного моря и велела девочке посвятить свой талант служению Иисусу. Каждая сыгранная ею нота — ода во славу божественной

милости в этом уродливом, испорченном мире.

Помимо обычной концертной публики Карнеги-Холл наводнен католическими иерархами — целая предпасхальная процессия во главе с кардиналом-архиепископом Нью-Йорка. В программе — Шопен, и Мария исполняет его, как с еврейским лукавством скажет обозреватель «Нью-Йорк таймс», с «непорочным целомудрием». Но это уже неважно: она создана для мира фимиама; ее игра вполне эффектна и способна удовлетворить ту полудюжину прожженных деляг, которые заправляют миром ангажементов. Очаровательная от природы, она стала еще неотразимее, сбросив бремя английскости. Сэнди не зря наняла ей дорогущего преподавателя по технике речи — перековать харáктерный тосайдский выговор в блеклый усредненно-американский.

Приблизительно через неделю после дебюта Марии Анатолий Гадзинский во время исполнения концерта Шумана в сопровождении Нью-Йоркского филармонического оркестра в Эвери-Фишер-Холл вскакивает со стула и объявляет публике, что дирижер — полудурок и гомик-жополиз, не удосужившийся нормально отрепетировать, и что сама публика разбирается

в музыке как свинья в апельсинах. Охранник бросается его утихомиривать, и тогда он сдирает с себя розовый галстук с женским срамом, швыряет его в ближайшую грандессу и шествует к выходу мимо рядов потерявших дар речи завсегдатаев. Пресса осаждает гостиницу, но Гадзинский отказывается появляться до тех пор, пока Софи, «вторая подача», восемьдесят девятая ракетка мира, не прилетает и не дает согласие за него выйти. Церемония попадает на первую обложку журнала «Пипл». Никакие грядущие американские знаменитости Гадзинскому больше не страшны.

У Сэнди, которую буквально заваливают анкетами, созревает решение нанять еще парочку помощников и открыть «Симмондс лимитед» в пустующем помещении на 57-й улице, напротив Карнеги-Холла. Соглашаюсь с готовностью и облегчением: хорошо избавиться от чужачки в собственной компании и при этом продолжать пользоваться ее энтузиазмом, опытом и необузданным рвением. Отказавшись (в составленном Эдгаром письме) от всех долей и отчислений в «Симмондс (ноты и концерты) лимитед», Сэнди становится главой «Симмондс инкорпорейтед» (США). Свою функцию катализатора она выпол-

нила и теперь уходит из нашей истории.

Мертл вздергивает бровь и немедленно передает лондонское рабочее место Сэнди новому руководителю отдела рекламы. В настоящий момент, как подчеркивает она, у меня в подчинении на целых восемь сотрудников больше, чем было у моего отца в пик его расцвета, причем работают они целенаправленнее и эффективнее. Рост наш сейчас полностью под контролем, во всех смыслах слова. Мы в курсе дел, но, в отличие от моих родителей, не позволяем им нас поглощать. У нас с Мертл хватает времени, чтобы путешествовать по экзотическим местам, читать, обмениваться впечатлениями. Мы точно больше не станем убивать лето на тоскливом швейцарском курорте.

От всего этого меня захлестывает прямо-таки ощутимое чувство удовлетворения, и оно настолько громадное, что почти оправдывает впустую растраченные годы и заставляет пересмотреть, *da capo*[102], аксиомы, на которых зиждилась моя прежняя жизнь. Потеряв Довидла вторично, я обрел вторую жизнь. А может, он и первую не разрушал? И отнюдь не был, с самого первого своего появления, паразитом, загубив-

---

[102] Примечания: 102
От начала (*лат.*).

шим мою юность на корню и полностью меня подмявшим? Мысль довольно еретическая, и я ломаю над ней голову две жалкие бессонные ночи подряд.

Сам посуди, увещеваю себя за чашкой утреннего какао с молоком, как бы текла твоя жизнь, не случись в ней его. Через два-три года сбросил бы мальчишеский жирок, поколотил соседского Джонни Айзекса и преодолел социальное отчуждение. Еще через четыре-пять годков завалил бы в постель горничную и двинул в Кембридж. Купаясь в родительском обожании и любви, вылечил бы маму от постклимактерической депрессии. Со временем унаследовал бы фирму и привел ее к новым вершинам либо состоялся на ином поле деятельности, доходном или же умозрительном. В общем, наслаждался бы существованием, знавал взлеты и падения, как любой умеренно успешный, взрослый небездельник.

Все это перечеркнул Довидл. С первых же фраз он поставил меня на место — место раба, подчиненного его звезде. Я был Санчо, он Дон Кихотом, я *машгиахом* — он *Рошем*, и ни отсрочки, ни досрочного освобождения не предусмотрено. Превознося мой ум, он заставил меня поверить, будто я для моего гениального товарища незаме-

нимый человек. А в действительности роль моя была та же, что у Лепорелло при Дон Жуане: присутствовать присутствуй, но держись в сторонке и ничего руками не трогай. Сказать по правде, он меня околпачил. Он так во мне нуждался, что посадил под замок, превратил в кастрата на побегушках.

Ни в одном из уголков моей жизни не чувствовал я себя независимым и самостоятельным. В школе я терялся в лучах его славы. В играх он всегда шел первым. Дома, для моих родителей, светом в окошке тоже был он, не я. Я не мог и заикнуться, что меня что-то не устраивает. Он был гений, несчастный сирота. Лишь черствый, бездушный человек мог отказать такому в помощи.

Когда в подростковом возрасте он сорвался с цепи, он так горевал, буйствовал и бунтовал, что я показывать норов был уже не вправе. Видя, как непросто приходится папе с мамой из-за его закидонов, я не решался огорчать их еще и своими взбрыками. Я взял на себя роль уступающего и перенес ее дальше, во взрослую жизнь, вынужденно разыгрывая смирение и находя отдушину в супружеских изменах в грязных привокзальных гостиницах, разнообразивших мое домашнее довольство.

Мой повелитель испугался, что, познав сексуальное раскрепощение, я вывернусь из его хватки. И соблазнил мою первую девушку — не затем, что действительно ее хотел, а лишь бы раболепный евнух от него не сбежал. Он не оставил мне ни клочка жизни, который я мог бы назвать действительно своим. А когда он взял и исчез, он унес с собой ключи от моей камеры. Я не мог ни влюбиться, ни увлечься каким-либо делом. Мне оставались лишь рубище да прах, неспособность отойти от бесконечной *шива* и обрести уверенность в себе. Все эти годы я оплакивал утрату своего спасителя, так и не сумев разглядеть, кем он был на самом деле, — душегубом.

Его со мной обращение было типичным для музыкантов. Ричард Вагнер измывался над своим почитателем Гансом фон Бюловым: спал с его женой Козимой, а недужного друга и помощника, который дирижировал его «Тристаном», принуждал выгораживать его — мол, Вагнер и не думал наставлять ему рога — перед королем Людвигом и всей хихикающей Баварией. Арнольд Шёнберг держал в рабстве учеников Альбана Берга[103] и

[103] Примечания: 103

Альбан Берг (1885–1935) — австрийский композитор, наряду с композитором и дирижером Антоном Веберном (1883–1945), — представители Новой венской композиторской школы.

Антона фон Веберна, заставляя их подражать ему, вместо того чтобы сочинять что-то свое. Моцарт пренебрежительно относился к своему собрату, Брамс насмешничал над друзьями, Игорь Стравинский нещадно эксплуатировал всех, до кого мог дотянуться.

А подумайте о несчастных родственниках — женах Пуччини, Яначека[104] и Сибелиуса, детях Листа, Берлиоза и Шумана, неудачных дубликатах и копиях Богом поцелованных. Говорят, лучшие мелодии пишет дьявол. Неправда: не только лучшие, а вообще все. Чем грандиознее музыкант, чем больше он приобщен к источнику зла. Музыкальных импресарио принято считать жестокими. Многие из нас начинают как обожатели музыки, однако быстро обзаводятся асбестовым панцирем: иначе не выстоять под драконьим пламенем, таящемся абсолютно в каждом, кто умеет создавать сладкозвучный шумовой фон (за исключением виолончелистов, они необычайно деликатны и покладисты). *Ne tirez pas sur le pianist*[105], призывают нас. Как

[104] Примечания: 104

Леош Яначек (1854–1928) — чешский композитор, музыковед-этнограф и педагог.

[105] Примечания: 105

Не стреляйте в пианиста (*фр.*).

бы не так! Это пианиста (скрипача, дирижера, композитора) как раз и следовало бы застрелить за все порушенные им жизни. Надо бы мне снять фильм *«Ne tirez pas sur le patron»*[106].

Мы, импресарио, абсолютно беззащитны и находимся на изрытой воронками полосе отчуждения между производителями и потребителями гармонии. Меня задело небольшой кометой, и я на время выпал из жизни, но теперь наконец близок к выздоровлению. Наверное, мне стоило бы открыть консультацию для пострадавших от жесткого обращения музыкантов. Запросил бы у ЮНЕСКО грант, а у Карнеги-Холла — кабинет первой помощи, и спасал бы жертв садомазохизма — ведь ими, главным образом, и питается серьезная музыка.

Итак, что мы имеем? Вместо братской любви к музыканту, который обчистил мою жизнь, я испытываю… не ненависть, а глухую обиду и прилив уверенности в себе. Теперь, что бы ни случилось, я могу быть собой. Жажду ли я его смерти? Пока нет. Еще не все завершено. На вторую ночь, на самой середине, меня лишает сна вопрос: а что было бы, если?.. Что было бы, не появись он тем

---

[106] Примечания: 106
Не стреляйте в патрона (*фр.*).

плавящимся от жары августовским днем 1939-го? Если бы моя жизнь прошла по целехоньким рельсам? Хотел бы я никогда не знать того трепета сопричастности, глубинного слияния с музыкой в созидательном восторге, когда время останавливается и по спине бежит холодок, память о котором я унесу с собой в могилу? Или же за те дары я навсегда в долгу и вынужден платить за редкое, ускользающее блаженство запредельно высокую цену?

Исцеляясь от бессонницы и производя сумрачную самоинвентаризацию, я вынужден признать: ни единой минутой я бы не поступился. Довидл открыл мне глубину и яркость переживания. Показал, что скучную жизнь можно наполнить страстью, что место мое не обязательно на задворках планеты — ведь путь мой освещает звезда. Стихийный взрыв музыки способен возвысить, перетряхнуть обыденность. Отказаться от этого я не могу, да мне и не хочется. На протяжении пустых лет я свято чтил *raison d'être*[107], и теперь, в годы триумфа, надо бы снова к нему вернуться. За свой успех я кое-что ему обязан: я обязан дать ему право покоиться с миром; долг выплачен.

---

[107] Примечания: 107
Смысл, разумное основание (*фр.*).

К пониманию этого я пришел лишь четыре года спустя. Сперва я никак не мог его отпустить, в особенности еще и потому, что мой изначальный план основывался на его публичном подчинении моей организаторской воле. Его возвращение означало и мой подъем, перестановку наших ролей. Мне было жаль этого несостоявшегося триумфального взлета, хоть и не так безумно, как я поначалу ожидал.

Целый месяц после его исчезновения я ежедневно заказывал в контору «Тобурн газетт».

> Полицейские водолазы повторно обследовали место крушения на трассе A821, произошедшего на прошлой неделе, после того, как поднятый из реки То фургон оказался пуст. Тело водителя, предположительно раввина Давида Каценберга из Талмудического колледжа в Олдбридже, не обнаружено.
>
> Коллеги раввина Каценберга сообщили, что по пятницам он вставал до рассвета и ехал за фруктами и овощами для еврейского шабата, которые впоследствии раздавал нуждающимся членам общины. Говорят, его жена и одиннадцать

детей пребывают в состоянии глубокого шока и траура. Друзья сообщили «Газетт», что он был учителем, которого все любили и который всю свою жизнь посвящал окружающим. Уроженец Польши, во Вторую мировую войну он единственный из большой еврейской семьи уцелел во время немецкой оккупации.

Ничего нового, лишь очевидное сообщение, что тобурнский коронер, доктор Али Медахи, вынужден вынести открытый вердикт. Для полноты картины просматриваю «Хамейр» и «Джуиш мейл», еженедельные журналы соперничающих ультраортодоксов, которые выходят на английском и идише, с промельками классического иврита и арамейского, призванных запорошить любопытные глаза вроде моих. «Хамейр» информирован куда лучше.

Ешива олам было подавлено поступившими из Олдбриджа сообщениями, что его обожаемый *машгиах рухони*, раввин Довид Каценберг, стал *нифтер* трагического дорожного происшествия. Раввин Довид взял на себя *мицву* по утрам перед *эрев шабос* отправляться на

рынок за фруктами и овощами, чтобы успеть купить лучшие плоды и раздать их неимущим. На обратном пути его машина сошла с дороги и угодила в ледяную реку. Почему такое несчастье произошло с праведным человеком, *цадиком*, да еще во время выполнения двух *мицвос* — обета молитвы и благотворительности, — выше понимания простых смертных, *рахмоно лицлон* (да пребудет с нами милость Его).

У раввина Довида остались возлюбленная ребецн, Броха, дочь первого олдбриджского *рош ешива*, благословенной памяти раввина Менаше Гершковица, и одиннадцать детей, все *оским* в Торе и *мицвос*.

Раввина Довида послал в Олдбридж Медзыньский ребе, да пребудет с нами память о нем, после того, как он потерял всех польских родственников. Его горячая привязанность к медзыньским и другим хасидским *нигуним* неоднократно проявлялась на олдбрижских свадьбах, когда раввин Довид, почтенный учитель, снимал с себя *капоту* и на дешевенькой

скрипочке играл веселые мелодии, чтобы потешить сердца молодоженов. Он часто приводил цитату из *Тегилим*: «Служите Хашему с веселием»[108] и «Пойте Хашему новую песнь»[109]. Стихи эти, говорил раввин Довид, учат нас тому, что Создатель мира даровал нам музыку для божественной цели — славить Его и с каждым новым поколением пополнять Его песенную сокровищницу.

Мистер Х.-И. Шпильман, Лондон N16, медзыньский летописец и близкий друг *нифтера*, отмечает, что его *петира* состоялась двенадцатого швата, в день *ёрцайт* его отца, указанный в Песне имен святым Медзыньским ребе, с которым тот вместе делил тяготы фашистских лагерей. Олдбриджская ешива установит в честь поминовения души раввина Довида Каценберга день молитвы и изучения Торы; дата будет объявлена *ий'х*.

ИЙХ — *им йирце Хашем*, воля Божья. Все на

---

[108] Примечания: 108
Псалом 99:2.

[109] Примечания: 109
Псалом 32:3.

земле — включая массовые убийства и внезапные исчезновения — совершается согласно божественному волеизъявлению. Вчитываюсь в «Хамейр», как его авторы — в Талмуд, ища не то, что явлено, а то, что скрыто. Формально фраза, помнится, звучит так: *«Мегале тефах умехасе тефахаим»* — одну меру отдай, две сокрой — и подразумевает мужеские ухищрения во время любовного акта. Однако верующие иудаисты в чем угодно способны отыскать метафорические смыслы.

«Хамейр» («Просветитель») заботится не о том, чтобы пролить свет, наоборот, он предельно сгущает тьму, оставляя ошметки намеков и бреши в повествовании, по которым верующий и складывает свои страницы-паззлы. Например, в нем ни словом не упоминается о положенных семи и тридцати днях траура по *нифтер* (покойному), — то ли потому, что, пока тело не найдено, родным скорбеть не полагается, то ли потому, что покойный в действительности жив и просто сделал ноги.

И при этом со стороны других раввинов — ни одного посмертного панегирика, а ведь обычно, случись их собрату отойти в мир иной, они слетаются, как чайки на корабль. Во мне вновь

шевелятся подозрения.

«Где Йоселе?» — размышляю я, мурлыкая песенку черношляпников про похищенного мальчика.

Теперь понятно, зачем Довидл тем утром встал ни свет ни заря — он всегда делал так по пятницам — и почему он выбрал именно этот день. Еврейская годовщина гибели его отца усугубила бы драматизм момента, потому-то исчезновение произошло поспешнее, чем того требовала разумная необходимость. С этим в целом разобрались, к взыскательному моему удовольствию.

И все же как из пианино, которому пережали педаль, торчат струны, так и это исчезновение опутано не вяжущимися друг с другом концами. Погибший едет покупать фрукты-овощи, но из реки достают пустой фургон. Куда девалось купленное? Выросший в бедности, Довидл ни за что не загубил бы целый фургон съестного. Сумевший уже дважды обвести всех вокруг пальца, он знал, что полиция станет въедливо восстанавливать картину его последних перемещений, значит, надо было придать им обыденный характер. Скорее всего, в то утро он отметился на рынке, чтобы создать видимость повседневных хлопот и обзавестись очевидцем. Листаем «Газетт» и

сразу находим подтверждение — свидетельства торговой братии:

> «Он завсегда, какая бы ни была погода, был солнечным и теплым», — сказал Фред Тримбл, 46 лет, оптовый торговец с Икенфилд.
>
> «Один из лучших моих клиентов, всегда платил наличными и приезжал четко, как часы», — добавил его брат Артур Тримбл, 48 лет.

Затарившись, Довидл должен был избавиться от купленного и лишь потом топить фургон в реке. За час с момента открытия рынка и до «аварии», в одиночку бы он не управился. Без помощника, а то и нескольких, тут не обошлось. Выстраиваю логическую схему, как все происходило в тот последний час. Предположим, Д1 приезжает на рынок в шесть, делает покупки, загружает их в фургон, затем отчаливает, предположительно в машине своего сообщника. Еврей с похожими телосложением и бородой — Д2 — на глазах у всех садится в фургон и уезжает. Перегружает ящики с фруктами-овощами в третью машину, вероятнее всего, аналогичный синий фургон, водитель которого, Д3, едет в общину

и раздает там его содержимое. Д2 сбрасывает пустой фургон в реку. Тем временем Д4 уже доставил Довидла в манчестерский аэропорт, аккурат к рейсу на Тель-Авив, Ньюарк или Майами. Остальные три Д спокойно возвращаются на базу. Обитатели ешивы смыкают свои ряды крепче, чем курсанты Сандхерста[110] на параде. Всех деталей нам никогда не узнать; за два дня, проведенных в компании Довидла, я уяснил достаточно и умею распознавать виртуозное ловкачество.

Остается два вопроса: где он сейчас и куда он дел Гваданьини — «дешевенькую скрипочку», как обозвал ее «Просветитель»? Можно организовать погоню. Три миллиона долларов — неслабый стимул, он же приз. В Израиле есть детективные агентства, чья специальность — ультраортодоксы; они ухитряются отличать одного бородатого беглеца от другого. Поразмыслив, от этой идеи я отказываюсь. Не представляю, какой израильский частный детектив сможет разгадать уловки моего Гудини-в-квадрате. Прекращай, говорю я себе. Бросай поиски. Пусть его. А что до скрипки, он никогда не сможет ее продать. Пусть уносит

---

[110] Примечания: 110

Сандхерст — Королевская военная академия, британское военное высшее учебное заведение.

ее с собой в могилу, на здоровье.

Но безответная загадка, словно неоконченная симфония, не дает мне покоя.

— Что тебя беспокоит? — спрашивает Мертл, когда я третью стылую ночь ворочаюсь без сна.

— Когда все выяснится, я тебе расскажу, — обещаю я.

— Наверняка это пустяки, — бормочет она. — У нас ведь все так хорошо идет.

— Ты права, — говорю. — Это пустяки, просто кое-какие неулаженные неурядицы на Севере.

— Никогда не понимала, что у тебя там за дела.

— Я тоже, дорогая, да и дел там совсем немного.

— Так передай их кому-нибудь, — здраво предлагает она. — Если что-то сложное, поручи Эдгару. Если нет, просто забудь.

— Отличная мысль.

Выпиваю еще одну «Хаммамилу», уютно, как кот в подушку, утыкаюсь в женину теплую спину и стараюсь подумать о чем-нибудь другом.

И тут, когда я уже почти отчаялся снова научиться засыпать без лекарств, наутро приходит письмо с Севера, вызвав на моем лице кривую улыбку. «Вечером водворяется плач, а на утро радость. — пел Псалмопевец, — И я говорил в бла-

годенствии моем: „не поколеблюсь вовек“»[111]. Пишет Элинор Стемп, просит срочно встретиться и поговорить насчет будущности ее сына Питера. «Простите, что беспокою вас, ведь вы, говорят, теперь летаете высоко, — канючит она во первых строках письма, — но раз уж вы обратили свое благосклонное внимание на талант Питера, я была бы признательна за совет касательно этого непростого поприща».

Обращаюсь к досье. Прогресс у Питера хромает. По мнению Фреда Берроуза, до солиста ему не дорасти, но в местном оркестре он играет с удовольствием, и, возможно, у него хватит норова выбиться в первые скрипки. Сейчас ему девятнадцать, он уже отучился полтора курса в Королевской музыкальной академии в Кардиффе, ректор которой, мой давний знакомец, прислал хвалебный отчет, — впрочем, в музыкальных заведениях всегда хвалят. Ни за что не признаются, что хоть один представитель человеческой расы, при надлежащем обучении, не способен сделаться профессиональным музыкантом. Съезжу я лучше, посмотрю сам, заодно поставлю достойную точку в этом эпизоде.

---

[111] Примечания: 111
Псалом 29:6–7.

— Забронируйте на следующий понедельник поезд до Тобурна на девять ноль три, — говорю своей расторопной молоденькой секретарше (максимум навыков общения с техникой и минимум — с людьми), — и закажите в тобурнской гостинице «Роял» столик на двоих, на час дня. Лучше на троих, вдруг мальчик тоже явится. Обратитесь к мистеру Вудворду, администратору. Он распорядится.

— Вы с ночевкой?

— Нет, закажите мне билет обратно на ранний вечерний экспресс, раньше он ходил в шестнадцать сорок две. Билет в оба конца, в первый класс, лицом по ходу движения.

И вот, четыре года спустя, я снова в понедельник, выгребая в двубортном костюме навстречу утреннему людскому потоку на Юстонском вокзале, намереваюсь предпринять поездку, с точки зрения прихода-расхода не так уж необходимую. На этот раз, однако, я говорю Мертл не всю правду.

— Еду на Север, улажу там кое-какие оставшиеся дела. К ужину вернусь.

— Укутывайся потеплее, — напутствует она.

И я укутываюсь. Февраль — смертельный месяц для моих ровесников. Совсем недавно проводил

в последний путь двух близких друзей.

Пренебрегши денежными поблажками, сулимыми престарелым пассажирам в обмен на согласие в «пустые» часы путешествовать в вагонах для скота, плюхаюсь на сиденье в вагоне первого класса; проводник хмуро вручает мне бесплатную газету, присовокупив к ней замызганную фарфоровую кружку с непрошеным кофе. Жаловаться бесполезно. Страна катится к чертям собачьим. Раньше у нас была лучшая железная дорога в мире, а теперь вы только на нее посмотрите. Правительство распродает ее хапугам, якобы инвесторам, как будто нам, пассажирам, от этого есть хоть какая-то, черт побери, польза. Однако я становлюсь брюзгой, усмехаюсь сам над собой.

Предаваться мечтам, впрочем, некогда. Мой портфель пухнет от планов: открытие офиса «Симмондс» в воссоединившемся Берлине, продвижение наших тридцати двух подопечных артистов в обеих частях Европы. Раскрыв ноутбук, словно какой-нибудь яппи едва за двадцать, подступаюсь к бюджету для турне струнного квартета: начнем, пожалуй, с гробоподобного Барбиканского центра в Лондоне, а затем прокатимся по семи европейским городам. Гибкой камер-

ной музыке светит куда более жизнеспособное будущее, нежели неповоротливой оркестровой громадине, которой отдавал предпочтение мой отец. Тобурн показывается неожиданно скоро. С легкой грустью выглядываю на платформу: оркестра нет. Мэр Фроггатт проиграл на прошлых выборах и теперь, я слышал, загибается от рака.

Прошагав через площадь к «Роял», усаживаюсь в уютном баре с бокалом скотча и безотрывно занимаюсь калькуляцией. Ровно в час поднимаюсь, чтобы идти к малоаппетитному обеду. И лишь тут замечаю постигшие мое старинное прибежище перемены. Бар явно помолодел: он весь отделан хромом и обзавелся вышибалой. Вестибюль объединился с атриумом, столовая лишилась своей чахлой пастельной окраски и приглушенного освещения. Меню на входе разнообразилось блюдами *nouvelle cuisine*. Думаю, стряпня осталась такой же скверной, хотя мне все равно много не съесть.

— Ваши гости уже прибыли, сэр, — с местным акцентом сообщает бойкий метрдотель, в котором сразу угадывается бывший шахтер.

— Сколько нас?

— Трое, как вы и говорили.

Значит, заключаю я с тоской, она притащила

с собой Питера, на выбраковку. Когда я подхожу, Элинор Стемп поднимается мне навстречу — с явным трудом, опираясь о столик обеими руками. Она глубоко беременна, месяце, по моим прикидкам, на восьмом-девятом. Сколько ей сейчас, что-то около сорока?

— Моя дорогая Элинор, какой чудесный сюрприз, — восклицаю я.

Она мило заливается румянцем и подставляет щеку для поцелуя. На заднем плане маячит Фред Берроуз, щурится рачительно.

— Мы с Фредериком на будущей неделе женимся, — объявляет Элинор. — Надеюсь, ребенок еще не успеет родиться.

— За это стоит поднять бокал шампанского, — объявляю я. — Ну Фред, ну тихушник, я-то думал, тебя к алтарю палкой не загнать.

— Я раньше все привередничал, — картавит в ответ тобурнский хормейстер, — но, повстречав Элинор, сразу понял: вот оно, то самое, — а познакомили нас вы, поручив мне опекать Питера, за что вам спасибо.

— А как к этому относится Питер? — рискую осведомиться я.

— Без восторга, — поджимает губы его мать. — Слишком долго он был единственным ребенком.

Но он уважает Фредерика, и, надеюсь, в итоге все образуется.

Сказать по правде, я был рад, что с нами Фред. Вряд ли бы мне доставила удовольствие еще одна упертая схватка с Элинор по поводу мальчика, которому с очевидностью ничего не светит. Мы быстро определяемся с заказом. Баклажанная икра вполне достойно заменяет черную икру, а рулет с семгой и авокадо хоть и пресноват, но недурен — за эти годы в «Рояле» явно научились его готовить. Пьем мы шабли восемьдесят седьмого года и, когда за десертом — пережиток предыдущего меню, запеченная груша с ванильным мороженым, — наконец приступаем к обсуждению дальнейших планов Питера Стемпа, я настроен вполне благодушно.

— Он в раздрае, — начинает Элинор.

— Его плохо приняли в Уэльсе?

— Нет, сам по себе, — продолжает она. — Не радуется малышу, ревнует к Фредерику, хочет бросить музыку и изучать компьютеры.

— А так ли это плохо? — мягко говорю я.

— Без вас я не могу ему это разрешить, ведь вы столько для него сделали.

— Фред, а вы что скажете? — осведомляюсь.

— Мальчик растерян, — отвечает Фред. — Его

бесит, что у мамы теперь есть своя, отдельная жизнь. Чувствует себя обиженным, с девушками, насколько мы знаем, не встречается. Возможно, ему было бы полезно переключиться на какое-то другое занятие, познакомиться с людьми иного круга. К музыке он всегда сможет потом вернуться. База заложена основательная.

— Превосходно, — подытоживаю я. — Значит, договорились?

— Спасибо, мистер Симмондс, — тихо говорит Элинор Стемп. — Благодарю вас за понимание.

— Это все? — осведомляюсь я, подавая знак, чтобы принесли счет.

— Мы с миссис Стемп надеялись, что вы сумеете пролить свет на небольшую загадку из прошлого Питера, — Фред ни с того ни с сего заговорил о своей невесте в официальном тоне.

— Слушаю вас.

— Когда вы присудили ему приз, — напоминает Фред, — вы сказали, что в его игре есть нечто особенное, чего никто из нас не уловил. Потом вы переговорили с ним с глазу на глаз, и он направил вас к одному типу в Олдбридже, еврею, у которого до этого неофициально брал уроки. Что вам известно об этом человеке? Миссис Стемп боится, что он дурно повлиял на Питера и каким-то

образом вызвал у него отвращение к музыке.

А, так вот ради чего она явилась. Элинор требовалось от меня не благословение на то, чтобы Питер бросил музыку, а секрет, который ей он никогда не откроет, но который — вдруг? — мог знать я. Ловко, однако. Интересно, много ли ей удалось вытянуть из своего прыщавого паршивца, — может, она просто решила, что общение с теми кошмарными, нелюдимыми, бородатыми евреями плохо отразилось на ее мальчике. Мне живо припомнилось ее отвращение к «черношляпникам».

— Мне особо нечего добавить к тому, что я рассказал вам по телефону, — пожимаю плечами с притворным раздражением. — Когда я впервые услышал Питера, я обнаружил в его игре отголоски такой манеры исполнения, какой я не слышал с самого детства, свободу самовыражения, которая, мне показалось, может вылиться в нечто значительное, содержательное. Мне захотелось узнать, откуда он ее позаимствовал, такую подлинную, без современных вывихов. Он направил меня к одному милому старичку-раввину из Олдбриджа, у которого в свободное от разноски газет время брал целебные уроки. Я побывал у этого раввина и ничего ужасного не обнаружил.

Он играл по старинке, как нынче уже не играют, и мы славно поностальгировали. Полагаю, его, к сожалению, скорее всего, уже нет в живых.

— Вы не ошиблись, — фыркает Элинор. — Вскоре после победы на конкурсе Питер пытался навестить этого человека, а я его выследила. Он вернулся совершенно опрокинутый, отказался репетировать, ужинать тоже отказался. Он пришел, позвонил в дверь, а там уже другие люди. Ни о каком раввине, ни о его дочери (кажется, Питер по ней сохнул), они слыхом не слыхивали. Питер их спрашивает, а они ноль эмоций, «мы английский не говорить». Оказывается, этот человек, раввин Каценберг, развозил в своем фургоне фрукты-овощи да и свалился в То. Во всех газетах про это писали. Я объяснила Питеру, что этот человек умер, а он как взъерепенится. Кричал, что это был святой и вообще гениальный музыкант. Я ему: «Не глупи: это примитивные люди, словно только что из Средних веков. Что они, со своими длинными бородами и дремучими париками, могут знать о Бахе и Бетховене?» Питер меня не слушал. Он совершенно скис, чуть не завалил экзамены. Потом Фредерик ко мне переехал. У Питера изменилась манера игры, абсолютно выхолостилась. Такое ощущение, что он теперь

совсем не старается, растерял все честолюбие. Я не музыкант, но даже мне заметно: из моего мальчика что-то ушло, этот покойный раввин словно забрал его душу.

— Чертовщина какая-то…

— Да уж, мистер Симмондс. Я с вашей подачи почитала романы Исаака Башевиса Зингера. Вот уж где сплошная чертовщина, мужчины и женщины одержимы *диббуками* — так их называют? Эти люди опасны. Они погрязли в оккультизме. Они обладают сверхъестественной властью и заманивают к себе невинных людей.

— «Эти люди»?

— Вы знаете, о ком я говорю.

Над разоренным столом повисает нечистоплотная тишина. Я слишком хорошо знаю, о ком она говорит, — видимо, и меня она тоже причисляет к общей массе ловцов душ. Не подкатывал ли я тайком к ее драгоценному сыночку? Может, я исчадие ада? Разве не проник я в ее давно позаброшенную святая святых? Божечки, да ей просто повезло, что я, когда ее наискось там, наверху, распялил на ложе палмерстонского люкса, взял не ее христианскую душу, а всего-навсего женскую добродетель.

Сквозь полуопущенные веки наблюдаю за

ней, наслаждаясь ее страхами — совершенно первобытными по сравнению с многогранной интеллектуальной жизнью столь презираемых ею «дикарей». Я ей больше ничего не должен, вижу ее в последний раз. Они с ее сыночком были для меня просто начальной ступенькой на моем пути к правде. Я от них оттолкнулся и двинулся себе дальше. Впрочем, мы же цивилизованные люди. Без них мне до цели было бы не добраться, так что, помятуя этические принципы отца — никого без причины не обижать, — решаю утихомирить ее одиозные предрассудки искусной инъекцией словесного брома.

— Насколько мне известно, моя дорогая, — цежу я, — старый раввин Каценберг в молодости был учеником прославленного профессора Флеша, подавал надежды. Гибель его родных в фашистском концентрационном лагере подтолкнула его, как, уверен, Питер вам рассказывал, к духовным исканиям. Я надеялся, что смогу уговорить его стать Питеру наставником. К сожалению, вмешался несчастный случай, а замену я так найти и не смог. Останься раввин Каценберг в живых и продолжай он обучать Питера, тот, возможно, сейчас бы уверенно шел к блестящей карьере.

— Я хоть и не знал о его прошлом, — вставляет

Фред, — довольно сильно расстроился, когда прочел о его смерти.

— На этом предлагаю закруглиться, — подытоживаю я. — Рад был вас обоих повидать, надеюсь, что роды пройдут благополучно. Питеру от меня наилучшие пожелания. Боже правый, как время-то бежит!

До поезда у меня еще час. Прогулка бодрым шагом пойдет мне на пользу. Официанты куда-то запропастились, так что беру счет и несу оплачивать на стойку к мистеру Вудворду.

— Он здесь больше не работает, — отвечает молодая женщина, вся такая аккуратная, на синем лацкане — бейдж с именем. — Вуди в прошлом году неожиданно попал под сокращение — простите, ушел на покой. Чем вам помочь? Я новый управляющий, Сью Саммерфилд. Видите, мы тут прихорашиваемся в честь миллениума.

Мисс Саммерфилд благосклонно выслушивает мои похвалы ее нововведениям. Сверяется со списком почтовой рассылки и находит меня в числе постоянных клиентов. Объясняю, что Вудворд выделил мне в сейфовом помещении ячейку, чтобы не возить вещи туда-сюда из Лондона.

— Давайте лучше пойдем и проверим, — гово-

рит она. — Как удачно вы сегодня заехали. Два месяца назад я всех клиентов предупредила, чтобы они забрали свое имущество до конца этой недели. У нас вторая стадия ремонта, строители скоро начнут переделывать цокольный этаж: там будут оздоровительный клуб и бассейн.

В последний раз спускаюсь в викторианское чрево некогда великого заведения. Над головой тянутся громкозвучные трубы. Стены выложены плиткой мрачных коричневых и желтых тонов. По сторонам тянутся кладовые, кухни, уборные, посудомойные, для сноса отгороженные досками. Коридор уже близок к завершению, когда любезная Сью Саммерфилд извлекает главный ключ-отмычку и отпирает мою ячейку.

— Если я вам понадоблюсь, я буду на стойке администрации, — сообщает она. — И не запирайте, не надо. В понедельник мы все здесь сломаем.

Пачка потрепанных фиолетовых папок — «Отпечатано в Британской империи» — вот и все, что осталось от прежних моих изданий. Штук двадцать, вряд ли стоит тащить их с собой. Больше в сумраке ничего не разобрать, разве что уши улавливают поблизости чей-то торопливый топоток. Если в Англии рядом река, жди крыс. С опаской, как бы не цапнули за руку, шарю по дну

огромной ячейки. В последний раз укол против столбняка мне делали много лет тому назад. На глубине около метра пальцы нащупывают кожаный футляр, закругленный с двух сторон и полый внутри. Хватаюсь за какую-то лямку и, дрожа от предвкушения, тяну. В тусклом свете толком не разглядеть, но, судя по старой коже, это не одна из моих китайских ширпотребных скрипок. Сразу чувствуется: это подлинная вещь, обретенная утрата, сполна выплаченный долг.

Когда мы поднимаемся обратно, я благодарю Сью Саммерфилд за помощь, обещаю и впредь оставаться преданным клиентом и прошу на двадцать минут какое-нибудь помещение, чтобы переждать время до отправления поезда. Она демонстрирует мне новехонький бизнес-люкс, под завязку набитый компьютерами и средствами телекоммуникации. Кладу скрипку. на стол и, дождавшись, пока она уйдет, дрожащими пальцами откидываю застежки.

Не надо быть Арбатнотом Бейли, чтобы узнать оранжевый лак и головку изящной выделки; это Гваданьини. На вид она кажется слегка потертой, на ней четыре года как не играли (скорее всего), но стоит ей обзавестись новыми струнами и навести лоск у Бейли, как она снова предстанет во

всем своем великолепии.

И так захвачен я ее аурой, ее приветственной улыбкой, что умудряюсь едва не проглядеть запечатанное письмо, заткнутое в верхнюю крышку футляра, под смычком и палочками канифоли.

«Мой дорогой Мотл,

поскольку я отбываю не попрощавшись и вряд ли мы еще когда-нибудь свидимся, я позаботился о том, чтобы вернуть тебе твою собственность, и хочу в качестве извинения тебе кое-что объяснить.

Ты и сам, должно быть, знал, когда настаивал на моем возвращении на большую сцену, что этот план абсолютно невыполним. Он бы пошатнул мое положение в том единственном обществе, которым я дорожу, и обременил бы меня обязательствами и повышенным вниманием, от которых я однажды уже бежал.

Поразмыслив в результате твоего настойчивого, хотя и мягкого, допроса над теми давними событиями, я должен признать: мое тогдашнее дезертирство не случайность и не совпадение. Это просто трусливый поступок: я ухватился за

случайную встречу и использовал ее как прикрытие. Если уж совсем начистоту, меня пугало то, что ожидало впереди, — слава, удача и неизбежность провала.

Я должен был стать лучшим скрипачом со времен Крейслера, но я себя таковым не ощущал. Я знал, что рано или поздно другие тоже, как и я, поймут: мои способности многажды скромнее моей репутации. Никто — и уж тем более твой или мой отец — в этом не виноват. Гораздо щедрее, чем талантом, природа наградила меня умом. Другие артисты могли оболванивать себя мыслью, что они — дар Божий страдающему человечеству и потому заслуживают славы и богатства. Я не мог. Я видел страдания, и я все о себе знал. Где моя техника хромает, где в своих трактовках я прикрываюсь внешним блеском, где нахально строю из себя гения. А если мне известны эти слабины, то и чье-нибудь проницательное ухо их уловит и изобличит во мне посредственность. Такого позора я бы не перенес.

После всей этой свистопляски вокруг

моего дебюта я понял, что мне по плечу была бы лишь обычная шумиха вокруг выдающегося скрипача — выдающегося, но не лучшего. Не для того я был предназначен. А если мне не стать лучшим, то зачем вообще тогда все это? Наверное, это была боязнь провала или самый тяжкий в истории случай страха перед публикой — как угодно это назови, — но только я не мог жить, не оправдывая возложенных на меня ожиданий.

В общем, я эвакуировался через аварийный выход. Ничто не мешало мне в любую минуту уйти от моих друзей-медзыньцев и вернуться домой на Бленхейм-Террас. Но, когда я прокручивал в голове Песню имен, я понимал: к слушателям можно выходить, только зная абсолютную истину. А я самозванец. Не ровня Хассиду, Невё, Гендель. Дурачить публику было бы нетрудно, но я все равно ощущал бы себя самозванцем, потешающимся над самыми дорогими для меня вещами. И я исчез.

И теперь, почти по тем же самым причинам, я решил снова отчалить. Надеюсь,

ты не слишком расстроишься. Твой план по возвращению меня на сцену одновременно и ошеломил меня, и воодушевил, но потом я понял: это, по сути, не что иное, как злостное навязывание мне твоей воли. Если это была такая игра, то ты выиграл, а я проиграл. Поздравляю.

Это случайно совпало с другим возникшим затруднением — хотя у Господа с Его предопределенным замыслом случайных совпадений не бывает. Мои товарищи по ешиве сильно печалились и переживали из-за одной финансовой неурядицы. Наш бывший студент из Австралии выделил нам сто тысяч — в какой именно валюте, не знаю, — на постройку нового учебного крыла в честь его покойной матери. Скоро он обещался нагрянуть с визитом. Крыло, однако же, построено не было, деньги ушли на другие срочные нужды — исключительно важные для деятельности ешивы, но все же не имеющие отношения к цели пожертвования. Когда тот человек прилетит из Мельбурна и не обнаружит постройки, увенчанной именем своей матушки (к любому делу всегда

причастно чье-нибудь имя), поднимется жуткий хай и, не дай Бог, дойдет до полицейского расследования. У моего друга, раввина Йоэла, случился микроинфаркт. Следующим по степени ответственности иду я, *машгиах*.

И хотя никакого касательства к деньгам ешивы я не имел, я созвал старших товарищей и предложил взять на себя письменную ответственность за растрату, с тем чтобы они взамен прикрыли мой побег и спрятали меня вне досягаемости от полиции — и от тебя. Друзья мои с радостью согласились и рассыпались в благодарностях. Кое-кто, наверное, даже испытал облегчение, что я уйду. Я со своим чересчур пытливым умом нарушаю их ортодоксальный уют. Как бы там ни было, они пообещали мне любое тайное содействие и заверили, что жена и младшие дети вскоре присоединятся ко мне под надежным новым именем — для меня уже третьим и, надеюсь, последним.

Жене, кстати, я объяснил, что некто из моей прежней жизни предъявил мне кошмарные требования, что не так уж

далеко от истинной правды.

В общем, как сказал бы юный Питер Стемп (привет ему от меня), я свинчиваю. Рад был видеть тебя в добром здравии, Мартин, и жалею, что мы так мало пообщались. Хочешь верь, хочешь нет, но в трудный период своей жизни я любил тебя всем сердцем. Я раскаиваюсь, что причинил несчастье твоей семье, и желаю тебе счастливейших лет жизни, ну, тех, что остаются для человека твоего возраста.

Будем здоровы, Мотл. Да пребудет с тобой Господь, *Deus noster et non est iniquitas in eo* (я так и слышу, как ты в ответ шепчешь это мне на чистейшем иврите).

Довидл»

Переваривать прочитанное времени нет. Захлопываю футляр, мчусь на вокзал и вскакиваю в отбывающий поезд. Тяжело дыша в шикарный новенький мобильник, говорю Мертл, что уже еду и что все в порядке. А когда мы проезжаем через То, бросаю взгляд на место «аварии» и улыбаюсь. Где-то он сейчас?

Что это означает? Все кончено, улажено, воз-

мещено. Выплачен последний долг. Скрипка, которую он так любил и никогда не выпускал из рук, вернулась к законному владельцу. Завтра же покажу ее Бейли и выставлю на продажу, а может, отдам во временное пользование какому-нибудь перспективному новичку — например, тому кузену Давида Ойстраха из далекой Одессы, с которым мы только что заключили контракт. Как захочу, так и сделаю.

И тут-то я и засекаю подвох, месть за то, что турнул его с места. Что произойдет, когда я принесу эту скрипку на реставрацию? Бартоломью Бейли, внук великого Арбатнота, примет меня с распростертыми профессиональными объятиями. А стоит мне шагнуть за порог, кинется к картотеке. Где мы раньше видели такую Гваданьини? Не та ли это, Хубаи Енё, которую мистер Симмондс-старший приобрел для того юного виртуоза, Рапопорта, в, дай Бог памяти, мае 1947-го? А разве эта скрипка и этот Рапопорт не исчезли четырьмя годами позже — оба совершенно бесследно?

Если это та Гваданьини, то где Рапопорт? За нее получали хоть раз страховку? Надо известить полицию. Эта скрипка — важное свидетельство в деле об исчезнувшем человеке. Так где, мистер Симмондс, вы сказали, обнаружили вы эту скрип-

ку, заодно напомните, пожалуйста, где именно вы были утром 3 мая 1951 года, когда исчез мистер Рапопорт, и кто может это подтвердить? Не спешите. Мы никогда не спешим, когда расследуем подозрение на убийство.

Фу, поздравил я себя, пронесло. А ведь мог и за решетку угодить. Довидл, видать, решил проверить, хорошо ли еще варят мои стратегические мозги. Черт. Мне нельзя ни отреставрировать скрипку, ни продать — не то в мою дверь вломится полиция, с писаками на хвосте. Довидл освободил меня от своей власти, зато сделал заложником этого инструмента, самого драгоценного своего имущества. Футляр со скрипкой лежит рядом со мной на сиденье. Когда я умру, надо будет похоронить ее с собой и положить этому конец раз и навсегда. Беру футляр — мой гроб — в руки, смотрю на него.

Нет, это смешно. Я сумею вывернуться.

Наутро звоню знакомому по имени Норман Лебрехт, он ведет колонку в газете и славится едкими обличениями всякого музыкального шулерства. Мы договариваемся пообедать, и я намерен выложить на белоснежную скатерть гостиницы «Лэнгхем», где любили останавливаться Пуччини, Яначек и Сибелиус, кое-какие

из своих карт.

— Не знаю, помните ли вы, — начинаю я, — удивительную историю Альмы Розé.

— Разумеется, помню, — вскидывается он с извечным журналистским апломбом. — Недавно об этом писал. Ее отец, Арнольд, концертмейстер Венского филармонического оркестра, был женат на родной сестре Малера, а после аншлюса без гроша в кармане перебрался в Лондон. Альма же вслед за своим бойфрендом — австрияком, пустышкой — вернулась в Голландию. А тут — оккупация; она попыталась бежать и была депортирована в Аушвиц, где создала женский оркестр и погибла.

— А что случилось с ее скрипкой?

— По слухам, в 1946-м на пороге дома ее отца в Блэкхите возникли две монашки, молча вручили скрипку Альмы и растворились в воздухе.

— Скрипка была, если не ошибаюсь, Гваданьини?

— Верно. Однако к чему все это? — интересуется он.

— А как инструмент, который был в Аушвице, очутился в южном Лондоне? — не отступаю я.

— Никто не знает.

— Что ж, нечто подобное произошло и со мной.

Говорит ли вам что-нибудь имя Эли Рапопорт?

— Юный гений, который исчез в день своего дебюта?

— Тот самый. Исчез вместе со своей Гваданьини, и никто его больше не видел. На прошлой неделе у меня в конторе, уже в сумерках, возникли два раввина, протянули мне его Гваданьини и, ни слова не говоря, скрылись на поджидавшем такси. В детстве мы с Рапопортом были друзьями, чуть ли не братьями. Не знаю, что с ним сталось, но хочу препоручить эту историю вам, вдруг удастся что-нибудь раскопать. Возьметесь?

Журналист отхлебывает вино, гладит подбородок и забрасывает меня блицвопросами.

— На расследование уйдут месяцы, — в итоге предупреждает он. — Потребуется неограниченный доступ к деловым и семейным документам плюс все ваши контакты. И завести это нас может куда угодно. Могут всплыть вещи, которые вам не захочется обнародовать, но раз уж они попадут ко мне в руки, я не смогу ими не воспользоваться. Вы точно к такому готовы?

— Делайте все, что считаете нужным, — мягко отвечаю я. — Теперь это ваша история.

Коротко об авторе

Норман Лебрехт (1948) — английский музыковед, музыкальный критик, писатель.

Наверное, самый известный музыкальный критик Англии.

Впечатляет даже выборочное перечисление тех изданий, где Норман Лебрехт писал и пишет и рассказывает о музыке. Он был музыкальным обозревателем газет «Дейли телеграф» (1994–2002) и «Ивнинг стандарт» (2002–2009). Вел ежемесячную колонку в журнале «Стэндпойнт», с 2000 года программу «Lebrecht Live» на радио BBC, а начиная с 2006-го — «The Lebrecht Weekly» в интернете. С 2008 года он — автор и редактор блога о классической музыке «The Slippedisc», который посещают более миллиона человек.

Написал Норман Лебрехт и несколько книг о музыке, в их числе:

«Книга музыкальных анекдотов» (1985), «Малер в воспоминаниях» (1987), «Музыка в Лондоне», (1992), «Путеводитель по музыке XX века» (2000), «Ковент-Гарден» (2000) — история лондонского оперного театра.

Наиболее известные его книги, получившие международный резонанс:

«Миф о Маэстро. Великие дирижеры в схватке за власть» (1996; рус перев. 2007) — в этой книге Норман Лебрехт рассказывает о том, какова роль дирижера, и рассказ свой ведет начиная с 1870 года.

«Когда музыка прекращается» (1997). В США издана под названием «Кто убил классическую музыку». Под таким же названием вышла и в русском переводе (2004). В этой книге Норман Лебрехт раскрывает механизм функционирования музыкальной промышленности, тайные пружины блистательных карьер. Сетует на вредоносную, по его мнению, для музыки систему звезд, рисует портреты тех, кто незаслуженно остался безвестным.

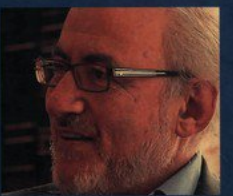
«Маэстро, шедевры и сумасшествие» (2007). В США издана под названием «Жизнь и смерть классической музыки». Это история записей классической музыки, а также обзор ста наиболее значительных записей и двадцати наиболее знаменательных провалов.

Первый свой роман «Песня имен» (2001) Норман Лебрехт написал, уже будучи автором нескольких книг о музыке, и получил за него весьма

почетную Уитбредскую премию, которая присуждается за лучший дебютный роман.

Второй роман Нормана Лебрехта «Игра противоположностей» вышел в 2009 году. Одна из главных тем в нем, как и в «Песне имен», — страшные последствия Холокоста даже для тех, кто выжил.

9 785995 304609



{книжники}

“Норман Лебрехт рассказывает о двух мирах — еврейском Лондоне и классической музыке — а знает он их, как никто другой. Сказать, что “Песня имен” — необычный роман, — значит ничего не сказать: он завладевает вниманием читателя с самого начала и не отпускает его до конца. Лучше романа об этих двух мирах я не читал уже много лет. — УОЛТЕР ДАКЕР

СКАЧАЙ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
JKniga
DOWNLOAD OUR NEW APP
Google play
App Store

“Песня имен” вызывает в моей памяти ужасы разоренного войной Лондона, где прошло мое детство. По духу роман напоминает Диккенса, но написан он писателем с темпераментом Достоевского и Башевиса Зингера. Это уникальный, захватывающий роман. Шедевр. — ИДА ХЕНДЕЛЬ, *скрипачка*

“Блистательная проза. Мало кто может писать с таким знанием дела, так проникновенно и впечатляюще и о том, какие незаживающие раны оставил по себе Холокост, и о мире музыки. — FORWARD

проза еврейской жизни

Норман Лебрехт рассказывает о двух мирах — еврейском Лондоне и классической музыке — а знает он их, как никто другой. Сказать, что «Песня имен» — необычный роман, — значит ничего не сказать: он завладевает вниманием читателя с самого начала и не отпускает его до конца. Лучше романа об этих двух мирах я не читал уже много лет.

Уолтер Лакер

«Песня имен» вызывает в моей памяти ужасы разоренного войной Лондона, где прошло мое детство. По духу роман напоминает Диккенса, но написан он писателем с темпераментом Достоевского и Башевиса Зингера. Это уникальный, захватывающий роман. Шедевр.

Ида Гендель — скрипачка

Блистательная проза. Мало кто может писать с таким знанием дела, так проникновенно и впечатляюще и о том, какие незаживающие раны оставил по себе Холокост, и о мире музыки.

Forward